



ТАХАВИ
АХТАНОВ

Свет очага

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

Основана в 1971 году

ТАХАВИ
АХТАНОВ

Свет очага

РОМАН

Перевод с казахского Г. САТАЛКИНА

МОСКВА
"Известия"

1991

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета

Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

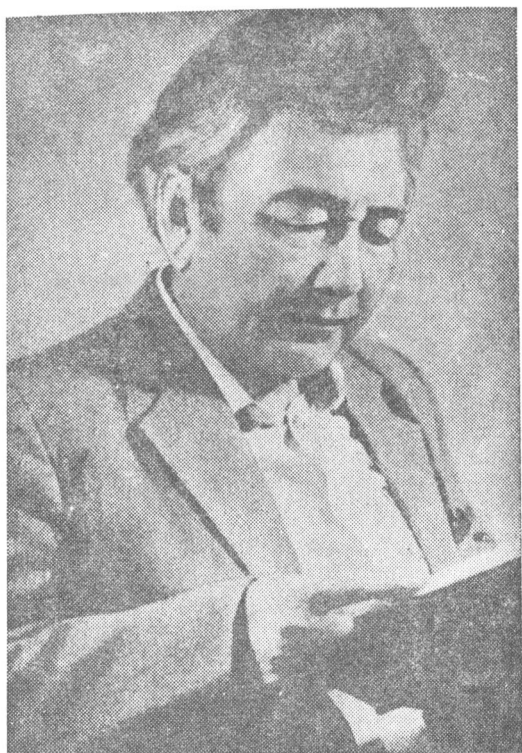
Члены совета:

Акрам Айлисли, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко, Наталья Иванова,
Анатолий Иващенко, Наталья Игрунова,
Юрий Калешук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Кишин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Тимур Пулатов, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Константин Щербаков

А $\frac{4702250200-020}{074(02)-91}$ 89—91 подписное

ISBN 5—206—00209—7

© Издательство «Жалын», 1986
© Оформление. И. Урманче, 1991
© Послесловие. Ш. Нурпеисова, 1991



Художник И. УРМАНЧЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Издали доносится истошное ржание лошадей, drobный стук копыт, запальное дыхание. Я не могу разглядеть лошадей, лишь рвущаяся, мелькающая полоса движется на фоне сумрачного неба. Ржание лошадей опережает их бег и замирает где-то вдаль, и только топот копыт остается в моих ушах. Табун несется, как бешеный горный поток. И я, задыхаясь и покачиваясь, мчусь на волнах этого потока, вся охваченная страхом. Смутно сознаю, что этот страх томил меня и раньше, забыла только почему. Лишь бы удержаться, не упасть в мелькающее месиво лошадиных копыт и земли. И когда уже силы мои были на исходе, скачка как будто стала замедляться, топот копыт постепенно затих. Слышится пронзительный визг, он разрывает надвое пустую тьму ночи. Звуки становятся яснее, и я уже отчетливо слышу долгий гудок паровоза. Постукивают по рельсам колеса, покачивается вагон, и во мне отдаются болью его толчки. Не пойму сквозь сон, где болит. Мучительно свело шею, словно голову мою с силой запрокинули и притянули к спине. Догадываюсь смутно, что это длинные косы мои угодили под одну из женщин, тесно лежавших по обе стороны от меня. Грузное бедро другой придавило мне бок. Очнувшись, я высвободила косы и улеглась немного поудобнее, какое-то время ощущая, как отхожу от прежней закаменевшей позы, как вольнее, быстрее пошла по жилам кровь. Постепенно боль утихла. Покой стал наполнять измученное тело, и с дремотной отрадой я поняла, что отчаянье, ужас, все тревоги и страх остаются где-то далеко позади. А на меня одна за другой наплывают картины последнего перед войной, всего лишь позавчерашнего дня.

В то утро я проснулась с ощущением радости на душе. Она была тиха, эта радость, и смутна, но исподволь,

мягко разрасталась во мне, как разрастался, становясь все легче, все выше, утренний свет в приоткрытом окне.

Лениво, в сладкой неге откинув руку, я вдруг почувствовала справа от себя пустоту — господи, Касымбек уже встал, а я до сих пор в постели еще. Улыбаясь, я подумала о том, как перемывали бы мои косточки наши острые на язык, пронырливые аульные бабенки, даже услышала их нарочито скандальные голоса: муж давно на ногах, а она все еще потягивается. Куда это годится, на что похоже? Молодая жена еще называется!

Но мы живем далеко от родного дома. Судьба военного занесла моего мужа, а вместе с ним и меня, в Западную Белоруссию. Понемногу я начинаю привыкать к новой для меня жизни, к армейским порядкам. В любое время дня и ночи его могут вызвать, и он исчезает куда-то, а потом приходит и смотрит на меня с улыбкой на посеревшем от пыли, усталом лице.

Обычно по утрам я просыпаюсь первой, дел полно: нужно приготовить чай, собрать завтрак, чтобы посытнее накормить Касымбека, прежде чем он уйдет в часть к своим солдатам. Но в последнее время он ухитряется вставать раньше меня, а если я вместе с ним открываю глаза и пытаюсь подняться, он меня останавливает: полежи, полежи немного, тебе надо беречься.

Таким он раньше не был, и я не знала, что он может быть таким.

А я все еще прежняя, никакой слабости или усталости я не знаю и весело, с удивлением смотрю на свое раздавшееся слегка тело: оно уже как бы не мое или, точнее, не только мое. Тесноваты мне стали платья. Если поедем завтра в город, то подберу себе что-нибудь подходящее.

В коридоре послышались шаги. Дверь осторожно открылась, и, скрипя сапогами, вошел Касымбек. Он был в майке, с полотенцем через плечо, с влажными, спутанными после умывания волосами. Я знаю, что он, едва поднявшись, успел уже залить водой самовар и растопить его — в приотворенное окошко чуть тянет мягким, щепным дымком.

Ему показалось, что я все еще сплю, и он тихонько присел на краешек кровати. Я вскинула ресницы. Прохладной ладонью он погладил мой лоб. От его широких плеч, лобастой головы, от всей подавшейся ко мне фигуры веяло утренней свежестью, речным запахом воды.



Было видно, что и он проснулся сегодня в хорошем настроении — на продолговатом толстогубом лице его в круглых, несколько выпуклых глазах прятался свет какого-то радостного ожидания. Касымбек что-то хочет мне сказать, но молчит, я тоже молчу, смотрю на него, не выдержав, крепко зажмуриваюсь.

Длинные пальцы Касымбека гладят мои брови, щеки, касаются шеи — потерянно бродят, точно виноваты в чем-то. Но я же знаю, какие они бывают! Что с ними случилось, где их прежняя сила и жадность? Когда пальцы тронули мои губы, я быстро поцеловала их. Не отнимая рук от моего лица, Касымбек склонился надо мной и так бережно поцеловал меня в висок, словно я вся была из какого-то необыкновенно тонкого и хрупкого стекла.

Мне хорошо, мне очень хорошо, но почему-то именно в эту минуту мне хочется расплакаться, и я думаю с внезапной обидой, что в последнее время Касымбек отдалился от меня. Почему он не замечает, что я еще в силе, и не болит у меня ничего, и тело пока что не слишком огрузло и хочет мужских грубоватых рук, хочет тратить себя, и желание это стало еще сильнее, чем прежде. Только вот как об этом сказать Касымбеку?

Открыв глаза, я увидела прямо перед собой склоненную голову Касымбека — ай, да он, кажется, лысеет! Я запустила пальцы в его волосы, с усмешливой печалью подумав: а ведь со временем будет у меня лысый муж, и глубокая, почти материнская нежность сжала мне сердце.

— Видел только что майора Маслова, — кашлянув, глухо сказал Касымбек. — Завтра обещал машину дать. В Брест, говорит, с семьями поедете.

Я кивнула, согласна в Брест, ни разу там еще не была, хороший, наверное, город. Несколько раз мысленно я повторила его название: Брест, Брест... Большой и шумный, как Москва, которую мы проезжали. Или немного поменьше. Мне все равно — куда, лишь бы ехать, мне хочется двигаться, выплеснуть то, что переполняет меня, мне хочется дороги, ветра, праздника.

— Решили так: установим скамейки в кузове, рассадим вас поудобнее и — би-бип! — поехали. Километров семьдесят или восемьдесят всего. Нужно только пораньше выехать, тогда целый день проведем в городе. Заодно и это... купишь себе все, что тебе нужно.

— Не так уж далеко онот нас, этот Брест.

— Вообще-то, конечно,— почесал смущенно затылок Касымбек, морща лоб и поглядывая на меня с улыбкой,— рядом живем, мог бы и раньше тебя туда свозить, но все дела, понимаешь, служба, куда денешься? Зато теперь всей компанией с ветерком прокатимся, и — эх!

— Как на лошади?

— Точно, как на лошади!

Нам почему-то смешно, мы придушенно, боясь нарушить сонную тишину в доме, хохочем. Насмеявшись, я говорю Касымбеку о том, что пора наконец вставить даже такой избалованной жене, как я. Но только я приподнялась, как он заторопился во двор — самовар, дескать, посмотреть надо. С тех пор как он узнал, что я понесла, моя нагота стала его смущать.

За чаем Касымбек несколько раз взглянул на меня, не решаясь, видимо, начать какой-то разговор. Я приподняла брови, давая этим знать, что готова его слушать.

— Ты знаешь,— с увлечением начал он,— а ведь эта поездка — затея Николая. Завтра, говорит, двадцать второго июня, мне стукнет двадцать пять! — поднял палец Касымбек и строго свел брови, копируя Николая.— Позор мне будет, если я такую дату не отмечу как следует! Четверть, говорит, века — не шутка... Хочет человек восемь своих друзей пригласить. И куда бы ты думала? В ресторан! За ценой, говорит, не постою, целый месячный оклад грозитя выложить, представляешь? Ну и о своем непосредственном начальстве, разумеется, не забыл: нас с тобой он тоже приглашает...

Касымбек замолчал, но я поняла, куда он клонит.

— А что бы ему подарить? — как бы между прочим спросила я.

— Да, действительно, что бы это нам ему подарить? — хлопнул себя по коленке Касымбек.— Нет, без подарка нельзя, целых двадцать пять человеку!

— А вот в городе заодно и поищем. Там большие магазины, а здесь мы все равно ничего не найдем,— сказала я, подумав, что он давно уже про себя все с подарком этим решил, а заговорил со мной о нем только ради меня, вот, дескать, как он с молодой женой советуется. Хитрец! Но я все равно была благодарна ему за маленькую эту хитрость.

После завтрака, прилаживая свои ремни, Касымбек вдруг фыркнул, вспомнив что-то веселое.

— Да, Назира, что забыл тебе сказать. Николай мне дал посмотреть список приглашенных — он же знаешь какой? У него чтоб все было записано, под номерами чтоб все было! Так вот, из холостых — один только всего и будет, самого невзрачного, зачуханного выбрал... Нет, это надо же — так ревновать свою жену, слышь?

А мне почему-то жаль его, Николая Топоркова, и почему-то приятно, что он так ревнует свою жену. В роте у Касымбека Николай командует взводом. На вороте его гимнастерки каплей примороженного шиповника горит всего один «кубик» — младший лейтенант. Маленькое звание у маленького человека. Но, как все коротышки, он энергичен, подвижен и чем-то, несмотря на свои двадцать пять лет, напоминает задиристого мальчишку с выпуклым лбом, «коровьим» зализом волос над ним, с вытянутым вперед узким, жестковатым подбородком.

Несколько раз я видела его перед строем — грудь колесом, острые локотки отведены чуть в стороны и не идет, а приплясывает, словно кунан, стригунок еще. Но парень он по-настоящему честный, открытый, и все, что движется в его душе, чем удручена она, чем радостна, — все это тут же отражается на его лице. За это он и нравится Касымбеку.

А жена его, Света, — моя подруга. А может быть, мы просто только еще соседи, по крайней мере она первая, с кем я стала понемногу сближаться, приехав сюда. Мне хочется сойтись с нею теснее, чем обычные соседи, что-то меня к ней притягивает.

А вот что?

Да, конечно, внешность ее. Ковыльные ее волосы. Глаза — то серые, то голубовато-серые, то совсем голубые, прозрачные, когда их по-особому, сбоку освещает солнце. А может быть, вся эта перемена зависит от ее настроения? Хотя нет, настроения у нее, кажется, не бывает, она почти всегда одна и та же. Одна и та же, да, но вот какая «та же»? Какая, если ее вроде бы и нет, вроде бы она отсутствует, где-то далеко она, и она знает, чувствует эту даль, временами оцепенело, застывшие вглядываясь в нее.

Где-то она себя забыла, Света, оставила себя, и теперь ее нет, она не замечает, как хороша она, как смотрят на нее мужчины, какими глазами — и не только по-

тому, что женственна она,— скорее всего потому, что вся она какая-то беззащитная и крепко в ней укоренилась не то грусть, не то печаль, и до того крепко и давно, что теперь уже кажется, что это не грусть и не печаль, а какое-то равнодушие, какая-то опустошенность. И эти ее беззащитность, нежность, сломленность, и то, что она безразлична к самой себе, к прелести своей и красоте, привлекают к ней не только мужчин, но и женщин.

Я не раз замечала: самые сварливые бабы, даже те, кто скандал затевают на мелочи, на пустяках — «каждый день соришь у двери, я, что ли, всегда должна подметать?», «кто вылил воду на дорожке?», «ты почему выбросила из самовара неугасшие уголья, хочешь спалить наш дом?» — даже они умолкали, как только она подходила.

Не знаю, любит ли Света своего мужа — слишком велика разница между ними. Николай, тот весь на виду: любит свою жену отчаянно и в то же время как-то пугливо. То он чувствует себя оскорбленным и обижается неизвестно на кого и почему, то весь надувается какой-то смешной, мальчишеской гордостью за свою жену.

Мне почему-то жалко Николая. Он замечает откровенные мужские взгляды, чувствует спиной ухмылки и мучается слепой ревностью. Мне уже приходилось видеть: в гостях у кого-нибудь он хочет казаться веселым, беспечным, а ничего у него не получается: то пошутит не к месту, то дрогнет и пропадет его голос, то грубо начинает хохотать и тут же, оборвав смех, весь уйдет в себя, угрюмо, исподлобья сторожа каждый взгляд, брошенный в сторону его жены.

Нет, мне почему-то жалко Николая, я его понимаю. Ну пригласи он в самом деле в ресторан холостых своих сослуживцев, извелся бы на собственном же празднике. Зря тут мой Касымбек посмеивается, веселого тут мало.

2

Мы жили на окраине старинного села в бывшей барской усадьбе. По обеим сторонам большого дома с колоннами полукругом раскинулись многочисленные службы, называемые флигелями,— и все это принадлежало одному человеку! Куда столько, зачем? — я все удивлялась, что же делали здесь прежние хозяева, сбежавшие

куда-то в позапрошлом году, когда сюда пришла советская власть? Теперь в доме с колоннами поселились семьи старших командиров, а такие, как наша, заняли по комнате во флигелях.

Обширный травянистый двор переходил в громадный парк с аллеями, скамейками, беседками и скульптурами, глухо, как сквозь воду, белевшими в густом сумраке кленов и лип.

Уже больше месяца живем мы в этом райском уголке, а все еще всплескиваем руками: как замечательно тут, как славно, просто-таки курорт. Одно только плохо: мужья наши по первому солнышку уходят на службу, а возвращаются к вечеру, в сумерках уже, и все долгие летние дни мы вынуждены проводить без них.

Но мы не какие-нибудь случайно сошедшиеся бабы, мы жены красных командиров, у нас тоже есть свое начальство, свои строгие порядки. Работает женсовет полка, а важный пост председателя женсовета занимает жена командира полка Елизавета Сергеевна. Все крохотно в этой женщине, аккуратно — круглая головка, маленький остренький носик, маленький ротик. Когда она мелкой, но твердой походкой приближается к нам, мы как-то робеем и невольно подтягиваемся. Всегда она видит какие-то беспорядки, и, отчитывая кого-нибудь, Елизавета Сергеевна медленно цедит каждое слово, как бы пощипывая его при этом тонкими своими губками.

— Вы почему сегодня не были на политзанятиях?

— Да вот стирку, знаете ли, затеяла...

— Это не может служить оправданием. Будем разбирать ваш поступок на женсовете.

И стирка уже кажется самым постыдным делом на свете, и не знаешь, куда глаза деть и куда бы с этой стиркой подальше спрятаться.

— Мы — жены красных командиров, — не раз, чекая каждое слово, говорила эта маленькая властная женщина. — Мы живем в расположении воинской части, поэтому во всем должна быть железная дисциплина. Надо покончить с расхлябанностью и распушенностью! К тем товарищам женам, которые нарушают порядок, будем применять самые строгие меры! — голосок ее звенел, как чайная ложечка в пустом стакане.

Мужья наши, позавтракав, отправлялись на службу, мы прибирались в квартирах, возились у примусов и керосинок, готовя обеды, а где-то ближе к полудню

Елизавета Сергеевна собирала нас в большой беседке. Около двадцати женщин свободно размещались вокруг овального стола. Какое-то время слышится оживленный разговор, смех, удивленные или радостные восклицания. Но вот Елизавета Сергеевна поднимает гладкую свою головку и требовательно обводит нас холодными серыми глазами со своего председательского места и тихонько стучит костяшками фарфорового кулачка по доскам стола. Шум тотчас же спадает, и слышно становится, как чирикают воробьи в кустах сирени и где-то в отдалении протяжно мычит корова, а еще дальше, совсем уже далеко, но удивительно отчетливо раздаются команды: нале-о! напра-о!

— Товарищи жены командиров! — и все заглушает голос Елизаветы Сергеевны. — Наше очередное заседание...

Я совсем ухожу в себя, я прячусь от Елизаветы Сергеевны и в щелочку, как бы осторожно подтягиваясь, потихоньку выглядываю из своего укрытия. Рядом с Елизаветой Сергеевной сидит ее заместитель, жена начальника штаба полка Алевтина Павловна, очень приятная миловидная женщина с чуть заметным двойным подбородком, с налитой грудью и нежной шеей. Есть какое-то тайное и точное соответствие между мягким, мелодичным звучанием ее имени и внешностью ее.

А слева от Елизаветы Сергеевны сидит секретарь женсовета Маруш Аршаковна. Алевтина Павловна с соломенными волосами — день, Маруш Аршаковна — ночь, черны ее волосы, разделенные на два тяжелых крыла пробором, на смугловато-желтом лице выделяются большой с горбинкой нос и крутые, почти сросшиеся брови. По-русски она говорит с каким-то мягким, искажающим слова акцентом. Алевтина Павловна назвала ее «восточной мадонной».

— Какая я тебе «мадонна»? Такой нос, такие брови, конский волос у меня на голове. Ты самая настоящая мадонна! Славянская мадонна, а? — смеется она, показывая свои крупные белые зубы.

Слушая Елизавету Сергеевну, я смотрю и на других женщин, на их лица. В легкой тени беседки они кажутся омытыми родниковой водой — такие они свежие, молодые, красивые, такое довольство на каждом из них и благодущная беспечность. Елизавета Сергеевна говорит о том, что завтра воскресенье и некоторые семьи поедут

в город, а остальные могут отдыхать по своему усмотрению. Алевтина Павловна снисходительно усмехается, и Елизавета Сергеевна, заметив эту улыбку, сводит стрелочки бровей с красноватым подщипом и досадливо повторяет:

— Да, да, именно по своему усмотрению! И только потому, что мы пока еще плохо работаем, не можем всех охватить культурным досугом. Вот пример: есть у нас один вопрос, который мы обсуждаем, обсуждаем, а...

В это время вдруг громко заплакал ребенок. Тень в беседке сгустилась, лица стали обыденней. Елизавета Сергеевна, недоуменно и даже с какой-то обидой подняв брови, подождала с минуту, думая, что скоро утихнет этот плач, и, не дождавшись, повернулась к матери младенца:

— Да успокойте же вы его наконец, Наташа! Вечно вы нам занятия срываете.

— А что она может сделать! — вскинула руки Маруш Аршаковна. — Что она может сделать, если ребенок кушать хочет, а у мамы не хватает молока!

— Ребенок же не виноват!

— Подумаешь, «срывает»...

Женщины, устав внимать наставлениям Елизаветы Сергеевны, как бы вырвались из-под ее власти и, чувствуя теперь за собой какую-то правоту, заговорили все разом. Наташа, испуганно тараща глаза, вздрагивала, точно это не Елизавете Сергеевне, а ей бросались упреки, и усиленно баюкала ребенка, но тот заходился в надрывном плаче все больше и больше.

— Безобразие! — вдруг закричала, стекленея глазами, Елизавета Сергеевна. — Это... э-то... безобразие!

Все замолчали, даже ребенок утих, выворачивая головку из кружевного чепчика и скашивая глаза на Елизавету Сергеевну.

— Дай-ка его сюда, — тихо и быстро сказала одна из женщин, Валентина, у которой тоже был грудной ребенок, преспокойно спавший теперь на материнских руках. — Давай, давай, — зашептала громко она, — я покормлю его, — и уже запела, умиленно и сладко улыбаясь: — Иди ко мне, мой маленький, сейчас я тебя покормлю, вот мы сейчас покушаем! — и она, расстегнув платье, вывалила большую желтоватую грудь с коричневой чашей соска.

— Ну это уже знаете! — Елизавета Сергеевна под-

няла плечи и закрыла глаза.— Да как вам не стыдно! Прямо здесь, на заседании?

— Ну и что? А если покормит, так что? — заговорила вдруг жилистая, известная своей сварливостью Муся, до этого с откровенным безразличием слушавшая рассуждения Елизаветы Сергеевны о дисциплине.— Да тут одни бабы!

— Извините, Мария Максимовна, но зачем же так грубо — «бабы», — не оставляла своего председательского места Елизавета Сергеевна.— Тут, голубушка, не бабы, тут жены красных командиров!

— Да хоть как назови, все равно уже девкой не станешь. Баба — она и есть баба! — обрubiла Муся.— Пусть Валюха покормит, чего там! У нее молока, как у коровы-ведерницы. А Наташка, хоть и молодая, но такая же жила тощая, как и я,— и Муся хриловато, смачно захохотала.

Я улыбнулась. Издали, незаметно присматривалась к ней, чем-то она нравилась мне, нравилась даже ее кличка — Строптивая, было в ней что-то веселое и лихое, и Муся действительно была единственным человеком, которого побаивалась Елизавета Сергеевна. С потаенной гордостью считавшая себя «матерью полка», она терялась, начинала сюсюкать, когда сталкивалась с Мусей, бесцеремонный язык которой редко кого обходил стороной.

Валя передала малыша Наташе, а ее крикуна взяла себе, и тот, едва коснувшись груди, обиженно поворчал и жадно припал к соску. Какою-то минуту мы заворуженно смотрели, как трудится малыш с зажмуренными глазенками, с каждым глотком все больше успокаиваясь. Наконец Елизавета Сергеевна, одернув серую жакетку, вернула нас к прерванному заседанию.

— Так вот, вопрос... Да, говорим, говорим, обсуждаем — пора и к делу перейти. Дело в том, что, поскольку мы живем далеко от города, никто из нас не занят общественно полезным трудом и личное ваше время проходит впустую...

Елизавета Сергеевна энергично заговорила о кружке кройки и шитья. Все поддержали ее, дело нужное, детишкам что-нибудь сшить, себе наряд обновить, да и вообще неплохо освоить какое-то ремесло. Маруш Аршаковна, отличная портниха, взялась вести этот кружок, но тут все уперлось в приобретение швейной машинки.

Елизавета Сергеевна бросила призыв: срочно собрать деньги на ее покупку! Как, прямо сейчас? — замялись женщины. Нет, надо подумать. Откуда же у нас лишние деньги? И потом как-то уж чересчур сразу вынь да положь, как-то даже и не сообразишь... Вот пусть мужья придут вечером, посоветуемся... Деньги-то ведь они зарабатывают? Они. Вот и нужно посоветоваться, поговорить, обсудить...

Так мы ничего и не решили, и остался этот вопрос, по словам Елизаветы Сергеевны, открытым.

3

Не дал мне бог спасительного, вещего дара предвидения, каким наделил он мою бабушку Камку, и сердце мое не сжималось, и нигде, ни в чем ни единого знака беды не видела я.

День двадцать первого июня сорок первого года был полон светлого покоя и тишины. И следующий день обещал быть таким же, и все наше будущее озарялось светом этого дня.

Почему-то помню себя на овальной лесной поляне. Воздух был таким густым, медовым, таким синим купольное небо, что в памяти моей этот день остался похожим на полновесный плод, излучающий какую-то особую радость вызревания. Солнце не калоило землю, не давило зноем, а одним воздушным сиянием своим охватывало грузные кроны деревьев, свежо горела трава, мягкая теплынь обволакивала все мое тело. Запахи смолы, тучной земли легким хмелем кружили мне голову. Среди них я вдруг почувствовала едва уловимый запах молодого кумыса, но так и не могла понять, от какой травы он исходит...

Все жило, доверчиво дышало, умиротворенно раскрылось до самого дна. Возвращаясь со Светой из деревни, куда ходили за молоком, мы присели на скамью в одной из аллей нашего парка. Света вдруг обняла меня и прижалась на секунду своей щекой к моей.

— Назира, — ласково сказала она. Меня здесь вообще-то звали Надей, но Света называла меня настоящим моим именем. — Я слышала, но как-то не верила, а теперь сама вижу... Это правда? — и мягкой ладонью она провела по моему животу.

— Правда, — кивнула я.

— Надо же, всегда рядом, а узнала позже всех. — Света какое-то время посидела молча, а потом задумчиво сказала: — Слушай, зря ты себе это позволила.

— Почему?

— Да на границе живем...

— Ну и что? Ничего страшного... А потом, мы с Касымбеком решили, как приблизится срок, я поеду к родным.

— А все-таки поберечься бы надо, — с прежней задумчивостью проговорила Света.

— А как это — «поберечься»? — удивленно взглянула я на нее, я не слышала, чтобы у нашего народа береглись от ребенка.

— Ну как, как... Сама должна быть осторожней, — носком туфли Света водила по земле. — Николай тоже хочет ребенка, а я не знаю... Никак не решусь что-то.

Неподалеку от нас играла ватага ребятишек — все дети военных нашей части.

— Стой! Смилно! — кричит четырехлетний карапуз.

Это сын начальника штаба полка майора Маслова и Алевтины Павловны, очень похожий на свою маму — такой же тугощекий, беловолосый, с нежным сплошным румянцем и карими ясными глазами. И хотя он самый младший из играющих ребятишек, но уже показывает свой характер, бойко командует, в каждой игре сам себя назначая командиром. Недаром и взрослые и дети зовут его Вовка-командир, и больше всего, наверное, это нравится его родителям, потому что в их присутствии многие сослуживцы прямо-таки наперебой зовут мальчонку «Вовка-командир».

— Вовка-командир, а где твои бойцы? А ну-ка, построй их!

— А ведь вылитый батя! Настоящий солдат, добрым вырастет командиром!

— Н-да, будущее — оно с малых лет проявляется: совсем еще кроха, а есть в нем уже настоящая командирская жилка.

— Что вы, что вы, какой там командир! Самый обыкновенный ребенок, — тотчас же пускается возражать Алевтина Павловна с сияющими от счастья глазами. — Вы уж не захваливайте мне его, а то еще зазнается, что тогда со своим вундеркиндом буду делать?

И с таким откровенным восхищением, такой любовью и гордостью смотрит на своего сына, что даже неловко себя чувствуешь, глядя на все это со стороны.

— Стройся! Становись! — звенят в летнем ясном воздухе детские голоса.

Ребятя гурьбой подбегает, выстраивается и так начинает галдеть и кричать при этом, что в ушах звенит.

— Я впереди встану!

— Нет, я впереди! Я выше ростом!

— А вот и нет, я выше! Видишь, моя макушка вот где, видишь?

— Ага, хитренький какой! Ты на носки не поднимайся! Давай помериваемся носами, тогда посмотрим — давай?

В детской этой кутерьме мелькают и знакомые мне фигурки. Вот сыновья нашей соседки Ираиды Ивановны — шестилетний Шурик и пятилетний Боря, неразлучные, словно двойня ягнят, — куда один, туда и другой: и в строю они рядом, выталкивают всякого, кто пытается затесаться между ними. В компании с мальчишками играет и дочь Муси-Строптивной, лет семи высокая и худенькая девчушка.

— Вова, Вовочка, давай я буду твоим заместителем? Давай я сейчас отдам команду и доложу тебе? — умоляет Люся, прижав к груди стиснутые кулачки и перебирая от нетерпения тонкими голенастыми ножками.

— Девчонки не бывают командами! — отрезает Вовка-командир.

— Я же только заместителем буду! — молит Люся.

— Нет, я, я буду! — отчаянно кричит малышня, строй ломается, мелькают ручонки, короткие штанишки, панамки, мальчишеские челки...

Счастливые! Каким-то будет мой? Как Вовка-командир? Как Шурик? Я с отрадой наблюдаю за их возней, забыв на минуту о Свете.

— А июнь-то уже на исходе, — зевая и похлопывая пальцами по губам, говорит она. — Завтра уже двадцать второе.

— Мы поедем в Брест, да? И будем вашими гостями... Касымбек говорил, что Николай всех нас хочет в ресторан пригласить.

— Ну да... Пусть, я не возражаю. С деньгами туговато, но пусть его, двадцать пять все-таки, — и снова мягко прижавшись ко мне, она спросила: — Тебе ведь

еще и двадцати нет, да? Ах, какая ты еще молодая! Когда твой день рождения?

Я покраснела. У меня нет своего дня рождения, знаю, что родилась я в год кабана — это двадцать третий год — в самом начале весны. Но как мне сказать об этом Свете? Я чувствую странную досаду на саму себя, точно совершила какую-то непростительную оплошность, и молчу, привычно прячась в это молчание свое. И как хорошо, что Света словно забыла, о чем спрашивала, и смущение мое потихоньку проходит.

— Смотри, кто это? — вдруг показала она в глубь аллеи, где пролетела, вспыхнув в солнечном блике, какая-то птица и села, закачавшись, на ветку.

— Не знаю... Красивая какая.

— Осень скоро... А мне осенью двадцать три стукнет, — опять заговорила она, и я взглянула на нее. — Так и проходят годы. Не заметишь, как и состаришься... Назира, расскажи, как ты полюбила...

— Касымбека?

— Да. Расскажи, — в голосе ее что-то дрогнуло, какая-то глубинная истома плеснулась в нем.

— Н-не знаю... Понравился, видно. Ну, а чтобы умирать по нему, сохнуть, этого не было.

— А сейчас?

— Сейчас? Сейчас... — я не договорила, припала к ее плечу, зарываясь от сладкого стыда за свое теперешнее счастье в ковыльные ее пряди.

— А у меня... Я думала, надеялась... Он хороший, искренний, заботливый...

— Николай?

— Да. Он влюбился в меня... Говорят иногда — с первого взгляда, и он так же. Ни на шаг от меня не уходил. Я знаю, он жизнь свою за меня, если нужно, отдаст. Ну, я и подумала, что тоже его полюблю, и вышла за него замуж... А ведь я была по-настоящему влюблена.

— А Николай? — как-то невольно вырвалось у меня.

— Что Николай? — Света как-то нехорошо посмотрела на меня и усмехнулась криво и горько. — Николай — это совсем другое... Я тогда была девчонкой, в голове у меня шальные ветры гуляли. Знаешь, отец занимал солидный пост — мы жили тогда в Ленинграде, мама тоже работала, а я была единственной дочерью в семье. Я изучала немецкий язык, музыкой занималась,

а в общем — ничего определенного, одни увлечения. О будущем не думалось. Чего мне было о нем думать? Вот оно, будущее, за порогом, все дороги открыты, и каждая — счастливая! Понимаешь?

— У нас не так, у нас по-другому. У нас девочке рано говорят: ты женщиной будешь скоро, у тебя будут дети. Лет с 14—15 она уже знает, что ее ждет, какое у нее будущее. Потому что, если тебе восемнадцать, а ты еще не замужем — беда. Тебе беда, всем твоим ближним и дальним родственникам беда: все боятся, что ты старой девой останешься.

— Это в восемнадцать-то?!

— А во сколько же?

— А как же любовь, Назира? Знаешь, я о ней рано стала мечтать.

— Ты?!

— Непохоже? Я знаю, что ты обо мне думаешь. Спокойная, скромная — какая еще там?.. В сказках говорят: в трех водах искупался и — заново родился, лучше прежнего еще. А я только в двух. Одна вода — река с водоворотами и омутами, вторая — сонное озеро с тепленькой водичкой, в которой я теперь плаваю, а точнее, лежу. Лежу и смотрю, как все еще барахтается в реке кто-то, удивительно похожий на меня. И не спасаю!

— Почему?

— Не хочу... Протяну руку, а вдруг вместо себя... боль одну только свою вытащу.

— А теперь у тебя... ни себя, ни боли? — спросила я, и Света, повернувшись ко мне, долго, со всевозрастающим удивлением смотрела мне в глаза.

— Назира, — сказала она, — милая, — и опять что-то плеснулось в ее голосе и холодком отдалось в моем сердце. — Ты понимаешь, я расскажу тебе... Ах, боже мой! Сколько живем рядом... ну я действительно слепая: ничего вокруг себя не вижу!

Подул ветерок, где-то в вершинах деревьев нехотя зашелестела листва, и долго, то стихая, то усиливаясь, волочился этот шум, рождая какую-то смутную тревогу, но ветер унялся, все утихло, забылась мимолетная эта тревога. Я смотрела, как в неподвижном воздухе аллеи вдруг стал одиноко качаться и дрожать широкий кленовый лист.

— Он был на два года старше меня, — заговорила Света, и, глянув на нее, я увидела, что и она пристально

следит за этим листком.— Познакомились мы с ним на какой-то студенческой вечеринке. Высокий, плечистый парень, а взгляд мягкий и чуть насупленный. Звали его Сашей. Тогда мы все спорили, больны были этими спорами, помешаны на них — о мещанстве спорили, о Маяковском спорили, о новых фильмах, о музыке, об авиации. И не столько оттого, что были у нас разные взгляды, а просто потому, что кипели энтузиазмом. Мне нравилось, как он говорил. Он как будто убеждал себя, одного себя, слушали его внимательно, но с каким-то недоверием. Почему? Не знаю. Мне это было непонятно. Происхождение у него было вроде бы пролетарское, жили они, можно сказать, даже бедно.

— Бедного глаза выдают,— сказала я.

— Почему?

— Они или покорные, или дерзкие.

— Нет. Саша держался обыкновенно, как и все мы. Просто я была у них дома, видела, как они живут, с мамой его познакомилась. Саша очень любил свою мать. «Мама сказала», «мама попросила сделать», «маме это будет неприятно», все мамочка, мамочка, мамочка... у этой женщины был один талант — она могла заставить полюбить себя кого угодно. Стоило мне только появиться у них, как вся она начинала светиться радостью. Я даже не знаю, кого я раньше полюбила — Сашу или ее, Раису Семеновну. А полюбила я — точно полетела на крыльях, вся земля подо мной, а я лечу. Я любила все, что окружало Сашу, самые обыкновенные вещи — его пиджак, стол, книги, карандаш сделались для меня так дороги, что... У тебя не бывало так?

— У меня? У меня не так... Ты говори, говори, я понимаю.

— Ты умница, только молчишь все — не то чтобы скрытная, а вся в себе. У тебя бывает иногда такой взгляд, такие глаза!

— Какие?

— Они у тебя черные, а кажутся прозрачными-прозрачными и открытыми до самого дна...

— Ну, а дальше что? — перебила я Свету.

— Дальше? — поморщилась она. — Ну что дальше — познакомилась с матерью, это я тебе уже говорила, встречала она меня как родного, очень дорогого чело века, и меня стало тянуть в их дом. У нас большая квартира, мебель старинная еще сохранилась, ковер на

полу, а уютнее, лучше я себя чувствовала в их маленькой комнатухе. Мы у них встречались с Сашей часто, и почти каждый раз Раиса Семеновна уходила куда-нибудь, всегда у нее наготове был какой-нибудь предлог. А мы сидим, говорим, мечтаем... о счастье для всего человечества, да. И никаких там амуров, никаких поцелуев — ни-ни, Саша этого себе не позволял.

Вспомнив утреннюю досаду на Касымбека, я слегка улыбнулась. Света заметила это, посмотрела на меня немного удивленно, с усилием свела брови, сломав гладкую кожу на переносье в две прямые морщинки. Я тронула ее за рукав — не обращай внимания, это я так, своим мыслям усмехнулась.

— Я не знаю, почему он был такой. То ли очень уж любил меня... а скорее всего, характер у него был чересчур уж мягкий, нерешительный. Но тогда мне даже мягкотелость его эта нравилась, и принимала я ее за нечто совсем другое.

— А у вас дома вы были?

— Да, я познакомила Сашу с моими родителями. Но отец и мать приняли его за моего товарища. Ко мне и раньше приходили мальчики, так что они на Сашу не обратили особого внимания, а я с ними не откровенничала. Зато Раиса Семеновна — та ключик ко мне сумела подобрать верный. Той я вся открылась. Матери родной я не говорила того, что ей. Как будто она моя самая верная, самая лучшая подруга, только постарше, поопытнее, и мне всегда с нею было страшно интересно. Какие у нас с ней только не велись разговоры!

Криво усмехнувшись, Света какое-то время сидела молча, в своих воспоминаниях, нашедших теперь на нее с особой силой, и медленно, как бы сама не веря тому, что было когда-то, качала головой.

— Свет,— подергала я ее за платье.

— Да,— очнувшись, сказала она.— Не бойся, плакать не буду. Так вот... На чем я остановилась? Да, приближался Новый год, мы собирались его встретить вместе. Маме я сказала, что буду у подружки, у нее, дескать, и заночую, чтобы ночью не возвращаться домой. Раиса Семеновна собрала стол, и я еще принесла бутылку шампанского, мы выпили, она нас поздравила с Новым годом, очень хорошо поздравила, а сама ушла, куда-то пригласили ее там, обещала кому-то. Мы с Сашей остались одни, выпили еще... ну и все...

— Что «все»?

— Утром проснулась — стыд больнее всякой боли, понимаешь? Бросилась одеваться, он на меня не смотрит, я вообще глаз не могу поднять. Молчим оба, онемели. И только я на порог — и вот она, Раиса Семеновна. Куда? Я от нее, она меня за руку поймала. Не-ет, говорит, сперва позавтракаем, так не отпущу. И вдруг как обнимет, как заплачет: «Свет ты мой, доченька!» И я давай реветь. И никак не могу успокоиться, никак не могу сказать, что плачу-то уже не от стыда и от боли, а... а, — не договорив, Света прихватила зубами губы, напряглась вся, я это почувствовала и сама даже как-то напряглась, и вдруг она быстро, с легкомысленной, сумасшедшей какой-то игривостью проговорила: — А через три дня моего папу арестовали!

— Как... «арестовали»? Погоди... А тогда у вас чем все закончилось?

— Тогда? — так же быстро, легко и четко выговаривая слова, переспросила она. — Хорошо все закончилось. Решили с Сашей пожениться.

— Ну?

— А через три дня пришли и забрали папу.

— За что?

— Если бы мы только знали за что! Мама бросилась узнавать, ходила по разным инстанциям. Мы твердили себе: его оправдают, его обязательно оправдают, он же честный человек! Но ни ей, ни мне не удалось даже повидаться с ним... И вот один раз, так и не пробившись к отцу, возвращаюсь с узелком (передача в нем была) домой и сама не заметила, как оказалась у Саши. Ноги сами меня туда принесли. Раиса Семеновна и Саша — единственные, кроме мамы, были моей опорой, хотелось поделиться с ними своим горем. Стучу. Раиса Семеновна открывает дверь. Я бросаюсь к ней вся в слезах, дома мы с мамой старались не плакать, а здесь я не выдержала. Что я ей говорила — не помню. Наконец кое-как успокоилась, пришла в себя, спросила: Саша дома? Она убрала мои руки со своих плеч, отошла и говорит: нет его. Ушел куда-то. И таким, знаешь, холодом повеяло от ее голоса, я посмотрела тогда ей в лицо и ничего не могла понять — чужое, другое совершенно какое-то лицо. Жестокое. Я говорю ей: это вы, Раиса Семеновна, или не вы, я вас что-то не узнаю. Да, говорит, это я. Это, говорю, вы назвали меня своей дочерью и плакали

со мной вместе от счастья? Я, говорит, с тобой? От счастья? Не-хе-хет, счастья у нас с тобой получиться не могло, оно у нас очень разное, где тебе счастье, нам туда нельзя. Я что-то вас не понимаю, говорю ей, а Саша-то где? Мне очень нужно его видеть! И в это самое время на кухне вдруг скрипнул стул и громко, знаешь, так, как будто стояла глубокая ночь, когда все так отчетливо слышно. Саша сказал, что он сегодня не придет домой, их куда-то посылают в институте — это Раиса Семеновна мне торопливо, раздраженно, громко так, чтобы скрип этот заглушить. Но я уже тоже как бы не в себе. Там же кто-то есть, говорю, там же Саша. И как закричу: Саша! Раиса Семеновна растерялась, глазки у нее забегали, бросилась к двери, загородила ее. Нет там никакого Саши! Там подруга моя сидит. Чего я тебе буду врать? Нет Саши и не будет!.. Ну, видимо, у него не выдержали нервы, он что-то там опрокинул, шаги его слышались, и тут Раиса Семеновна сорвалась окончательно и пошла меня ругать, всякие гадости в лицо выкрикивать — и такая я и сякая, и Сашу-то я ее совратила, что стыда у меня нет, что хочу на себе сыночка ее женить, что таких наглых и подлых девиц она еще не видела, что не зря отца моего посадили — яблоко от яблоньки недалеко падает... Не дай бог кому-нибудь другому пережить такое! — глухо воскликнула Света, отвернувшись от меня и поднесла ко рту стиснутый кулак.

— Свет, а отец твой, он что... ты о нем что-нибудь узнала?

Не отнимая кулака от раскрытого рта, Света отрицательно покачала головой.

— А мама твоя?

— Ее сняли с работы, запретили жить в Ленинграде, квартиру отобрали... а, что об этом говорить!

— А как же эта, Раиса Семеновна, она же нарочно все тогда подстроила, на Новый год?

— Конечно, — пожалала плечами Света.

— Сводница какая, а? Собственного сына сводница, а? Какая!..

— Я понимаю теперь... Сначала она меня, может быть, и правда полюбила, а потом я просто стала ей не нужна: отца посадили... А мне теперь все равно, не хочу о ней думать, и зла на нее у меня даже нет.

— Почему?



— Пусто,— она положила вялую кисть на грудь,— вот здесь ничего нет.

— А Саша этот — он где?

— Не знаю.

— А Николай обо всем этом знает?

— А почему бы не знать? Знает.

4

Один за другим поднимались во мне запоздалые вопросы, хотелось кое-что спросить о Раисе Семеновне, и Саша мне был не до конца ясен. Или родители Светы — что же они? Почему в стороне оказались? Непонятно. И многое мне было непонятным.

Я жила с русскими всего каких-то три месяца, только много слышала о них раньше, но вот какие они — по-ди разберись теперь. Девушки у них, особенно городские, ведут себя своевольно, дружат с парнями. Не поплатилась ли тут Света? — спрашивала я себя. Да, поплатилась, отвечала я, а потом, подумав, войдя в историю ее поглубже, говорила: нет, ни в чем она не виновата, так принято у русских — разнообразные знакомства, кино, вечеринки.

У казахов по-другому. Теперь не выдают девушек замуж насильно, но дорога женщин у нас все еще узка. Даже если родители не слишком строги, то глаза аульной родни бдительно сторожат каждый твой шаг, каждый твой томный вздох слышат посторонние уши. Тут действительно в сторону не шагнешь, а если уж шагнешь, то сто раз осмотришься, прежде чем сделать это.

Я считалась одной из самых современных, образованных девушек района, закончила девять классов, а таких по пальцам можно было сосчитать во всей обширной нашей округе. И замуж я вышла за командира Красной Армии, который приехал издалека, был необычен для наших глухих мест, фигурой яркой, приковавшей потаенное внимание всех девушек, и я точно единственный приз среди наших невест взяла, самый заветный.

Света заговорила о любви — она поломала ей жизнь, опустошила и покалечила ее. Но не это почему-то видела я, она сильно любила — вот что давало в душе моей отзвук. А я любила? Влюбилась ли я по-настоящему в Касымбека? Неужто в нахлынувших заботах, счастли-

вых треволнениях, связанных со свадьбой, отъездом в чужие края, я так и не успела как следует разобраться во всем этом? И жила, как жилось, идя по невидимой, но веками отглаженной дороге замужних казахских женщин.

С детства я слышала слово «любовь». Оно поразило меня чем-то, заставило как бы на бегу остановиться, примолкнуть, вслушаться в него, в то, как произносят слово это взрослые. Потом я услышала его в сказках и дастанах. Но и жизнь и люди в тех дастанах казались совсем иными — волшебными, возвышенными, яркими. Пламенные чувства сказочных героев были не по плечу обыкновенным людям, жар любовный сжег бы, испепелил их. Нам, простым смертным, оставалось только одно: восхищаться. И туманная тоска глубоко залегла в душу, время от времени давая о себе знать странными, из другого мира сошедшими мечтами.

Когда же кончилось время сказок и дастанов, взялась я за книги казахских писателей, но и тогда слово «любовь» не сошло для меня с небес. И в них влюбленные сохнут и умирают, и сходят с ума — тоже непростые смертные, все сплошь «люди необычные». А я, казалось мне, не способна так полюбить, слишком мало мое сердце, бедна душа, обычна жизнь. Но думая так, я утешала, обманывала себя, а сама в сладких грезах уносилась далеко-далеко, и тогда необычайно красивый и статный джигит...

Не знаю, как у других народов, а у казахов будят чувства в девичьих сердцах не столько книги и сказания, сколько жены старших сородичей — женге. Они не морочат девушке голову, разглагольствуя о возвышенной какой-то там любви, а точно нащупывают самую тонкую струнку, пробуждающуюся в юном теле. «Чем ворочаться всю ночь в унылой постели, обнимая собственные колени... ох ты, господи боже мой, что может сравниться с жаркими объятиями молодого джигита», — говорят они, подогревая тем самым уже начавшие пробуждаться смутные желания. «Ну, уж ладно, хватит краснеть, можно подумать, ты сама ничего не знаешь. Не маленькая поди и без нас все это небось чувствуешь», — не отстают они. И шепотом жарким, со смешочком, с игрою лукавых глаз толкуют неустанно о прелестях замужней жизни, о чести быть хозяйкой собственного очага, настраивая тебя на будущую «предназначенную судьбой с самого твоего рождения» жизнь. У меня

есть женге Дарига. Ее мужнаш родственник в третьем колене. Но поскольку у моего отца нет более близких родственников, наши семьи очень дружны. Тело у нее налитое, пышное, но головка маленькая, и черты лица миниатюрные, как у куколки,— ротик с наперсток, носик остренький, узкие прорези глаз блестят. Так и кажется, что на крупное тело взрослой женщины прилажена детская головка, и в характере у нее много еще детской непосредственности. Наверное, поэтому мы с ней, невзирая на разницу в годах, делились своими сокровенными тайнами.

Соблюдая казахский обычай, Дарига никогда не называет меня по имени и собственного прозвища тоже не дает, а просто говорит: «Ах, девушка». Как только у нее новость какая-нибудь или сплетня, которую ей невтерпеж таить в себе, она прибегает ко мне и, обняв, шепчет прямо в ухо, обжигая горячим дыханием: «Ах, девушка, а ты слышала?» И ухо мое увлажняется от ее дыхания. Одни мы с ней или с кем-то, сначала Дарига говорит чуть слышно, потом бормочет, а затем уже, разгорячась, говорит во весь голос, взалхав, не обращая никакого внимания на посторонних. И лишь когда я, сгорая от стыда, ущипну ее за бок, она вскинет на меня полные невинного удивления глаза, недоуменно оглядится и, осознав свою промашку, смущенно и торопливо потащит меня прочь. Какой бы взбалмошной и наивной ни казалась Дарига, но за годы замужества она набралась опыта. Особенно хорошо разбиралась она в холостых джигитах. Ребят, которые учились со мной, она в грош не ставила. Парней постарше, тех, кто невольно уже скашивал на меня глаза, примечала всех до единого. «Ах, девушка, сдается мне, что этот, рыжий-то, с сухими губами, ах, он к тебе не равнодушен. Уже три раза в этом доме был по каким-то делишкам. И все в твою сторону глазищи пялит. Он, чтобы ему лопнуть, стал счетоводом в МТС и, видно, думает, что в большие люди выбился. Ишь, на что надеется, несчастный!» «Зашла я сегодня в магазин, и тут откуда он только взялся? Этот, черненький, с кудрявыми волосами, Бекбергенем его зовут. Ах, девушка, нет, ты только послушай, я даже и не взглянула на него, а он не отстает, так и вышел следом за мной из магазина. «Женге-ей»,— мяукает жалобно. «Ну, чего тебе?» — спрашиваю. «У шелка, говорят, нити едины, у молодых — помыслы, просьба у меня к вам»,—

так и запел он, так и запел. И он, оказывается, по тебе сохнет. О, чтоб ты лопнул, мало он бегал за другими? Так теперь на тебя глазки наострил. О, господи, сказать стыдно! Слышь, говорят, он похаживал даже к младшей жене старого Кадырбая, а она уже не первой молодости. Пропади он пропадом, ну и отбрила я его. Даже близко не подходи!»

У Дариги таких новостей был целый ворох. Если верить ей, так все джигиты только по мне одной и сохнут, так и мрут, словно в мире нет больше других девушек. Но ни одного из них Дарига не считала достойным меня. Не знаю, что было с джигитами, но, яростно оберегая меня от них, Дарига рано разбудила мои желания. Конечно, будет девушка ворочаться по ночам без сна, если ей все уши прожужжат: «Тот парень, этот парень, да какой он статный, да пригожий».

Со стороны я казалась замкнутой, этакой недотрогой, но в душе у меня... я даже сама боялась в нее заглянуть: честное слово, какие-то бесенята плясали и вертелись там. Уже в шестнадцать лет появилась во мне привычка исподтишка, мельком, остро оглядывать парней. По-своему оценивала я и тех джигитов, о которых мне часто нашептывала Дарига. Желания их угадывала раньше моей пронизательной женге и мысленно ставила себя рядом с ними, как бы примеряя к себе каждого. Кажется, к некоторым я даже была равнодушна, но такого, чтоб потянулась, затосковала всем сердцем, не было. Я ждала кого-то другого.

И тот, кого я ждала, встретился мне как бы невзначай. Несколько раз я видела военного, он был подпоясан широким кожаным ремнем, на воротах его коричневой гимнастерки горели два красных кубика. Краем уха я слышала, что он из рода Аккииз, это в нашем районе, что приехал он в отпуск, что холост. Был он выше среднего роста, плечист, прям — фигура видная. Но мне до него дела не было. Просто приезжий. И я на него взглянула мельком, из одного только любопытства. Потом мы с ним столкнулись лицом к лицу. Я пошла к моей подружке и однокласснице Зауреш, не зная, что тот командир был близким ее родственником и гостил у них. Он поздоровался, я ответила ему, он стал расспрашивать, кто я, как учусь. Ничего особенного я в нем не нашла, легко поговорили с ним о чем-то и легко расстались... Вечером снова встретились, теперь в кино. И он, как

старый знакомый, запросто подсел к нам. И опять мы о чем-то беззаботно болтали, пока не погас свет и не застрекотал аппарат. И хоть бы раз сердечко екнуло. Весь сыр-бор заварил Дарига.

— Ах, девушка, ты видела того командира, что в отпуск приехал? — ее так и распирали радость, так и бегали возбужденные, округлившиеся ее глаза.

— Ну, видела, и что?

— Ну, а коли видела, что же ты, родненькая, медлишь? Еще не женатый, красавец писанный, военный командир — ну?! И родители его, говорят, видные люди рода Аккииз. И знаешь, в этот раз — слушай меня — уедет не один. Да, да, неспроста приехал, я вижу — невесту себе ищет, вот что!

— Пусть ищет.

Дарига даже рот открыла и жалобно, страдальчески взглянула на меня, словно спрашивая: «Да в своем ли ты уме, голубушка?»

— Ах, девушка, ну что ты говоришь? — схватила она меня за руки. — Единственного парня, с которого весь район глаз не сводит...

— Толстогубый, пучеглазый, как же, не сводит, красавца нашли...

— Ах, девушка, разве не говорят казахи: «Конь хорош губастый, а джигит — носатый».

— Но он же не носатый, а губастый.

— Ну и что? — неслась она, не разбирая дороги, и вдруг, поняв, что не туда заехала, захохотала, зажмурилась, закрутила головой. — Ох, да ну тебя! Зачем тебе его губы? Ты посмотри, какой он, а? Ах, какой, у-у какой! А ты, если бог даст его в твои руки, сама его взнуздаешь, а?!

И Дарига потеряла покой. С каждым разом она приносила все больше и больше сведений об этом залетном командире. И вызнав что-то новое о нем, она радовалась так, словно вдруг находила давнюю пропажу, и, чуть не лопааясь от нетерпения, спешила сообщить эту новость мне. Был установлен полный перечень всех его родных и близких, дядюшек и тетушек. Потом в точности выяснила, где и когда он в эти дни бывал, о чем говорил, кого прочит ему в невесты. А в конце разговоров наших она коротко вздыхала и добавляла как бы между прочим: «Не могу даже себе представить, что он способен на легкомысленные поступки. Ох, серьезный парень,

ох, ох!.. И ты у нас девушка серьезная и тоже уже на выданье. Если уж суждено тебе счастье, то лучшего и не сыскать!»

Не только Дарига, другие с не меньшим восторгом посматривали на этого командира. Человек издалека, чуть ли не с края света приехал и не какой-нибудь привычный аульный джигит, а военный и командир Красной Армии, к тому же из хорошего рода... Все было пищей для бесконечных пересудов, все разжигало к нему интерес. И чаще стали мы с ним встречаться, и он рассказывал о далеких, неведомых мне краях, о людях, живущих там, об их языке, обычаях, нравах. А повидал он немало и говорил интересно. Мне было с ним хорошо, он не делал скользких намеков «о единстве шелковых нитей и молодых сердец», держался просто и был ко мне внимателен.

И случилось тут со мною то, что я незаметно для самой себя стала приобретать иное зрение, точно вторые глаза во мне распахнулись, и мир и люди в нем постепенно преображались, хорошели. В первое время толстые, чуть приоткрытые губы Касымбека вызывали у меня какое-то неприятное ощущение. Мне казалось, что только у разинь и растерях могут быть такие губы. Теперь же мне вдруг открылось, что именно они, пухлые эти губы, придавали лицу его выражение детской доверчивости, а несколько выпуклые глаза лучились мягким светом и наполнились добротой. За считанные дни я сблизилась с человеком, военная форма которого вызывала у меня поначалу недоверие и настороженность. Я даже стала гордиться своим знакомством с ним.

А по району между тем пошла гулять многоголосая сплетня. И небольшой наш райцентр, в котором каждый твой шаг на виду, растревоженно загудел. Стоит людям заметить, как ты пару раз поговоришь с парнем (грех обижаться, на первый раз особого значения не придадут), как тут же о тебе начнут судачить. А я не два и не три раза встречалась с Касымбеком, гораздо больше. К тому же Касымбек, долгое время живший с русскими, не слишком утруждал себя обычаями, я тоже чересчур быстро растеряла внешние приличия, и нам ничего не стоило с ним средь бела дня прямо на улице стоять и разговаривать, ни на кого не обращая внимания и разжигая у женщин, видевших нас, фантастические догадки и злорадные домыслы. О, господи, ах, черт возьми, а

внучка-то старухи Камки, Назира... и пошло, и поехало, и в бровь, и в глаз, и в бок, и вкривь — кому как вздумается, свобода уж тут полная, меры тут нет.

Пришло время, Қасымбек уехал, отбыл, как он выразился, на свою службу. Перед отъездом он ничего не сказал мне, только попросил разрешения присылать письма. Я сказала: «Как хотите».

И осталась в котле этих сплетен. И смешные, и досадные, злые и нелепые — их приносила с улицы Дарига. Слухи в основном были двух видов. Одни утверждали: «Қасымбек женится на Назире, они уже обо всем условились». А другие... нет, о них лучше не говорить, пропади они пропадом. После отъезда Қасымбека мне боязно стало выходить на улицу. Казалось, все только на меня и глядят. Шепот женщин за моей спиной сбивал шаг, и жгучий стыд слепил глаза. Я стала замечать, джигиты, которые раньше передо мной чуть не на цыпочках ходили, теперь взяли привычку говорить со мной хамовато, с ехидцей. А тут еще Дарига добавляла: «Иза кого тебя очернили, тот пусть и обелит». Я ничего не в силах была сделать, оставалась только одна надежда — письма. С ними должно было прийти мое спасение, и мы с женге стали с нетерпением ждать весточки от Қасымбека.

И вот она пришла. А в ней ничего, кроме расспросов о здоровье да приветов. Дарига, забрав у меня письмо, прочитала еще раз, вынюхивая там что-то между строчек.

— Господи, а? Хотя бы написал «соскучился», — буркнула она и тут же, спохватившись, стала меня успокаивать: — Парень-то сдержанный. Такой не будет сразу кричать: «Ох, сохну, ах, помираю». Кто быстро загорается, того ненадолго хватает. А Қасымбек, он главные-то слова на потом оставил, вот в следующем письме их напишет. Ты не спеши ему пока отвечать, понимаешь?

Но и в следующем письме хоть бы одна искорка. Все как в первом, все пустое, и я очутилась в каком-то странном положении. Любить я его не любила, ну нравился, ну встречались мы с ним, с ним весело было, легко, приятно. Но если бы он перед отъездом сделал мне предложение, я бы крепко подумала, прежде чем дать ему ответ. Теперь же я словно в неволю попала: мучаюсь, жду, когда же он сделает мне предложение, когда?

А если Касымбек не сделает этого, то я окажусь опозоренной... Опозоренной?! Но ведь между нами ничего не было! Он даже ни разу не обнял и не поцеловал меня. Вот что изматывало душу, вызывало горькую досаду и тайные, тяжелые слезы.

Весть, которую я так ждала, пришла совсем с другой стороны. Мне приходилось встречаться иногда с женщиной средних лет по имени Зылиха, но близко знакомы мы не были. От Дариги я узнала, что она не то двоюродная, не то троюродная сестра Касымбека. И вот эта Зылиха, встретив меня как-то на улице, не прошла, как обычно, мимо, лишь слегка кивнув головой, а вдруг остановилась, заговорила со мной. И с тонкой, но уловимой уже родственностью подробно сообщила о здоровье всех своих домочадцев и с какой-то неподдельной лаской сказала: «Бог даст, ты учебу свою через месяц кончишь. Дай бог, дай бог, это хорошо». И повела меня, радостно обомлевшую, к себе: «Сегодня я дома одна. А в одиночку и чай-то не пьется». А за чаем она заговорила о Касымбеке. Вспомнила его детство и школьные годы припомнила. Потом стала откровенничать все удивительнее, все больше и, заметив, что я слушаю жадно, не перебивая, так и залилась, пошла нахваливать Касымбека, не забывая и обо мне доброе словечко вставить.

Случай был слишком прозрачен, я все поняла — девицы на выданье всегда себе на уме, неспроста остановилась Зылиха, неспроста! Сколько примет, и каждая со значением: мы поговорили, сошлись, узнали ближе друг друга. К тому же на прощанье она сказала:

— Ты не стесняйся, заходи почаще. Чай не чужие. Иногда ой как хочется поделиться с близким человеком.

Так вот запросто я не могла заходить в этот дом, зато сама Зылиха частенько стала попадаться мне на улице. И при каждой встрече не жалела для меня ласковых слов и по-прежнему много говорила о Касымбеке, а я слушала, и нам было хорошо, он был нам близок обеим.

— Знаешь, что тебе скажу? Касымбек в каждом письме спрашивает о тебе. Ох, скучает, видимо, — улыбалась Зылиха и заглядывала мне в глаза: — Ты не писала ему еще? А то мне за тебя приходится отвечать. Что скрывать, я похвалила ему тебя, написала: «серьезная, воспитанная девушка».

Дома Дарига, на улице Зылиха не давали мне забыть о Касымбеке. Теперь я о нем тосковала сладко, безбоязненно тосковала, а сама даже не успела как следует им увлечься за недолгие наши встречи, но это перестало меня угнетать и тревожить. Касымбек мне нравился все больше, и я готовилась стать его суженой. И страх, что кто-то помешает нам, оборвет на самом взлете наши отношения, все чаще одолевал меня. Каждое письмо Касымбека я ждала с изнуряющим нетерпением и тревогой. И пропало, закатилось мое веселье, я точно во сне ходила, никого не замечая вокруг. И вот когда спустя шесть месяцев Касымбек приехал, чтобы жениться на мне, я, вся изболевшаяся, истомившаяся, встретила его с таким чувством, словно давно уже была венчанной женой и, тоскуя, ждала его возвращения.

Наших встреч — я подсчитала — всего было девять. В молодые времена моей матери этого хватило бы, чтобы выйти замуж девятерым девушкам, а для меня одной этого оказалось маловато. И я все вглядывалась в него на свадьбе и заметила, что Касымбек двоится, и часто впереди него маячил тот образ позлащенный, который выткался в моих мечтах, и призрачный Касымбек был красивее и, что особенно странно, ближе, чем земной, приглушенный обыденностью человек.

Когда отшумела, отплакала и отпела свадьба и унялись первые волнения, рассеялись и грезы мои, со мною рядом остался едва знакомый мне джигит. Было с ним неловко, невпопад все как-то шло. Покинув родное гнездо, я отправилась с этим малознакомым мне человеком на самый край земли. Когда тронулся поезд и стал удаляться от вокзала, меня сдавило холодом одиночества.

5

Не успели скрыться водокачка, пристанционные карагачи, еще часто постукивали отдохнувшие за стоянку колеса на стыках, как безмерные пространства легли мне в душу, и тотчас отняло, заслонило далью мой аул, отчий дом, бабушку Камку, отца, тетюшку Даригу, всех родных и близких. Земля, большая и надежная, где родилась я и выросла, тоже осталась далеко. Девчонка, никогда прежде шагу не ступавшая за пределы своего аула, понеслась на край земли с человеком, которого

она так мало еще знала. Сравнить ли мое состояние это с оторвавшимся от дерева зеленым листочком или отбившимся от кочевья, покинутым на опустевшей стоянке аула щенком?

Мне было плохо, я не знала, куда себя деть. Часами упрямо я глядела в окно, видела и не видела то, что, тихо кружа, обгоняло нас как бы, а потом бешено, слепо бросалось под колеса и улетало, уносилось прочь стремительной полосой. Я не видела себя со стороны, да и в зеркало не смотрелась, и, только глянув в глаза мужа, в которых светились жалость ко мне и тревога, поняла, что была похожа на птенца, попавшего под проливной дождь.

Ощущение незащитности и одиночества само толкнуло меня к Касымбеку. Я хотела, сама того не сознавая, чтобы он заполнил разом образовавшуюся в моей жизни пустоту. Он стал не только мужем моим, он занял место многих, очень многих людей. В далекой, чужой земле, куда мчит нас без усталости поезд, он заменил мне и мать с отцом, и всю родню, и сверстников моих, сузился мой широкий круг и уперся в одного только Касымбека. И мысли мои мало-помалу сужались и сосредоточивались только на Касымбеке моем — стоило мне переключиться на что-либо другое, как опять одолевали тоска и тревога...

Первые дни нашей совместной жизни наложили свой отпечаток на наши взаимоотношения. Мне казалось, что у Касымбека брало верх, глуша все остальное, чувство братской заботы обо мне, во мне же — уважение и почтение к старшему. Мы все еще не привыкли, не доверились безоглядно друг другу... В последние три-четыре дня он начал тихонько гладить меня по животу, и не гладил даже, а как бы пытался ладонью, чуткой кожей ее к чему-то прислушаться. Мы оба замирали, не дышали, словно ждали чего-то... Сегодня к вечеру я ощутила вязкую тяжесть во всем теле, что-то давило, напирало изнутри, Касымбек покрыл ладонью как раз это вспучившееся на минуту место.

— Шевелится,— радостно бормотнул и задышал горячо и тяжело Касымбек.— Шевелиться начал, а, Назира? Слышишь? Слышишь ты, а?

Да, это Он, я знала. Это его слабые толчки, его боль, которую я поначалу приняла за свою — прихватило, резало и ломало живот. Но я все еще не могла до конца

поверить, осознать, что в теле моем зародилась другая жизнь, и какое-то чувство отчуждения к самой себе прошло меня. Что женщина бывает беременна, что таков закон жизни — это я знала, но от этого тебе не легче, когда не с другими, а с тобой, в тебе происходят такие перемены. Касымбек, опираясь на локоть, приподнялся, затем снова лег. Осторожно потрогал мне плечо и растерянно и радостно засуетился, не зная, что делать, куда деть руки. Встревоженный тем, что я долго не отвечаю, он снова заворочался и сказал, как бы умоляя о чем-то:

— Ты чувствуешь? А? Прямо-таки шевелится! Чувствуешь?!

— Чувствую, конечно же, чувствую!..

И я поглубже зарылась в объятия Касымбека и долго, долго лежала молча. И нам обоим было хорошо, мы были близки. Маленький комочек новой, неясной еще жизни связывал нас крепче, вернее, чем самые горячие признания в любви. Молчит и Касымбек, вдыхая запах моих волос и все крепче и бережнее прижимая меня: он думает о чем-то, я это чувствую. Он думает о чем-то важном и скажет сейчас.

— Я подумал... Тебе, пожалуй, лучше вернуться в аул,— сказал он.

— Почему?

— Как почему? Ты же в положении... Тебе будет тяжело одной, когда роды приблизятся. К тому же...

— Ну, это еще не скоро. Потом все решим,— отмахнулась я.

— Понимаешь... Обстановка тут такая... — Касымбек не может решиться сказать мне о чем-то.

— Да? А что за обстановка?

— Есть слухи... По ту сторону немцы стягивают войска. Кто знает, что может случиться. Я бы сам хотел отвезти тебя в аул. Только вот... отпуск нынешний мы уже использовали.

Такие слухи ходили здесь и прежде. Я не обращала на них внимания, не придавала этому значения и теперь. Конечно, я уже соскучилась по своим, но чтобы так быстро, словно разведенная, примчаться назад... Нет, так нельзя, неудобно как-то перед земляками.

— Ну их, эти слухи. Врут они все,— сказала я Касымбеку.— Давай потерпим малость, подождем. Что скажет бабушка Камка, если я вернусь домой?

— Да-а, она человек строгий,— сказал он, прижимаясь ко мне еще тесней.— Знаешь, что она мне сказала перед отъездом? «Эй, зятек, военный, поди-ка сюда»,— отзывает меня в сторону. И долго разглядывает меня с головы до ног. И так это сурово, с прищуром таким. Я даже вытянулся, как перед генералом,— рассмеялся Касымбек.— «А ты, часом, не пустобрех, парень?» — ошарашила она меня и прямо в глаза посмотрела. Я растерялся. Что ей ответить? От такого вопроса кто угодно вспотеет, да? «Скажу тебе правду, я не зналась с твоими родителями и не сама присмотрела тебя в зятя. Раньше-то невест и женихов выбирали отец с матерью, пожившие, повидавшие уже на своем веку, и думали они о том, чтобы дитя их, в чужой дом отданное, попало в хорошее гнездо. А теперь что? Молодежь все сама решает! Как это вы называете... любовью, что ли? И долго вы будете миловаться да целоваться? Даже корова лижет своего теленка, пока кормит. А ведь дальше начнется жизнь, детишки пойдут. Об этом вы подумали?» — Ну прямо за горло взяла, понимаешь? Права, ох, права бабушка твоя. Теперь вот вспоминаю ее... Раньше я думал: «Мы полюбили друг друга, что еще нужно?» Теперь вот гляжу — э-э, жизнь штука заковыристая,— Касымбек какое-то время лежал молча, слушая, наверное, бабушку Камку.

Прежде он таких бесед со мною не заводил. Ничего не рассказывал и о разговоре с бабушкой Камкой. То ли все раздумывал, прикидывал и пришел наконец к какому-то выводу, то ли нынешнее мое положение легло уже на Касымбека мужской, сосредоточенной заботой, не знаю. Он что-то все решал, и не был праздным, разгоняющим сон этот разговор, новой стороной повернувшийся ко мне моего мужа.

— Нет, бабушка Камка — человек не простой. Самую суть она приберегла напоследок. «Ты увозишь, говорит, мою девочку в чужие края, а мне осталось жить не больше, чем старой овце. Покажешь ты мне мою девочку до моей смерти или же мне с ней навсегда распрощаться?» Я ее давай успокаивать, мол, не горюйте, каждый отпуск будем приезжать, не дадим вам скучать, то да се, но она меня так же властно одернула: «Ладно, говорит, какой ты добрый да шустрый, увидим в свое время. А пока не суетись, парень. Говорят, военные не вольны собой распоряжаться. Что, если не разрешат те-

бе приехать?» Потом смягчилась: «Твое дело, сынок, не легкое, забыв о худом, не дождешься и доброго. Бывает, для мужчин приходит время испытаний. Знай, девочка моя не осрамит меня, сумеет быть тебе спутницей. Проголодаешься — изжарь ее, испытываешь жажду — до дна ее испей, все она выдержит. Только никогда ее не унижай», — сказала она. И так, знаешь, печально сказала она это, что мне просто муторно даже как-то стало.

Ты понимаешь, когда обыкновенный человек проявляет слабость, ну это понятно, но когда вдруг видишь слабость человека сильного, самому делается тяжело. И вот закрою глаза, а твоя бабушка так и стоит передо мной. Ты нахмуришься, а я вижу ее лицо.

...Моя бабушка Камка! Мама умерла, когда мне было семь лет, и сколько помню себя, росла у бабушки Камки. Она была мне как родная мать, не дала мне почувствовать себя сиротой... Бабушка никогда не охала и не ахала надо мной и лишь в минуты особенной нежности погладит, бывало, меня по голове и прижмет к груди и, коснувшись губами моего лба, отпустит со словами: «Ну, иди, голубушка моя!» И все равно я знала с малых лет, что она любит меня. Что теплится в душе ее уголек и согревает меня, и меня не могло обмануть суровое, иссеченное морщинами большое ее лицо. Ни разу за все эти годы не ощутила я в этой старухе отчуждения, того хлада житейского, который рождает усталость, болезни и горе. Я любила ее и побаивалась.

И не я одна. Все в нашем доме побаивались бабушку Камку. Во всем ауле никто не смел ей перечить. Широкой кости, с крупными чертами лица, красивая какой-то величественной старостью, она казалась человеком высокой, крепкой породы. У нас, казахов, встречаются разные типы человеческих лиц. Вот узкоглазая тетушка Дарига — вылитая корейка; крутобровая, светлолицая, с прямым носом, бабушка Камка похожа на европейских женщин. Была в ней и какая-то надменность, многих пугавшая. Стоило ей только медленно повести бровью и глянуть холодно на зарвавшегося шутника, на глупую чью-то выходку, улыбнуться надменно, как тут же самый отъявленный балагур скисал и тушевался, а те, кого только что хохот шатал и валял, досадливо откашливались, делались собраннее и серьезнее.

И как же переменился этот характер, когда я уезжала! Я собирала в своей комнате кое-какие вещи в доро-

гу, когда вошла бабушка. Едва она вошла, как я почувствовала смутное волнение. Движения ее потеряли обычную величавость, появилась какая-то суетливость. Она приблизилась ко мне и, словно забыв, зачем пришла, растерянно заозиралась по сторонам с таким выражением беспомощности, что заняло мое сердце. Она недовко обняла меня, прижала к широкой груди, припав к моему виску губами, неожиданно затряслась, заплакала. Плакала она беззвучно, все сильнее стискивая зубы, все сильнее жмуря дряблые веки, не державшие уже слез. Каково же мне было смотреть на эти слезы! Залилась и я. И так же внезапно, как расслабилась, бабушка Камка справилась с собой и вытерла глаза концом кимешека¹. Потом, отстранив на шаг от себя, посмотрела мне прямо в глаза: «В чужую сторону уезжаешь, далекую. Что же делать, сама себе судьбу выбрала. Так уж, видать, тебе на роду написано. В незнакомых местах каждая ямка кажется пропастью и каждый камень горой. Смотри, в трудные минуты не поддавайся слабости, не огорчай мужа».

Милая моя бабушка, мы помним, думаем о тебе — я и Касымбек, молча с тобой разговариваем, успокаиваем тебя: не тревожься, все будет хорошо, все хорошо, и засыпаем, и будто разговор ведем не здесь, в комнате старого флигеля, а в юрте, пахнущей войлоком, горьковатым дымком очага...

Вдруг я проснулась — меня точно холодом ударило изнутри. Громкие голоса, торопливый топот. Касымбек уже не спал, встревоженно поднял голову.

— Ты не испугалась, Назираш? — спросил он.

Кто-то, быстро ступая, приблизился к двери и громко застучал.

— Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, тревога! — закричал Николай, я узнала резкий его голос.

Касымбек вскочил, стал одеваться впотьмах. Я хотела зажечь лампу, но не смогла отыскать спички. Касымбек иногда уходил среди ночи по тревоге, к этому я успела привыкнуть, но сегодня какая-то холодная дрожь колотила и подкашивала меня. Я шарила рукой по столу — как нарочно, спички все не попадались. Касымбек уже оделся.

¹ Кимешек — платок. Казахский женский головной убор.

— Ты это, ты лежи, Назираш... Обычная учебная тревога.— Но в голосе его не было обычной уверенности, не знаю, что нас так сильно встревожило. Крик Николая, постучавшего в дверь?.. А за окном топот все усиливался. Со всех сторон неслись растерянные, напряженные голоса. Господи! Что же случилось? Касымбек торопливо вышел из дома.

Я замерла в темноте. Через некоторое время, придя в себя и отыскав спички на столе, зажгла лампу. Не знаю, зачем я ее зажгла. Жутко, нехорошо было одной посреди ночи. Но и при свете лампы тревога не рассасывалась... Я вздрогнула, когда Касымбек открыл дверь.

— Ты почему не спишь? — спросил деловито, не глядя на меня, он.

— Так... Сон прошел. Что там, просто так?

— Ну... и — ничего особенного. Сказали, командирам быть на месте, подразделениям тоже быть наготове. Может, проверка сверху или еще что-нибудь.

— Скажи правду,— я не сводила с него глаз.

— Не знаю, Назираш. Ничего не знаю пока. Приказали доставить частям боеприпасы. Может, простая осторожность. Пока никто не знает точно. Ты не особенно волнуйся. Ложись спать,— Касымбек положил руку мне на плечо. Она была тяжела и горяча, в ней сильными толчками билась кровь. Всем телом своим я прильнула к Касымбеку. Потом поняла, что сотрясаюсь от рыданий. Касымбек тоже прижал меня к груди и порывисто стал целовать в лицо, глаза, бессвязно шепча при этом: «Ну перестань, Назираш, ты что? Перестань же, ничего не будет... День-то выходной. Перестань, тебе нельзя плакать, слышишь?..» Касымбек был расстроен и подавлен. Высвободившись из его рук, я кое-как вытерла слезы и сказала:

— Иди. А то товарищи тебя заждутся.

Касымбек прижал мои плечи к груди и вышел. Командиры ушли. Шаги постепенно утихли, но слышны были еще голоса переговаривающихся друг с другом через открытые, светящиеся окна женщин.

Я решила спать при свете лампы и, прикрутив фитиль, легла в постель.

Но сон не возвращался. В комнате начал редеть сумрак, и стало так тихо, что был слышен стук собственного сердца. Что-то дрогнуло в боку. Не просто дрогнуло, а с какой-то сосущей болью потянуло вниз, а по-



том прихлынуло к сердцу и цепко схватило его. Это Он схватил. Как по-другому назвать существо, шевелящееся во мне, я не знаю. Не ребенок, не младенец еще. Самое подходящее ему имя — Он, и я все яснее ощущала «его».

Я ворочаюсь в постели. Закрываю глаза, чтобы заснуть, но не засыпаю. Смежу веки, а тьма становится гуще, и пламя лампы мутнеет и отдаляется. Я как будто иду по степи безлунной ночью. Широкий купол темного холма слился с небом, весь мир потемнел и колыхался в такт моим шагам. Лишь вдали мерцал крохотный огонек. Семилетняя девочка оглядывается на этот огонек с испугом. На вершине холма кладбище. И девочка боится молчаливых могил и не в силах не смотреть назад... Там, в могиле, на которой свежа еще земляная насыпь, лежит ее мать... Как же оставить ее там, на кладбище? Страшно, а тянет вернуться туда.

В тот день к вечеру бабушка Камка позвала меня. Я пришла. Бабушка скрутила фитиль из тряпочки и воткнула его в плошку с топленным бараньим жиром. Потом взяла под мышку молитвенный коврик, сунула мне плошку и сказала:

— Пойдем, детонька, сходим к изголовью твоей матери.

На закате мы пришли к кладбищу. С краю от выложенных дерном, осевших от времени могил горбился свежий холмик. Я своими глазами видела, как похоронили здесь маму. И все думала, содрогаясь от мысли: «А вдруг мать ожила и задыхается там, под землей?»

И сейчас я настороженно прислушиваюсь, не раздастся ли стон из-под земли? Бабушка Камка, встав на колени, читает молитву, я не понимаю в ней ни слова, читает она не нараспев, как муллы, а большей частью бормочет что-то или едва шевелит губами.

И долго, истово читала она молитву. Потом вдруг молча дернула меня за подол, привлекая мое внимание. Вижу, она вытянула раскрытые ладони, чтобы сотворить бата, я тоже раскрыла ладони. Бата — дело святое. Просьбу, высказанную в бате, бог выполняет. Я тоже бормочу про себя, выпрашивая у бога всего хорошего для моей мамы на том свете. Бабушка Камка провела ладонями по лицу и глубоко вздохнула.

— Ты пожелала маме добра, миленькая? Ведь ты ангел. Твою просьбу бог примет, — сказала она, погла-

див меня по голове. Затем поставила зажженный фитиль на могилу и сказала:

— Да не угаснет твоя свеча, родная моя.

И от кладбищенской торжественности этих слов у меня на макушке зашевелились волосы, сжалось и застыло на миг сердечко. Вот почему так часто оглядываюсь я, возвращаясь темной ночью в аул. Я боялась, а не погаснет ли свечка, как только кончится жир? Наконец, не выдержав, я спросила об этом у бабушки.

— Эх, дите ты мое, дите,— покачала она головой.— Ведь это ты ее свечка. Ведь она лишь о тебе думала, бедняжка, о тебе...

Слова эти горячо упали на самое сердце и поразили детское мое воображение. Маленькая свечка, мерцающая во тьме... И вдруг я необычайно живо ощутила, поняла, что свечка эта зажглась, затеплилась и в моей детской тесной груди, и стало там просторнее, светлее, и какой-то ясный покой пришел туда...

Снова вздрогнула во мне глубина. Шевелится. После недавнего страха по телу начало разливаться блаженное тепло. В этой темной ночи, в сумрачной комнате засветилась еще одна слабенькая, едва-едва мерцающая свечка, еще один святой огонек.

6

Не знаю, сколько времени я проспала. Опять меня что-то разбудило. За окном брезжил бледно-пепельный свет... Вдруг кто-то опять громко забарабанил в дверь.

— Назира! Назира! Что ты там делаешь! Вставай скорее!

Голос Светы. В нем звенело отчаяние. Соскочив с кровати, я бросилась к двери.

— Быстрее, Назира, ох, быстрее!.. Собирайся.

— Что случилось?

— Война! Немцы начали войну. Нас отправляют на вокзал. Быстрее же!

Какая война? Что за война? Ничего не могу понять. Но меня уже колотила холодная, обессиливающая дрожь.

— Пошевеливайся же! Быстрее, одевайся быстрее, ну?!

— Касымбек... Николай... где они?

Света тяжело, словно ей отказали ноги, свалилась на стул.

— Не знаю, ничего не знаю... Они же военные! Наверное, ушли воевать,— сказала она через силу, с трудом сглатывая слюну.

Теперь только до меня дошло, что случилось. Война началась... Касымбек ушел на войну... Увижу ли я его еще? Ночью даже проститься по-человечески не смогла!

— Торопят же нас,— сказала Света тихо. Лихорадочное ее волнение спало, она медленно, сонно поднялась со стула.— Бери что под руку попадет и быстрее выходи.

Я стала торопливо складывать вещи. Господи! Когда мы с Касымбеком успели нажить все это добро? Хватаюсь то за постель, то за посуду, то за другую утварь. Все кажется необходимым! Когда я наконец вышла, совсем уже рассвело, во дворе суматошно сновали женщины, вынося из домов свои пожитки. Окна и двери были настежь распахнуты. Муж Ираиды Ивановны, худой, долговязый старший лейтенант, торопливо тащил узел и ведро с посудой, то и дело оглядываясь на жену.

— Боже мой, Раечка, как же дети, как ты теперь? Тебе же трудно будет, Раечка,— бормотал он растерянно.— Боже ты мой!

— Ну что же, если трудно. Ты не задерживайся, иди.— Спокойно и хмуро говорила Ираида Ивановна.— Как-нибудь перебежмся вместе со всеми. Ну, ступай, ждут тебя небось, ступай!

Окруженная детьми, Ираида Ивановна начала складывать у двери свои узлы. Она была еще спокойнее, чем обычно, не суетилась и не спешила. Муж ее все топтался рядом, никак не решаясь уйти.

— Да что же это такое, а?.. Спозаранку войну начали, гады! Я должен, я помогу тебе погрузиться в машину,— говорил он.

— Руки и ноги у меня целы. И сама сяду. Тебя, наверное, ищут уже, Ваня.

Расширившимися, помертвевшими глазами старший лейтенант смотрел на своих детей.

— Ваня, где Ваня? Шурик, Боренька, подите сюда,— подозвал он к себе сыновей и слабо и торопливо от подступившего отчаяния стал целовать каждого. Расцело-

вав их, он прижался к жене,— н-ну, прощай, прощай, Раечка! Ты это, детей береги, береги их!

— Себя береги, Ваня-я. Будь сам осторожен,— заплакала Ираида Ивановна, голос ее дрожал, в горле что-то булькнуло, щеки заблестели от слез.

Меня опять накрыло горячей, душной волной: я не смогла с Касымбеком проститься как надо, по-человечески! Что же это такое?.. Но переживать было некогда. Нам выделили всего одну машину. Женщины тесно обступили ее и торопливо стали бросать в кузов свои узлы и чемоданы. Некоторые уже уселись в кузов. Нам со Светой, прибежавшим позже, было не подступиться.

Вещи Елизаветы Сергеевны грузил ординарец ее мужа. Сама она, прижав к груди обернутую в полотенце хрустальную вазу, совалась повсюду с нею.

— Миша, Миша, на, поставь эту вазу, да смотри, чтобы не разбилась,— кинулась она наконец к ординарцу.

— Да вы что?! На этой машине и места такого нет! Вы лучше в кабину, да в руках ее, вазу эту,— сердито кричал ординарец.

Ираида Ивановна никак не могла посадить своих детей. Трое мальчишек, испуганно поглядывая на мать, жались к ней. Ваня держал запеленатого малыша, в руках у Шурика и Бори легкие узелки. Стоял крик, детский плач. Откуда-то появился незнакомый лейтенант и, перекрывая гвалт, начал громко командовать. Первым делом он согнал с кузова усевшихся там женщин, погрузил туда весь наш скарб и усадил женщин с детьми, только их одних. Машина была битком набита.

— Остальные — пешком. До станции — пять километров. Только торопитесь, быстро, быстро! Эшелон ждать не будет! — прокричал он и, не прощаясь, побежал куда-то.

Пока мы возились с погрузкой, совсем уже рассвело. На востоке показался красновато-сырой краешек солнца. Толпой мы двинулись из усадьбы — все было там брошено, растоптано, валялись ведра, детская коляска, белело что-то. Суматоха улеглась, и теперь мы уже шагали молча, торопливо. Рощи и зеленые поляны окрест, залитые мягким желтовато-прозрачным солнечным светом, еще покоились в дремотной тишине. Лишь изредка где-то звучно, в одиночку, пела какая-то птица. Весь этот переполох казался мне продолжением какого-то ди-

кого сна. И в этот день, и в последующие я словно не могла пробудиться, увидеть, какая страшная беда нависла надо мной, над всеми нами.

Мы шагали быстро, сосредоточенно и не заметили самолетов. До станции было уже недалеко, показалась верхушка водонапорной башни, каждый думал: «Скорее бы!» И тут донесся какой-то отдаленный гул. Вначале я не обратила на него внимания, но он нарастал и ширился, угрюмо распиливая литую тишину утра. Встревоженная этим незнакомым звуком, я огляделась по сторонам, но ничего не увидела.

И тут же раздался истошный вопль:

— Немецкие самолеты! Летят-ат!

Мы остановились, не зная, что делать, гул сплошь охватил небо, заставляя вжимать голову в плечи. Яглянула на небо и увидела растянутые в цепочки темно-серые самолеты; лучи встающего солнца, поблескивая, отражались на их гладких брюхах. Это поблескивание, холодное, как лезвие бритвы, казалось ледяным сиянием самой смерти.

Я схватила Свету за руку и кинулась к обочине дороги. Обе мы потеряв головы неслись что есть мочи, как вдруг раздался крик:

— Ложись! Ложитесь!

Ужас вдавил нас в землю, заставил зарыться в зелень, в траву, как будто она могла укрыть и спасти от смерти. Мы сжались в комок, ожидая, когда же начнут падать бомбы, а их все не было, и напряжение, сковавшее нас, сводило с ума...

— Да, кажись, пролетели...

— Эй, бабы, вставайте! Разлеглись, смотри ты на них... До станции еще топать.

— Скорее, скорее вставайте!

Но с трудом, медленно, точно замороженные, мы поднимались, разгибая спины, смахивая какую-то невидимую паутину с лица. Я тоже несколько раз провела пальцами по щекам, явственно ощущая нечто тонкое, цепляющееся за кожу, но никак не удавалось захватить это «нечто» и освободиться от него. Женщины, пришедшие в себя раньше других, отряхивались и глядели вслед удаляющимся самолетам.

— Нет, станцию бомбить не будут. Гляди, дальше полетели.

— Как бы не возвратились!

— А где же это наши зенитчики? Где истребители? Я не вслушивалась. Слова эти доносились откуда-то издалека, приглушенно. Я старалась унять лихорадочную дрожь. Мне все еще казалось, что по небу раскинула крылья смерть, могильное дыхание которой выстудило это летнее утро. На лице Светы не было ни кровиночки — белое как снег, со следами смертельного страха. И лица других женщин были не лучше, с земляными, провальными тенями на них. И переговаривались они, и собирали вещи, как полумертвые, — все до одной могли они лежать среди этой травы, пестреющей желтыми одуванчиками и еще какими-то цветами, не люди уже, не женщины — тела! Все теперь зависит от случая, жизнь каждой из нас вдруг утратила свою законность, право свое на бытие. Сегодня, сейчас живой, дышащий, ощущающий тепло и тонкую свежесть утра, а через минуту, в следующий миг — мертвый, тело, не нужное здесь никому. И так все просто, проще даже самой обычной простоты, и бессмысленно поэтому.

Подавленная, я шла вперед только потому, что шли другие.

Мы добрались наконец до станции. Сопровождавшие нас лейтенант и два бойца сразу же ушли догонять свою часть. А сюда со всех сторон тянулись и тянулись женщины, жены командиров из других полков. Немного осмотревшись, мы стали искать начальника станции.

На вокзале царила суматоха. Все двигалось, мешалось, пестрели косынки, простоволосые головы, шляпки, мелькали военные фуражки и пилотки. Вскоре народу стало еще больше. Откуда-то явились и представители местных властей. Поняв, что нам все равно не добраться до начальника, мы со Светой остались в толпе, надеясь, что если уж отправят всех, то и нас, наверное, не оставят.

А народу все прибывало. Маленький зал ожидания был набит до отказа. Даже на перроне некуда было ступить — все загромождали узлы, чемоданы, посуда, как будто стащили сюда весь хлам, хранившийся по разным домашним углам, и разложили, разбросали повсюду. Детские горшочки, ведра, наспех перевязанные пестрые одеяла, корзины с провизией... Поистине хлынул потоп, и люди, похватав наспех пожитки, бежали из дома, кое-как добрались до корабля, именуемого вокзалом, не ведая, что корабль этот стоял на мертвом приколе.

Никто не знал, где и как идет война, и каждый выдвигал свою догадку. Если одни успокаивали — а, ерунда! Завтра же немцев этих расколошматим! — то другие рисовали картины самые мрачные.

А надо мной все еще висели самолеты, они застряли в моих глазах. Позже я встретила со смертью лицом к лицу, видела немало полей сражений, пожарищ, но этого первого страха забыть так и не смогла. Как будто первое дыхание смерти отравило все мое существо: на кого ни взгляну — вижу холодное, распластанное по земле тело. И казалось, что эта шумная крикливая толпа суетится бессмысленно, что она обречена. Тяжко было, я вся истомилась, не в силах отделаться от похоронного какого-то состояния, все как будто угасло во мне.

И вот — о, чудо! — среди всей этой суматохи я увидела играющих детей, обыкновенных детей. Дочь Муси-Строптивной Люся говорила Шурику:

— Теперь ты прячься. А мы с Борей будем тебя искать.

Пока Люся и Боря, прикрыв глаза ладонями, стояли лицом к стене, Шурик, отбежав, присел за чьим-то большим узлом и крикнул «ищите!». Люся и Боря стали искать и долго не могли найти Шурика. И тут похожая на куколку, пухлощекая, с кругленькими глазками чья-то девчушка восторженно закричала:

— Он здесь! Он здесь! Я увидела. Вот он где!

Шурик из-за угла показал ей кулак, но на девчушку это не подействовало, видно, она была баловницей, не знала испуга.

— А я видела! Все равно скажу, — запрыгала она, хлопая в ладоши.

Ах, какой была славной эта маленькая непоседа со вздернутым носиком и улыбчивым личиком! Чем больше сердились ребята, тем сильнее веселилась она.

Дети расшалились вовсю. Глазастый и смуглый мальчишка, похожий на цыганенка, сбросил с себя пальтишко, по локоть просунул руку в один его рукав и гонялся за своим рыжим сверстником. Догнав, он пытался захлестнуть его своим пальто, но тот ловко увертывался. «Куколку» веселило и это.

— Бей! Бей! — кричала она азартно и хлопала в ладоши.



Все забыли они — смеются, кричат и бегают в суматохе перронного многолюдья, взбираются на увязанные узлы и прыгают с них. Даже это внезапное переселение кажется им самой интересной игрой. И, не сразу выбиваясь из нее, они неохотно откликаются на зов своих матерей, потерявших из виду и угорело разыскивающих своих ребятишек.

Казахи называют детей «ангелами», скажет ребенок что-то хорошее, и они радуются, считая, что это бог вложил доброе слово в его уста, и верят, что слово ребенка святое, оно сбывается. И я сама, несмотря на «среднее образование», безбожие мое, верю многим народным приметам, особенно тем, которые связаны с детьми. И теперь, глядя на беспечно играющую малышню, я оживала, набиралась детской, безотчетной веры в то, что все будет хорошо, все войдет в свою колею.

Вскоре появился пожилой лейтенант с вооруженными солдатами. Солдаты быстро встали в ряд на краю платформы. Лейтенант подал команду:

— Семьям военнослужащих выйти вперед!

Примолкшая было толпа взорвалась криком и сплошной лавой хлынула вперед.

— Назад! Назад! — сердито потребовал лейтенант.

Солдаты, надвинувшись цепью, оттеснили нас, прижали спинами к стене вокзала.

— Всем оставаться на местах! — поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, командовал лейтенант. — Будем проверять документы. И пэ-апрошу порядок!

Люди притихли. Но все равно, тесня друг друга, переругивались и спорили, густо пошел гул. Наконец и мы со Светой попали на другую сторону платформы. К этому времени нам подали товарняк. Женщины, перебрасывая свои узлы через головы, давясь и толкаясь, ринулись в вагоны, одними из последних взобрались в теплушку и мы. Я попыталась протиснуться подальше от двери, но не смогла и, задыхаясь, хватая ртом воздух, повалилась на доску, положенную в железные скобы поперек двери. Кто-то еще из-под моих ног вскарабкивался в вагон. Из его глубины сквозь шум и крики доносился детский плач. На перроне оставалось все еще много людей. Солдаты их еле удерживали, и там тоже раздавался надрывный плач детей.

Поезд все набирал и набирал скорость. В вагоне улеглась недавняя толкотня и слышались уже проклятия в адрес безвестных виновников оторванной пуговицы или разодранного ворота, приводились в порядок узлы и чемоданы. Пошли обыденные, дорожные разговоры, и голоса обмякли, подобрели.

— Эх, какая жалость, а? Какую красивую чашку оставила я... Фарфоровую! Старинный фарфор. Теперь такого не делают.

— Ну, фарфор, фарфор... Я вон радиоприемник оставила, триста пятьдесят стоил! Ваня убежал по тревоге, а что я одна?.. Не знала, за что хвататься.

— А я второпях забыла свою шубу. Спрятала на лето...

Быстро успокоились люди, уже вернулись прежние заботы, и я поймала себя на мысли — а не окажется ли все это ложной тревогой, по ошибке, попусту погнавшей нас куда-то.

Нам со Светой каким-то чудом удалось забраться в глубь вагона. Вначале мы, как куры на насесте, сидели на чемоданах, но по мере того, как убыстрял свой бег поезд и, покряхтывая, раскачивался вагон, стало просторней, и мы смогли даже прилечь, вытянувшись и подложив под головы узелки, и с незнакомой нам еще горькой отрадой прикрыли глаза...

...Ранней весной этого года, когда мы с Касымбеком уезжали из аула, многолюдье и сутолока большой станции подавили меня. Я понимала, что нехорошо пялиться на незнакомых людей, но новые лица, добротная, нездешняя одежда притягивали мое внимание. На перроне было шумно, оживленно и как будто даже празднично, а я была лишней на этом празднике, я окинула взглядом степь, с которой расставалась в первый раз. Она была уныла, беззащитно раскинулась под хмурым небом. Мне стало жаль ее, как жалко бабушку Камку, робкого моего отца и славную мою женге Даригу.

Темные пятна проталин среди осевших, оледеневших снегов напомнили промозглую осеннюю пору. Как бы наверстывая упущенное, льют непрерывные дожди, насыщая все вокруг сыростью. Люди в такую погоду стараются не выходить из дома, и только скотине в степи негде спрятаться от дождя, она неприкаянно жметя к

крутым обрывам в балках и оврагах. Это была самая унылая и беспокойная пора в жизни кочевых казахов, которые старались как можно дольше продержатъ скот на летних пастбищах. Но для нас, детей, даже такие дни были хороши и многое нам дарили. Неугомонно носились мы по отяжелевшим от дождей песчаным холмам. Полынь и ковыль влажно, мягко похлестывали по нашим босым ногам. Холодный ветер стихал, и, мутно стирая границу между небом и землей, низко нависала обложная хмарь. Окрестности становились какими-то мягкими и податливыми, и они манили нас, и мы целыми днями носились по степи, не замечая, как распухли, багрово распарились от холода наши босые ноги. И когда разгневанные матери загоняли нас наконец домой, мы начинали чувствовать, до чего продрогли. У жарко пылавшего очага в наши отяжелевшие ноги вонзались тысячи иголок, ступни поламывало, но боль постепенно проходила, и по всему телу разливалось усыпляющее тепло.

На джайляу, среди пологих холмов у озер Хналы и Джусалы (берега их так густо поросли камышом и кугой, что добраться до открытой воды можно было только в местах водопоя), у обширного сора (у самого края его, сплошь укрытого толстой коркой соли, был пресный и прозрачный родник) провела я не одно лето моего детства. Когда ложился снег, мы возвращались на зимовье у реки Иргиз, которая широко, буйно разливалась только в пору весеннего половодья, а затем пересыхала и превращалась в разрозненные, застывшие в глубоких берегах плесы.

Дитя кочевого народа назубок знает каждый овражек и бугорок на пути кочевья, каждый холмик и ложбинку с приземистыми кустами таволги и чилиги. Пока взрослые располагаются на становье, ты уже носишься вокруг, находя таинственные следы прошлогодней жизни аула. И радостно, взволнованно узнаешь утопанные круги от юрт, поросшую травой яму из-под очага, такыр за аулом, где мальчишки играли в асыки, и склон холма, где собиралась вечерами молодежь. И все это близко и дорого тебе. И ты с чувством какой-то странной настороженности отмечаешь следы собственного роста, осознавая себя другим, новым, не таким, каким ты был прошлым летом на этих местах.

Перекочевка доставляет немало хлопот взрослым, зато для детей она источник нескончаемой радости. Весело наблюдать за тем, как разгружают вьюки, ставят юрты, выкапывают очаги и разводят огонь под котлами. Травы вокруг аулов поедаются за какой-то месяц, земля выбивается тысячами копыт и покрывается мелкой, легко вздымающейся даже от слабого ветерка пылью. Воздух густеет, поднимаются над овечьими загонами, лошадиным навозом испарения, тучами кружат мухи... Поэтому переезд на другое становище превращается в праздник и для взрослых. Когда селились на новом месте, я всегда ощущала в себе самой какое-то очищение, все становилось чистым и обновленным — и ржание коней, и блеяние овец, и вечерние розовато-теплые клубы дыма над веселыми очагами.

При перекочевках случается немало и смешных событий. Одно из них я помню и поныне. Был в нашем ауле тщедушный человечек по имени Салимбек. За глаза его звали «Коротыш». И был он невероятно вспыльчив и задирист. Жена его — Аккумис казалась вдвое крупнее своего мужа и отличалась каменным спокойствием. Поговаривали, что Салимбек вечно суется у себя дома в женские дела. Однажды летом мы перекочевали в зеленую, богатую травами долину у озера Суналы. Я бродила по новым местам и случайно оказалась у юрты Салимбека. Аккумис возилась одна, устанавливая кереге¹. А муж, заложив руки за спину, сердито прохаживался возле.

— Эй, я же тебе сказал: не ставь здесь юрту! — закричал он жене.

Аккумис ухом не повела, продолжая неторопливо укреплять остов.

— Эу, да ты никак оглохла?! — взвился Салимбек. — Перенеси юрту на другое место, кому сказано? Не видишь, что ли, осока здесь? Все ноги иссечет, не даст босиком пройтись. Перенеси кереге вон на то место, тебе говорят!

Аккумис по-прежнему неторопливо и основательно продолжала свое дело. Салимбек совсем вышел из себя, даже вспотел, а глаза зажглись, как у злого кота.

— Н-ну, погоди ты у меня, — заскрипел он зубами и начал раздеваться. — Погоди, погоди, дурища...

¹ Кереге — решетчатый остов юрты.

Салимбек сбросил шерстяной чекмень, рубашку, топорливо стянул сапоги, затем снял и штаны. Оставшись в одних подштанниках, Салимбек высоко закатал их, схватил камчу и побежал по какой-то замысловатой кривой к жене. Пробегая мимо, он сделал свирепое лицо и вытянул по плечам занятую юртой Аккумис. Она даже не шелохнулась. Это взбесило Салимбека. Он взвизгнул, ругнулся матерно и еще раз ловко стеганул ее камчой. На этот раз Аккумис, дернув плечами, сморщилась от боли. Она попыталась было схватить мужа, когда тот подбежал в третий раз, но его голое плечо выскользнуло из ее рук. Так вот в чем заключалась хитрость Салимбека: он разделся, чтобы жене не за что было его ухватить!

Аккумис, не зная, как ей теперь быть, прикрикнула: — Ты что, рехнулся? Хватит, наверное.

Но Салимбек распетушился еще больше.

— А-а, пробрало наконец-то! Будешь знать у меня, как мужа не слушаться! Будешь? А-а!

Опьяненный победой над своей могучей женой, Салимбек подошел настолько близко к Аккумис, что та, обернувшись с неожиданным для ее крупного тела проворством, цепко ухватила мужа за подштанники. Бедняга затрепыхался, словно муха, попавшая в паутину, и заблажил на все становье:

— Ойбай! Ойбай! Сеилхан, на помощь! Что она делает — убьет, сумасшедшая баба! Сеилхан, скорее! Помогите!..

Мой дядя Сеилхан ставил юрту шагах в пятидесяти, все видел и, давясь хохотом, шел уже к соседям. Аккумис с посеревшим от гнева лицом швырнула мужа на землю и стала молча и ожесточенно волтузить его. Тут и подоспел дядя Сеилхан.

— Эй, тетушка, умоляю, смири свой гнев, будет тебе, — обхватил он сильными руками плечи Аккумис.

Салимбек поднялся, стал топорливо одеваться.

— Проклятая баба, раньше подножкой валила, а теперь просто швырять начала, собачья жена! — сердито бормотал он.

Но этим дело не кончилось. Едва поставили юрты, как дядя Сеилхан пошел «мирить» супругов. Аккумис пришлось разжечь огонь под казаном. На дымок, на запах вареного мяса, почуяв, что есть возможность угос-

титься и посмеяться всласть, собрались в юрте и другие соседи. Сеилхан был в центре внимания.

— Господи, с рождения вроде живем рядом, а многое друг о друге, оказывается, не знаем. Кто бы мог подумать, что так страшен наш Саке в гневе, а? — заговорил он серьезно, с почтением. — И гнев у него не пустой. Ужасно тяжелая у него рука. Тетушку Аккумис едва уберег от смерти. А разошелся наш Саке, ну разошелся! Остановить — даже не берись и не думай. Неукротимый человек! Мне тоже досталось, пока пытался выручить тетушку.

Дядя Сеилхан даже застонал и, морщась, схватился за «ушибленные бока». Некоторые, не выдержав, фыркнули, прячась от глаз Салимбека, но большинство и бровью не повело, а, удивленно цокая, пустились хвалить Салимбека, так же как и Сеилхан, уважительно называя его сокращенным именем — Саке.

— Саке, дорогой, всем аулом вас умоляем! Простите ради нас вашу женушку. Чтобы мы могли с легким сердцем испробовать ее угощение.

Салимбек, понуро сидевший рядом с Сеилханом, ободрился, расправил плечи и, решив пожалеть своих гостей, смягчился:

— Только ради вас, дорогие мои. Ладно, на этот раз, так и быть, прощу, но впредь уж пусть меня не выводит.

В юрте враз сделалось шумно, все одобрительно закричали, давая волю смеху и вскрикивая: молодец, Саке! Правильно, Саке!

И все это время Аккумис невозмутимо, словно она не имела никакого отношения к разговору, возилась со стряпней, готовя угощение. Все так же молча внесла она в юрту небольшой черный бурдюк и прислонила его у входа. Потом приладила его горлом к решетке кереге, развязала кончик и стала разливать кумыс в щербатые тостаганы.

Я принимала у тетушки Аккумис чаши и передавала их гостям. Сызмала тянуло меня туда, где собиралось много народу. В неспешной жизни немногочисленных казахских аулов человека томит скука одиночества. И как оживают и радуются они, когда соберутся вместе или наедет случайный гость! Ну, а такая, как сегодня, сходка — это уже настоящий праздник. А уж что делается, когда сойдутся сверстники — нет конца шуткам и смеху. И я готова слушать их день и ночь, путаюсь в ногах

женщин, которые готовят угощение, и вслушиваюсь в рассказы людей, вглядываюсь в их лица. После услышанных мною историй — веселых, смешных, печальных — они кажутся такими значительными, как бы заново открывшимися мне и крепко врезаются в детскую память мою.

Больше всех я любила моего дядю Сеилхана. Он меня жалел, был со мною ласковым, думал, наверное: «Легко ли ей при мачехе», но никогда не говорил мне об этом. Стоило встретиться нам, как он начинал упрекать:

— Назира, голубушка, ты почему перестала к нам заходить? Ну-ка, идем,— и уводил к себе.

— Эй, жена, что там у тебя припасено для Назиры? Ну-ка, угощай ее, да послаще,— приказывал он тетушке Балсулу.

Тетушка Балсулу — низенькая женщина с рыхлым телом и сонными движениями. О таких казахи говорят: «О подол спотыкается». Никаких особых разносолов у нее, конечно, не бывало, но что-нибудь вкусенькое для меня она все же находила. Балсулу никогда не суетилась, не вздыхала надо мной, и все же я знала, что она меня любит. Ее холодновато-сонные глазки всегда теплели при моем появлении.

У казахских женщин характер чаще всего покладистый, а Балсулу среди них, пожалуй, самая терпеливая, иначе бы она не смогла быть женой дяди Сеилхана.

Люди хвалили дядю Сеилхана за прямогу характера. Был он широкоплеч, высок и статен, и черты лица у него крупные — крутые надбровья, большой прямой нос. Я видела, что дядя Сеилхан красивее и сильнее других, и в душе гордилась этим. И щедрости мой дядя был человек необычайной, последнее готов отдать людям.

Частенько они довольствовались молоком единственной коровенки, а то и козым обходились как-то. Самой дорогой его собственностью был лишь Чубарый. Я не раз слышала, как старики хвалили коня: «С места в карьер не возьмет, но зато в долгой скачке не знает усталости, по выносливости с ним никто не сравнится». Чубарый словно был создан для дяди Сеилхана. Всякая другая лошадь под таким могучим седоком показалась бы, наверное, ослом.

Каждую зиму дядя Сеилхан добывал множество лис и волков. Когда он с товарищами возвращался с охоты,

мы, дети аула, высыпали ему навстречу. Он, легко подхватив меня, усаживал перед собой в седло, подвозил прямо к дверям нашего дома и опускал на землю, сунув мне в руки мягкую и пушистую, пахнущую морозом и еще чем-то кислым, звериным, лисью шкуру. Прижав ее к груди, сияя от радости, вбегала я в дом.

Была в характере дяди Сеилхана еще одна отличительная черта — не мог он подолгу жить на одном месте. То на зиму, то на лето, а то и на целый год покидал он порой родные места.

Добра у него не много, кочевать не трудно, возьмет жену, единственного сына и отправляется в путь. Случалось зимовать в Узбекистане, бывать в Каракалпакии. У каракалпаков он сапожничал, с узбеками брался за кетмень. На хлеб зарабатывал и на обратный путь денег копил.

Таких людей, как мой дядя Сеилхан, называют «и жнец и певец». Он и охоту любит, и веселье, и гордостью никому не уступит. А приходила нужда — брался за черную работу. И все делал на совесть, в охотку, с удовольствием. Многим в нашем ауле он поставил дома, сложил печи и ни копейки за это не взял. Да ему и не решались платить, зная его характер.

Но зато и сородичи ничего не жалели для Сеилхана. Когда он с семьей возвращался из Узбекистана или Каракалпакии, тотчас же для него находили и жилье и дойную корову.

Человек открытый, веселый, дядя Сеилхан любил пошутить, разыграть кого-нибудь, подначить. Особенно часто подшучивал он над своим одногодком Альмуханом. Альмухан такой же рослый, как и Сеилхан, но во всем остальном они совершенно не похожи друг на друга. Сеилхан — жилистый, широкий в плечах, Альмухан же толстый, с большим животом и основательным задом. У Сеилхана лицо смуглое, с резкими, чеканными чертами, у Альмухана оно рыхлое, серое, словно заветрившее сырое мясо. У Сеилхана голос звонкий, переходящий порою в клеткот, у Альмухана в горле как будто кислое молоко булькает, не сразу даже разберешь, что он говорит.

У казахов в обычае подшучивать над сверстниками, и жестоко, порой без всякой жалости. И дядя Сеилхан так часто шутил над Альмуханом, что и имя его сделалось нарицательным. «Глупый ты, как Альмухан», «Так

поступить, как ты, мог только Альмухан», «А ты, оказывается, настоящий Альмухан», — часто говаривал он.

Как-то возвратились Альмухан и дядя Сеилхан из поездки в город. Как обычно, в тот вечер весь аул собрался послушать дорожные новости, рассказ, которым в тот день рассмешил всех дядя Сеилхан, крепко засел в моей памяти.

От областного центра до нашего аула двести пятьдесят километров. Дорога неблизкая, ехали на телеге по безлюдной степи под палящим солнцем, путников мучила жажда. По дороге попадались хутора украинских поселенцев. Правда, в ту пору казахи не особенно-то отличали украинцев от русских. В степных балках хуторяне сажали бахчи и огороды. И вот, измученные зноем и жаждой, Альмухан и Сеилхан увидели одну такую бахчу. Кто же в такую жару проедет мимо арбузов? Они сошли с арбы и съели арбуз. Утолив жажду, друзья уложили про запас еще с десятков арбузов — путь-то не близкий, двести верст по пустынной степи, по жару.

В этот миг из-за бугра выскочил здоровенный мужик, с криком бросился на них и с ходу врезал Сеилхану в ухо, тот ответил, ну и пошла потасовка. Оба стояли друг друга, дрались долго — и носы расквасили, и рубахи изодрали. Наконец разошлись, тяжело харкая, залитые потом, бросая враждебные взгляды один на другого, утираясь рукавами и сплевывая сукровичную тягучую слюну. И когда Сеилхан тронул арбу, из-под нее выбрался Альмухан и пробулькал: «Ну, как, кончили уже?»

— Ты что? Ты куда пропал? Ты почему, черт бы тебя побрал, не помог мне?! Нас же двое, а он один! Если бы ты был рядом — да он бы и не полез на двоих! — возмущенно закричал дядя Сеилхан.

— Господи, Сеилхан, но как же я могу драться с незнакомым русским? — сказал Альмухан. — Никак не могу.

В ауле у нас пересказывали еще одну историю, случившуюся с дядей Сеилханом.

Лет пять назад дядя Сеилхан со своим родным братом Наубетияром поехал в областной центр. Как раз свирепствовали лютые морозы. Они остановились на окраине города у татарина Хайбри, который сдавал свой дом под заезжий двор. Хозяину давно осточертели каждодневные гости. К тому же чистоплотный городской

татарин самым высоким достоинством человека считал умение ни соринки не уронить на пол и степных неряшливых казахов встречал неприязненно. Целый день дядя Сеилхан и Наубетияр ехали по открытой и продуваемой всеми ветрами степи, промерзли до костей, и, зная это, Хайбри даже не напоил их как следует горячим чаем.

Он отвел им какую-то комнатку с отваливавшейся со стен штукатуркой. На старые нары была брошена рваная кошма, а на холщовый дастархан хозяева положили черствые куски хлеба, сахара даже не дали. Где уж тут рассчитывать на сытную еду, когда испитая заварка едва окрашивала кипяток в желтоватый цвет. Так и сидели они в сумрачной комнате, невесело похлебывая пустой чай. И молчали, не клеился разговор. Один только Хайбри утешал их скудный дастархан своей болтовней.

— И-и, значит, вы из иргизских степей приехали. Да, это далеко, совсем далеко,— он никак не мог понять, почему этим казахам не сидится у себя дома.

— Так вы с Иргиза приехали? — встрепелась жена Хайбри, разливавшая чай.

— Да, а что?

— Туда девушка одна наша уехала. Уехала — так и нет от нее вестей. Славная девушка. За казаха вышла и уехала. И-и, бедное дитя, теперь уж не видать ей радости.

— Как зовут вашу девушку? Чья она дочь? — поднял голову теперь уже и дядя Сеилхан.

— Минникамал ее зовут, она дочь моего дяди Сунгата. Родители ее умерли, сироткой росла, бедняжка. Да еще — ох, за казаха вышла, — запричитала, заохала жена Хайбри. — И вестей от нее никаких. Ох, что с ней? Кто ее муж?..

Тут дядя Сеилхан распрямился, ожил, заиграл бровями...

— Минникамал?.. Дочь Сунгата, вы сказали? А кем вам Сунгат доводится?

— Сунгат родной брат моей матери.

— Вот тебе и на!.. Стоит казаху куда-нибудь приехать, как обязательно наткнется на родственника... Да вы моя самая близкая родственница, свояченицей мне доводиться.

— Но как же это?

— Если речь идет о Минникамал, дочери Сунгата, так вот: она моя жена! Стало быть, и я вам не чужой, так или не так?

Хайбри с женой так и застыли, оторопело глядя на Сеилхана. Еще больше был поражен Наубетияр! Он-то знал, что у Сеилхана нет никакой другой жены, кроме Балсулу. Но сказать об этом — опозоришь и Сеилхана и себя, а умолчать, так неизвестно, чем все это кончится. Как тут быть, что делать? «Ох и измучился тогда я», — вспоминал потом Наубетияр.

Первой пришла в себя жена Хайбри.

— И-и, что же это я сижу-то! — вскинулась, всплеснула она руками. — Сейчас я, сейчас... — и побежала в другую комнату, но тут же вернулась, рассердившись на мужа, — и-и, так и будешь сидеть, отец? Зови же гостей в те комнаты... Да скорее беги в магазин. Да не забудь дать корму коню моего дорогого зятка.

И пошло, и поехало. Гостей поместили в лучшей комнате. Дом наполнился вкусными запахами — жарились беляши, варилось мясо. Была принесена и водка, и после очередной рюмки Сеилхан стал рассказывать о Минникамал с такими подробностями, словно говорил о своей Балсулу. А Хайбри с женой только удивленно разводили руками, восхищенно глядя на новоявленного зятя, то и дело восклицая: «И-а, алла!»

С тех пор дядя Сеилхан, приезжая в город, останавливался только у Хайбри, всегда возвращался от него довольный и говорил, посмеиваясь: «Умеет ли какой-нибудь другой народ так уважать своих зятьев, как эти татары».

Но сколько веревочке ни виться, а конец ей придет. Каждый раз, когда дядя Сеилхан приезжал в город, Хайбри с женой привязывались к нему: «Что же ты нашу Минникамал не привез? В следующий раз, смотри, не оставляй ее дома». И каждый раз Сеилхан находил какую-нибудь отговорку. Наконец, не надеясь больше на зятя, Хайбри с женой заявили: «Раз ты не хочешь ее привезти к нам, то мы поедem с тобой сами», — и стали собираться в путь.

Тут уж дядя Сеилхан схватился за голову, стал думать, искать выход, он сходил в магазин, купил бутылку водки, а жену Хайбри попросил накрыть дастархан. И за столом со вздохом сообщил им печальную весть.

— Ох, трудно мне говорить вам об этом, но... Мин-

никамал умерла. Восемь месяцев назад... И остался у меня от нее единственный сын.

Хайбри с женой слез рекой лить не стали, но заметно опечалились.

— И-и, бедняга,— вздыхал Хайбри.

— Минникамал, Минникамал, родная моя... Даже повидать тебя не удалось,— шмыгнула носом жена Хайбри.

— Мужчине трудно растить ребенка одному. По обычаю казахов я женился на своей овдовевшей женге. Женщина бесхитростная, простоватая, но зато к ребенку относится хорошо,— говорил между тем Сеилхан.

— И-и, как вам не повезло, Сеилхан. Могли бы и среди своих татарок найти хорошую женщину,— сорвалось с языка у жены Хайбри.

Пересказывая друг другу эту историю, люди у нас в ауле посмеивались. Но родство дяди Сеилхана с Хайбри на этом не оборвалось. Как-то он даже зимовал всей семьей в городе и жил у Хайбри. В том, что невозмутимая и молчаливая Балсулу не выдаст его, Сеилхан не сомневался. Но вот что удивительно: одиннадцатилетний сынишка Сеилхана, Шахим, и тот за целую зиму ни разу не проговорился.

Шахим пошел в дядю Сеилхана, но было в нем что-то и от Балсулу. Ростом пониже родителя своего будет, в деда удался, в отца тетушки Балсулу Жунуса, и характер несколько иной. Он не выкладывает все, что знает, как дядя Сеилхан, а затаивает, прячет в себе, и в глазах его часто вспыхивают лукавые искорки, словно говорят они: «Ага, я что-то знаю, да не скажу».

Знал и ничего не сказал Шахим и в доме Хайбри. Быстро уловил маленький хитрец, что быть племянником Хайбри хорошо, выгодно. Бездетные Хайбри с женой жалели своего «осиротевшего» племянника и не чаяли в нем души. Когда, бывало, Балсулу отшлепает его, они уводили мальчика к себе и утешали его сладостями, сокрушаясь, что «мачеха, она, конечно, не родная мать».

Мы с Касымбеком, уезжая после свадьбы, сидели на поезд в этом городе. Дядя Сеилхан с Шахимом приехали нас провожать. Грузовая машина, вытрясая из нас всю душу за долгую дорогу, остановилась наконец у небольшого приземистого домика с темно-красными воротами. Из калитки вышел худенький старичок тата-

рин. В островерхой шапочке, с остренькой седеющей бородкой, подвижный, как веретено, он радостно стал приглашать нас в дом и узнавать у Сеилхана о здоровье родных и близких, спросил и о нас: «А это что за люди?»

— Это моя племянница, недавно вышла замуж. А этот джигит — ее муж, стало быть, наш зять, — представил нас дядя Сеилхан.

Я стояла в сторонке, Шахим успел шепнуть мне на ухо:

— Это и есть «свояк» папы, татарин Хайбри.

Не сдержавшись, я фыркнула, отвернувшись и до боли прикусила нижнюю губу. Но все равно смех душил меня, я не могла смотреть, как дядя Сеилхан и Хайбри, один высокий, широкоплечий и важный, другой маленький, чистенький, беседовали, кивали головами, словно играли в веселую какую-то игру, где главное — это быть важным и не рассмеяться.

А жена Хайбри, рыхлая, светлолицая женщина, всплескивала руками «и-и, зятек приехал», потом, увидев Шахима, погладила его по голове «и-и, сыночек». И это было удивительно! Я же слышала, что Хайбри и жена его узнали-таки об обмане дяди Сеилхана. Но это их не очень-то разозлило, они по-прежнему радостно, родственно принимали в своем доме Сеилхана, и жена Хайбри уже по привычке называла его «зятек». И даже к Касымбеку за чаем она обратилась так же.

— Это очень хорошо, зятек, что ты командир и в форме. Но уж больно далеко увозишь ты нашу девочку. Разве нет войск поблизости? — с деловитой обеспокоенностью спрашивала она.

И забыв о чае, я задумалась: как странно все это, как сложны и неожиданны люди. Еще вчера казались мне дураками, простофилями Хайбри с женой, весь аул за животы хватался, хохотал, слушая рассказ о том, как находчивый дядя Сеилхан посадил в лужу хитрого и скупого татарина. И я заливалась вместе со всеми. А теперь гляжу... Вот с краешку сидит Хайбри-абзи. Кажется, он похож на нашего соседа Сибагата-абзи... Сибагат-абзи такой же худенький, мосластенький, только у одного бороденка, а у другого висячие усы. И пока-захски говорит он чисто. Каждый раз, завидя меня, он интересовался: «Как твоя учеба, как успехи, дочка? Надо учиться, надо». Вчера он был на нашей свадьбе и благословил нас. Мне стало жаль Хайбри, стало нехо-

рошо на душе, горько. За что дядя Сеилхан так зло подшутил над этим человеком? Только здесь, глядя на этих простых и каких-то радушно-беззащитных людей, я поняла, что, смеясь вместе с другими над ними, я унижала и оскорбляла их. И я рассердилась на дядю Сеилхана и сидела, хмуро уставившись перед собой, и Касымбек несколько раз обеспокоенно взглянул на меня.

— Кушайте, доченька, кушайте. Вы совсем ничего не ели,— обратилась ко мне жена Хайбри и вздохнула сочувственно.— Далеко она от нас, эта Белоруссия. Там, наверно, мусульман-то нет, а?

А я все не могла понять: неужели они не обиделись на дядю Сеилхана? Неужели они такие безропотные? Или... Или кроме узкого, кровного родства есть другое, более высокое, сближающее людей? И это высокое родство заставило в конце концов простить дяде Сеилхану его начавшийся с шутового розыгрыша и перешедший в жестокий обман поступок. А может, тут просто привычка миротворствовала: сблизилась, узнали, полюбили даже друг друга, ну а когда всплыло все наружу, ломать привычное рука не поднялась. А может быть, что-то другое было здесь, может быть...

Хайбри с женой заботливо проводили нас на поезд. «Теперь ты знаешь нас и наш дом, будешь возвращаться, заходи непременно»,— несколько раз говорила мне жена Хайбри.

...И вот я возвращаюсь, и если мне удастся доехать до нашей области, то первый порог, который переступлю, будет порогом единственного знакомого в этом городе Хайбри-абзи. И только потом уже родной аул, просторные родные степи...

8

Поезд, на который мы сели в такой страшной давке, сначала пошел довольно бойко, но, миновав две станции, заметно сбавил ход. И вскоре на два часа застрял на каком-то полустанке. Когда состав тронется, мы не знали и томились в вагонах, спрашивая друг у друга: «Когда поедем, не знаете?» И слушали самые противоречивые предположения, веря и не веря им.

— Пропускаем встречный эшелон. Военный. Фронту нужно подкрепление.

— Нет, станцию впереди разбомбило. Ремонтируют путь.

— Говорят, отбили проклятых. Теперь уже незачем спешить.

— Нет, немецкие танки прорвались в тыл.

От всего этого голова шла кругом. Мне казалось, что среди беженцев нет человека более одинокого, чем я. В нашем вагоне едут одни русские. Наверное, есть среди них украинки и белоруски, но я не умею их различать. Даже Маруш, которая не похожа обличьем на них, и то ближе к ним, чем я. Они в своем краю, среди своих людей. А я... То ли слишком замкнута, нелюдима, то ли робею, теряюсь перед чужими людьми. Вдобавок я слаба в русском. Тех небольших знаний, которые мы получили на уроках русского языка в школе, оказалось слишком мало даже для обычной женской болтовни. Женщины везде любят поговорить. Мужья с рассвета дотемна на службе, а женам некуда девать свободного времени. И, покончив со своими несложными домашними делами, усядутся они на длинных лавочках — в халатиках, тапках на босу ногу, фартуках и косынках — и давай чесать языки. Мне тоже некуда себя девать, я тоже усаживаюсь рядышком с ними и слушаю. Есть среди них такие говоруньи, так строчат, что я не успеваю понять даже трети их слов. Вдруг они начинают смеяться, а мне делается неловко, и я натужно улыбаюсь. Часто женщины начинают говорить все сразу, перебивая друг друга, и тогда одни только звуки — а-айай, бу-бу-бу — какой-то птичьей стаей вьются надо мной. Иногда они вспоминают обо мне и начинают меня тормозить.

— Наденька, ну что же ты все молчишь и молчишь. Расскажи что-нибудь интересное. Расскажи, как там у вас?

Пока я собираю русские слова, складываю их, мои собеседницы находят новую тему для своих разговоров.

Подожди они немножко, и у меня нашлось бы о чем рассказать, но им ждать некогда. У них жажда. Говорят, говорят — губы сохнут, оближут их и опять говорят. Смешно смотреть на это со стороны, но будь живее мой русский язык, и я бы, наверное, захлебывалась, рассказывая им о чем-то своем, интересном...

Мы все еще стоим. Поначалу женщины высывались из двери, гадая: «Тронется, не тронется?», но сойти на землю боялись. Не дай бог отстать! Не успеешь

и забраться в теплушку, под дверью которой высоко висит железное кривобокое стремя. Но чем дольше мы стояли, тем больше высывались люди. Наконец решились — по одному, по два начали прыгивать на землю. Вагон постепенно опустел.

Удивительное дело: сначала мы боялись отойти от вагона даже по надобности, искали кустики поблизости, но вскоре осмелели, беспечно разошлись кто куда, точно на прогулке. И когда наши женщины удалились от состава довольно далеко, мелькали даже среди деревьев в лесу, паровоз вдруг дал длинный свирепый гудок, зашипел, пуская клубы пара, и зло дернул вагоны. В страшной панике мы бросились к ним. К счастью, я не успела отойти далеко и первой залезла в вагон. Остальные бежали, крича и размахивая руками. Зашипели тормоза, поезд опять дернулся, перекатом пошел лязг и грохот сцепов, и женщины, вмиг потеряв голову, подняли страшный крик.

Еще вчера мы жили большой семьей, был у нас свой уклад, каждая занимала какое-то место, имела вес, которые незримо соответствовали служебной ступеньке мужа. Мы как бы переняли от них то, что на языке военных называется субординацией и, казалось нам, просто и крепко вошло в наши отношения. Как вдруг минутная, порохом полыхнувшая паника разнесла все это вдрызг. Сама «мать полка», Елизавета Сергеевна, металась с растрепанными волосами, визжала дикое что-то и чуть была не растоптана толпой обезумевших женщин.

Поезд шел, учащенно, густо пыхтел, все дальше и дальше увозя нас от злополучного полустанка. Отдыхавшись немного, торопясь поскорее забыть безобразные эти минуты, женщины принялись возиться в узлах, доставая или укладывая что-то, обнимали или ругали детей, потирали и слюнявили ушибленные в давке места. Елизавета Сергеевна тоже быстро пришла в себя и вскоре приняла обычный начальственный вид. Опять она напряглась, выпрямилась, опять воинственно торчали ее маленькие острые груди. А те, кто только что оттирал, отталкивал ее локтями, прорываясь к двери вагона, как ни в чем не бывало услужливо суетились возле нее, то и дело слышалось: Елизавета Сергеевна, как вы думаете... Елизавета Сергеевна, вы разрешите?.. Спросите у Елизаветы Сергеевны...

Елизавета Сергеевна, взявшись наводить порядок, заговорила с нами тоном обиженного ребенка. Сперва отчитала за толкотню, потом назначила дежурных по вагону. Распорядилась также во время остановок не выходить без разрешения дежурных, а выйдя, не отлучаться далеко. И еще что-то говорила, поругала кого-то, и странно, теперь было приятно ее слушать. Хорошо, когда есть руководитель, хорошо, когда чувствуешь заботу о себе и понимаешь, что ты не одиночка, а в общей массе, среди тесно сбитых людей, и на душе становилось как-то спокойнее, теплее.

Тесно было в вагоне, чувствовалась во всем кочевая, дорожная неустроенность и раздерганность, особенно вначале. Но вскоре все разобралось, пристроилось, и пошла своя теплушечная жизнь: соорудили из чемоданов столик, развесили пеленки, в одном месте шептались подружки, в другом — завязался интересный разговор, мы со Светой молчали и лишь изредка обменивались слабыми бледными улыбками.

Нашли себе развлечение и дети. Они вскарабкивались на узлы и тюки и, поскольку на полу не было свободного места, прыгивали на своих матерей. По-прежнему коноводил Вовка-командир.

— Я командил, я командил, слушай! — кричал сердито он.

Его тоненький голосок временами пропадал в железном гуле и стуке колес, но все равно его слышали. Из-за каждого узла, копошась и падая, поднимались дети. В их игру включались и матери.

— Саша, тебя командир зовет!

— Андрюша, выполняй приказ командира, — то и дело подсказывали они.

От нечего делать я потихоньку приглядываюсь к своим попутчицам, смотрю на их лица, переходя с одного на другое, и как-то незаметно для самой себя останавливаюсь на Ираиде Ивановне. Припоминаю, как жили мы в бывшей барской усадьбе, в наших флигелях, как ставили самовары на крыльце и раздували их мужниными хромовыми сапогами, когда щепки не хотели в подтопке разгораться... Лишь со Светой да вот еще с нею у меня установилось молчаливое взаимопонимание. Муж ее занимал скромную должность, и сама она была облика самого простенького, неприметного. Среднего роста, полненькая, русоволосая, с чуть вздернутым носи-

ком — типично русская внешность. Но чем-то она напоминала мне наших казахских женщин, казалась мне близкой, как будто бы была одной из моих ласковых женге. Движения ее неторопливы, плавны, слово она бережет; лишнего никогда не скажет. Ровно, с ласковым спокойствием относится она и к старому и малому. Доброта ее тихая и не бросается в глаза, но вот простой спокойный взгляд, обычное приветствие этой женщины всегда доходят до самого сердца и греют сильнее, чем горячее участие некоторых. Такие женщины, наверное, есть у любого народа, и делают их похожими не внешность, не цвет волос и глаз, а человеческая душевность, которую тотчас же чувствуешь и безошибочно узнаешь.

Устроившись почти в проходе, в ногах у всех, Ираида Ивановна сидела тесно окруженная сыновьями. Младшенького она то и дело подкармливала грудью, а остальные как бы приросли к ней, не принимали участия в игре Вовки-командира.

...Мы все чаще и чаще останавливались. За весь день миновали всего три станции. В сторону фронта прошло четыре военных эшелона. Потом и они перестали попадаться. На какой-то большой станции толпы беженцев пытались втиснуться в наш вагон. Мы оборонялись как могли: кричали, ругались, грозились вызвать охрану, которой, конечно же, не было. Один раз явились какие-то представители власти, но и они, оглушенные криками, отстали от нас.

Всю ночь до утра мы простояли на каком-то безымянном разъезде; не тронулись и к полудню. Ни из тыла, куда мы рвались и медленно-медленно ехали, ни с фронта вестей не было, и это ужасно тревожило. Откуда-то мы все-таки узнали, что Молотов выступал по радио. Значит, война началась. Не провокация это, не стычка — Германия напала на нас.

С тех пор как мы в панике снялись с насиженных мест, прошло больше суток. Продуктов мы взяли немного и почти все уже съели вчера к обеду. Взрослые потерпят, а дети как? На полустанке не было ни магазина, ни буфета, и только в полукилометре виднелось село. Пойти туда? Опасно! Вдруг поезд тронется! Но время шло, а он все стоял как прикованный, с утра уже десять раз можно было обернуться и чем-нибудь разжиться в деревеньке этой. Наконец, не вытерпев, три женщины на свой страх и риск решили сходить туда, среди них была

и Ираида Ивановна. Она взяла с собой младшенького и старшего сына, а Боре и Шурику велела сидеть в вагоне.

И тут, как будто по чьей-то злой воле, едва они вошли в село, паровоз дал гудок, зашипел тормозами и двинулся. Мы едва успели взобраться в вагон. Кого-то на ходу уже втащили за руки и, придя в себя немного, вспомнили об ушедших в село.

— Бабоньки, ой! Те, трое-то, остались! — испуганно закричала одна. — Ах, остались-сь!..

— Мама! Мама осталась! — заревел пятилетний Боря.

— Что же теперь делать-то? Что делать, а?!

— Сорвите стоп-кран! Немедленно остановите поезд!

— А где стоп-кран?

— Откуда в товарняке стоп-кран?

— Да что же это за безобразие такое? Хотя бы за полчаса предупреждали, мы этого так не оставим, мы жаловаться будем!

— Надо начальника станции призвать к ответу!

Женщины так раскричались, что заглушили стук колес. В вагоне поднялся ужасный переполох, а тут еще громкий плач сынишек Ираиды Ивановны резал по живому, разрывал сердце на части.

— Мамочка наша отстала! Ма-ма-амочка!

— Мама! Мамочка! А-а...

Боря и Шурик ревели в один голос. Света пробралась к ним и стала успокаивать их, прижимать к себе.

— Не плачьте, маленькие, не плачьте. Мама догонит нас на следующем поезде. Не пройдет и часа, как догонит.

— Товарищи, они же теперь не догонят нас! Что же мы с детьми делать будем? — оглядываясь по сторонам, проговорила Алевтина Павловна.

— О боже мой! — возмущенно затрясла вскинутыми руками Елизавета Сергеевна. — Надо было оставить детей на вокзале! Вот он, результат самоволия, — зло и торжествующе зазвенел ее голосок. — Сколько раз предупреждала: не уходите никуда, не уходите!

Теперь что ни говори, что ни кричи, как ни размахивай руками, а поезд все шибче катил, набирал скорость, и детей уже не ссадишь, опоздали!

Вдруг Муся-Строптивая, стоявшая у дверей, тоскливо закричала:

— Бабы, глядите — бегут они, бегут!

Мы бросились к дверям. Железная дорога за разъездом круто сворачивала к селу, и три наши женщины изо всех сил неслись наперерез поезду. Ираиду Ивановну я увидела сразу: она бежала тяжело, неуклюже, обеими руками прижимая к груди ребенка, семилетний Ваня namного опередил свою мать. Каких-то триста метров отделяло их теперь от эшелона. В вагоне кричали, визжали, махали руками.

Мы со Светой вцепились в Борю и Шурика, боясь, как бы они не выпрыгнули на ходу. Невыносимо было слышать их душераздирающие крики: «Мама, мама!» Я судорожно обхватила Шурика за плечи, но он с невероятной для малыша силой дважды вырывался из моих рук и бросался под ноги женщинам, столпившимся у перекладины в дверях, пытаясь пробиться наружу.

Крики и вопли женщин еще больше взвинчивали детей.

— Рая! Рая! Ну еще! Еще! — кричали из вагона, хотя и знали, что их не услышат. — Маша, быстрее, ну давай, давай!

— Не видишь, что ли! Останови же!

— Ослеп, проклятый! — ругали они машиниста паровоза.

От беспомощности, отчаяния, злости многие стучали ногами об пол, колотили кулаками по стене вагона, плакали, хватались за головы, кому-то стало плохо. Но поезд не остановился. Наоборот, он мчал все быстрее и быстрее. Теперь женщины, бежавшие из последних сил, начали отставать. Вскоре, то ли выдохшись, то ли совсем потеряв надежду догнать нас, две из них бессильно и сломленно опустились на землю. Только несчастная Ираида Ивановна продолжала бежать. Но и она стремительно отставала, и сколько могли мы видеть ее, она все бежала и бежала, пока совсем не скрылась из виду.

Поезд, не шелохнувшийся со вчерашнего дня, теперь летел, гнал на всех парах, но этому никто не радовался. И, как только Ираида Ивановна исчезла, канула в зеленом пространстве, в вагоне нависло гнетущее молчание. Не было сил смотреть в глаза друг другу, какая-то неумолимая вина легла на каждого из нас, ссутулила плечи. Даже дети Ираиды Ивановны притихли и подавленно молчали вместе со всеми. Может, поняли они, ка-

кая страшная беда свалилась на них, или устали от долгих слез — не знаю, но они съежились, понурые сидели, жалкие. Изредка содрогаясь и судорожно всхлипывая, они переглядывались и все теснее, крепче жались друг к другу.

Вскоре Елизавета Сергеевна, оправившись немного, взялась решать судьбу двух этих ребятишек.

— Я сомневаюсь, что Ираида Ивановна сможет нас догнать,— сказала она с какой-то бесцеремонной уверенностью.— Сами знаете, какая сейчас обстановка. Страна — на военном положении. Что мы должны? Мы должны позаботиться о судьбе малышей. Прошу, товарищи, у кого какие будут предложения?

Но никто не отозвался. Женщины молчали. И только когда одна из нас робко подала голос, пытаюсь высказать какие-то соображения, все, перебивая друг друга, заговорили разом.

— Оставим на следующей станции, там и дождутся свою мать.

— Ты что, в своем уме? Нет! Оставить несмышленишей одних! Да они же пропадут!

— Я же не на улице предлагаю их оставить. Мы поручим начальнику станции...

— Где уж начальнику станции в такой суматохе с детьми возиться. Сказала тоже...

— Довольно, хватит! — неожиданно оборвала Алевтина Павловна споры.— До Москвы они поедут с нами. А там посмотрим.

Все быстро утихло, соглашаясь с решением Алевтины Павловны и как-то по-новому поглядывая на нее. Так просто и твердо взяла она ответственность за осиротевших детей. Голос ее звучал по-новому, глаза смотрели с мрачноватым и неподдельным спокойствием.

— Ну, что ж, ладно.

— О чем говорить-то! Пусть, конечно, доедут...

— Не оставлять же ребятишек на произвол судьбы,— с облегчением заговорили теперь.

— Хорошо, очень хорошо! Теперь вот что,— дребезжащий фальцет Елизаветы Сергеевны был слышен по всему вагону,— в таком случае нужно детям назначить опекунов.

— Каких еще таких опекунов? Все будем за ними смотреть.



— Да, все позаботимся!

— Нет, товарищи женщины, так не пойдет. У семи нянек дитя без глазу. Нужно, чтобы кто-то персонально отвечал за них,— возразила Елизавета Сергеевна.— Могут случиться непредвиденные обстоятельства. У нас немало бездетных женщин. Света, Шурика возьмишь себе ты. А Лиде поручим Борю. Есть возражения?

Возражений как будто не было.

— Боренька, мальчик мой, иди к тете Лиде. Теперь ты будешь с тетей Лидой. Слушайся ее,— слащаво сказала Елизавета Сергеевна.

— Я не хочу. Не пойду. Не уйду от Шурика! — заревел Боря.

Его принялись уговаривать, но это не помогло, мальчик крепко вцепился в руку своего брата.

— Не пойду, я с Шуриком буду,— заливался он слезами.

— Да оставьте вы ребенка! Пусть будет с братом. Мы с Назирой за ними присмотрим,— не вытерпела Света, с неприязнью глядя на Елизавету Сергеевну.

Боря еще долго всхлипывал, потом он успокоился и заснул, приткнувшись к боку старшего брата.

И все-таки чужое горе не слишком долго омрачило нас. Повздыхав, поохав над бедой малышей, оставшихся без матери, женщины вскоре отвлеклись, занявшись своими делами. Может быть, даже нарочно отыскивали и выдумывали их — развязывали и снова увязывали узелки, причесывались, пришивали что-то, но и это длилось недолго, пошли бесконечные бабьи разговоры. И братья остались одни, и теперь их одиночество как бы выступило из той тени, которую набрасывала на них наша словесная участливость. Они сидели прямо передо мной. Боря привалился стриженной головенкой в пилотке к Шурику, покраснелся во сне, блестя корочкой высохших слез на щеке и шевеля, вздрагивая сырыми, остро слипшимися ресничками. А Шурик держался ровно, боясь шелохнуться и потревожить младшего брата. Слезы тоже не высохли в его глазах, изредка он пошмыгивал носиком. Вагон качнуло на какой-то стрелке, Боря заворочался во сне, и с головы его слетела пилотка. Шурик, не двигаясь, осторожно протянул руку к пилотке и, чтобы не разбудить брата, положил ее себе на колени.

И меня поразило до боли, до холодных мурашек то, как повзрослел, как много вырос из шести своих лет за какой-нибудь час этот мальчик, взявший на себя заботу о младшем брате. Встретятся ли они со своей матерью?

...Так же тесно прижавшись друг к другу, заснули и мы когда-то с моим братишкой Жумашем. Мне было семь лет, ему пять. Утром я проснулась первой. Мы лежали в юрте на кошме: чья-то заботливая рука положила нам под головы подушку и укрыла одеялом. Открыв глаза, я оглядела купол юрты и через открытое отверстие тундика увидела ярко-голубое небо, и в меня стала вливаться какая-то неосознанная, легкая радость. Я всегда радовалась кругляшку голубого неба, стеклившего отверстие в потолке. И теперь оно потихоньку наполняло меня легкостью во всем теле, странной какой-то пустотой. И вдруг...

И вдруг я догадалась, почувствовала, что значит эта пустота во мне: я осталась одна. Что-то страшное холодило мне сердце и болезненно начало тесниться в груди. «Мама... Мамы не стало... Мамочка...» Вернулся вчерашний день, и я заплакала. Не помню, как я оказалась на коленях бабушки Камки.

— Успокойся, моя маленькая. Тяжело, конечно... Мать ведь родная твоя. Хоть ты и говоришь: «Я бабушкина», родила-то тебя она,— говорила бабушка и большой ладонью поглаживала меня по голове.

У бабушки Камки и руки и голос ласковые. Они согревают меня, куда-то уводят мое горе, и снова хочется плакать, не стесняясь уже и не сдерживаясь. И горячо нарыдавшись, я почувствовала какое-то облегчение на сердце, словно освободилось оно от груза и забилося свободнее и ровнее. А Жумаш все еще спал и ничего не слышал.

— Он же маленький. Ничего не понимает. Вот подрастет и тогда все узнает,— сказала бабушка Камка,— как ни старайся заменить вам мать, а не заменишь, она — в сердце у вас. Как ни ласкай, а лучше родной матери не будешь, так-то вот, так...— Мне навсегда запомнились эти слова, но глубинный их смысл дошел до меня позже, когда я стала взрослее.

Наш состав все рос, удлинялся, тяжелел. Почти каждая станция цепляла что-нибудь свое. Раньше наш вагон болтался в хвосте, теперь за нами тянулось немало теплушек, платформ, каких-то темно-бурых цистерн. Стало еще теснее и у нас, как ни шумели наши командиры, к нам под село немало еще людей. Но ничего, разместились все-таки помаленьку.

Утомляли не столько теснота, грязь, спертый воздух вагона, сколько бесконечные остановки и долгие, выматывающие душу стоянки поезда. К тому же он никогда не задерживался на больших станциях, все время торчал на каких-то глухих разъездах.

На вторые сутки наш состав миновал всего несколько станций и три маленьких городка. Каждый вокзал был забит толпами беженцев, везде царил суматоха, сновали люди с узлами и чемоданами, тащили за руки вялых, обессиленных детей. Торопливо пробегали охрипшие железнодорожники. Они уже были не в состоянии отвечать бегущим за ними людям, а с каким-то отворачиванием отмахивались от них. Урчали и рыкали машины, подвозя грузы к открытым платформам и пульманам. Порой навстречу шли военные эшелоны. Спокойные лица солдат, зачехленные в брезент какие-то грузы вселяли в нас уверенность. И тогда на минуту просветлялось все вокруг и делалось легче.

На тихих разъездах и полустанках мы словно пробуждались от какого-то долгого кошмарного сна, глядя на коров и коз, пасущихся на зеленых лужайках, на женщин, вытягивающих журавлями воду из колодцев, — это был вчерашний наш день. Мы начинали понимать, что только он у нас еще есть. Только прошлое. Будущее убегало от нас, и мы, как Ираида Ивановна за поездом, гнались и гнались отчаянно за будущим этим — каждый пока что за своим.

...Детское горе забывчиво. Шурик и Боря вроде бы повеселели немного, находя себе какие-то занятия.

— Шурик, Шурик, давай в прятки поиграем, — стал упрашивать Боря.

Шурику тоже хотелось поиграть, он встал, огляделся и растерянно заморгал: в вагоне яблоку негде было упасть.

— Где тут играть? — вздохнул он.

— Ну и что? А я хочу в прятки,— захныкал Боря.

— Не видишь, что ли, повернуться негде,— внушительно, по-взрослому одернул его Шурик.

— А я хочу,— заупрямился Боря.

В это время с гулом и звоном застучал мимо поезд, обгонявший нас. Никто не обратил на него особого внимания, только одна из женщин, стоявшая в дверях, вдруг вскрикнула:

— Да ведь этот поезд за нами шел! Может быть, на нем Ираида Ивановна.

И услышав имя матери, мальчики, забыв об игре, закричали и бросились к двери. Мы со Светой кинулись за ними. Длинный состав катил мимо нас, пестро облепленный беженцами, их узлами, пожитками. Много людей ехало на открытых платформах, и ветер трепал косынки и пузырил платья. Поезд набирал уже скорость, готовясь вырваться из станционных стрелок, когда в дверях одного из вагонов мелькнула женщина с ребенком.

— Глядите! Вон — не Ираида Ивановна? — вырвалось у кого-то.

И тотчас, не видя еще ту, на кого показывали, заплакали и закричали дети:

— Мама! Мамочка-а!..

Но и этот вагон унесся, замер гул, какое-то время слышался частый перестук колес, а потом стал быстро и беззвучно удаляться хвост состава. И опять нашу теплушку придавила нехорошая тишина. Все удрученно молчали, слышались только всхлипывания Бори: «Мама-а... Где мама?»

— Не хнычь! Сиди тихо! — строго прикрикнул на него Шурик.

Боря испуганно вскинул на брата заплаканные глаза и умолк.

Вот уже больше суток, как два этих малыша были разлучены с матерью, и с каждым разом все меньше надежды на то, что встретятся они с нею. Положение становится все труднее, растет и напряженность на дороге. Слухи о том, что немцы прорвались через наш фронт, подтверждаются. Все ждали худшего, предчувствия томили. Подавленное, мрачное настроение взрослых передавалось и детям. Шурик и Боря забились в свой уголок, притихли. Шурик все хмурился и с какой-то взрослой на его детском лице угрюмостью смотрел перед собой.

— Шурик, Шурик, ты что? — заметив его состояние, позвала осторожно Света. — Что с тобой? Поди сюда, я тебе сказочку расскажу, а?

Очнувшись, Шурик равнодушно и в то же время как-то устало посмотрел на нее. Какая-то тяжелая мысль захватила все его существо, он точно сомлел от нее, вяло, нехотя отозвался:

— Сказку? Не хочется что-то, тетя Света.

Как ни заботились мы со Светой об этих детях, они к нам не очень-то привязывались, были послушны, и только. Однажды перед сном, охваченная горячей жалостью, я прижала Борю к себе, но он полежал немного рядом со мной и отвернулся к брату.

Дети одной семьи, одного дома в мирные счастливые свои времена не очень-то ценят друг друга. То дерутся, то ссорятся, а то водой не разольешь. Впрочем, не то чтобы не ценят, а просто так свежа всегда их радость, так естественна беспечность, столько много интересных дел у них, что подумать как следует о чем-нибудь некогда. Но горе сближает детей сильнее, чем взрослых, я на себе испытала это...

После смерти матери дом как-то враз опустел. И не только дом, казалось мне, но и весь аул. Я нигде не находила себе места, мне чего-то не хватало. Но чего именно — не знала. Позже, спустя несколько лет, я видела суку, потерявшую щенков. В ауле развелось слишком много собак, и люди утопили новорожденных щенят в реке. И собака то обнюхивала закуток, где раньше лежали щенята, то бежала к реке, то уходила в степь и выла там заунывно и долго, затем возвращалась к дому и повизгивала, снова обнюхивая все уголки. Вот такой же и я была после смерти матери, и моя душа выла неприкаянной и горькой собакой.

Бабушка Камка, никогда не баловавшая детей, подзывала меня к себе и усаживала рядом и долго сидела, целуя и прижимая меня к себе. Она понимала, как тяжело мне и одиноко.

Но даже участие ее не могло заполнить холодную и огромную пустоту во мне. Порой я о ней забывала, играла весело. На какое-то время меня охватывала странная гордость. Весь аул сделался удивительно ласков со мною. Умолкают, обрываются разговоры, меркнут улыбки, тень строгой печали ложится на лица, и женщины с особой нежностью говорят: «О, Назираш, идем к нам,

милая, идем». Голоса их теплы, они почему-то дрожат, и, угощая меня, балуя, многие почему-то плачут.

И ребенок, который раньше был таким, как все, теперь становится особенным, на него было обращено внимание целого аула. Он видит: горе его властно над всеми, даже дети прекращают шум и смех, когда появляется он. И гордится горем своим.

Но гордость эта, заслоняющая днем твое горе, исчезает куда-то вечером, когда, ложась спать, ты снова одинока и остро ощущаешь прежнюю пустоту. Самым близким и нужным мне человеком в те безысходные минуты оказывался мой младший брат Жумаш. Ему тоже, как Боре сейчас, было пять лет, и, как Боря, он ничего еще толком не понимал. Просто ему недоставало материнского тепла, и малыш потянулся ко мне.

Раньше мы частенько ссорились. Жумаш прятал мои игрушки, ломал куклы, наряженные в яркие платица, сшитые из лоскутков. Ревел и бежал жаловаться, когда я ему спуска не давала, ругала, а то и поколачивала. Но после смерти мамы мы с ним уже не ссорились. Жумаш перестал меня злить. Теперь мне самой хотелось отдать ему мои игрушки. У меня появилась какая-то потребность приносить Жумашу доставшиеся мне альчики, красивые палки, гибкие прутья. Жумаш тоже оставил свою прежнюю привычку неожиданно выхватывать у меня из рук игрушки и убегать. Теперь, если ему что-то хотелось взять, он молча, просительно поглядывал на меня.

Жумаш стая реже играть с мальчишками, не разлучался со мной и, вместо того чтобы метать альчики, начал возиться с моими куклами. Я тоже любила, чтобы он был рядом. И стоило одному куда-нибудь уйти, как другому становилось нехорошо, одиноко, несчастье как бы вдвое разрасталось и тяжелее наваливалось на детские плечи.

Наконец и мы остановились на какой-то большой станции. За нею далеко раскинулись дома, сады, виднелись многоэтажные здания, старинный собор, заводские трубы — большой был город, но название его я не смогла узнать: наш вагон, расположенный ближе к хвосту

поезда, остановился далеко от вокзала. Женщины, как всегда, спрашивали друг у друга:

— Какая это станция?

— Какой это город?

Для нас уже стало обычаем на любой станции жадно бросаться к двери. И на этот раз, забыв о своем положении, я тоже поспешила к ней и тотчас же об этом пожалела: меня затерли, затолкали так, что я ощутила резкую боль в животе. Стремясь выбраться из тесноты, стала пятиться, и тут мне сделалось дурно.

С трудом, в полуобмороке, вывалившись из толпы, я обессиленно присела в полутемном углу вагона, чувствуя, как все плывет, кружится перед глазами.

— Чего навалились, сошли бы на землю. Хоть на белый свет поглядеть! — крикнула одна из женщин.

— И то правда, чего стоим? Вылазьте, бабоньки! — загалдели вокруг.

Женщины неловко, охая, стали спрыгивать на землю. За ними сыпанули и дети. Надрывая горло, закричала Елизавета Сергеевна:

— Порядок, товарищи женщины, соблюдайте порядок!

— Какой еще порядок?

— Ей порядок, а тут дышать нечем, хоть помирай. В вагоне-то хоть топор вешай!

— Да по стойте вы... Мы же не знаем, сколько здесь простои́м,— жалобно как-то сказала Елизавета Сергеевна: — Кто будет отвечать, если вы отстанете, как Ираида Ивановна?

— Надо пойти узнать, когда тронемся.

— Верно! Пошли на станцию, там все узнаем.

И несколько женщин, не обращая внимания на Елизавету Сергеевну, зашагали в сторону вокзала, оставшиеся нерешительно поглядывали на бывшую «мать полка».

— Зачем же, зачем своевольничать? — ломала себе руки Елизавета Сергеевна, но голос поднять до приказного крика уже не решилась.

Сошли на землю и мы со Светой, держа за руки наших малышей, последней выбралась из вагона Алевтина Павловна со своим Вовкой-командиром.

— Тут не от войны, а от голода помереть можно,— с горечью сказала она.— Вот женщины, которые без детей, вы бы сходили в магазин да купили что-нибудь

съестного, а? Ведь в самом деле с голоду ноги протянем... Ну, кто пойдет?

Желающих оказалось немало.

— Тогда объявляю сбор денег, — открывая сумочку, сказала Алевтина Павловна.

Мы быстро сложились, кто сколько мог, Алевтина Павловна отобрала шестерых, вручила им общий наш капитал.

— С пустыми руками не возвращайтесь, — невесело пошутила она. — В вагон не пустим, так и знайте.

Она держалась бодро, но вчера еще налитое, холеное тело ее сегодня заметно спало. Лицо осунулось, под глазами легли темные круги. Молчал, уткнувшись в подол матери, и Вовка-командир. Он не шалил, не командовал, забыл о своих командирских играх.

И на этой станции мы увидели то, что встречалось нам уже не раз и к чему невольно стали привыкать. Куда ни глянь — всюду люди, спотыкающиеся о замасленные шпалы, прыгающие на подножки вагонов, торопливо бегущие неведомо куда. Они метались, стремясь уехать во что бы то ни стало. Убежать от того, что неумолимо преследовало нас. Война! Она где-то там, вдали. Здесь только волны, вздыбленные ею, обломки, осколки, людское крошево — разъединенные, потерянные, потерявшиеся... Сколько здесь одиночек, испытывающих свою удачу! Не раз страдальцы эти подходили и к нашему вагону, но силой забраться в него они не могли, а к мольбам мы уже успели привыкнуть. Штурмовали нас группами.

Вот и теперь человек пятнадцать гурьбой двигались вдоль состава, останавливались у каждого вагона, заглядывали туда, иногда долго стояли, переругиваясь с пассажирами. Наконец они приблизились к нам. Во главе шли двое мужчин. Судя по одежде, они занимали какое-то высокое служебное положение. Рядом с ними бочком, полуобернувшись, семенил некто в красной фуражке. У большинства в руках были чемоданы, узлы, за спинами мешки и котомки. Добрую половину этой толпы составляли женщины. Кое-кто напялил на себя зимние пальто и парился, обливаясь потом.

Мы засмотрелись на них, всем было любопытно, никто не думал, что нам они могут чем-то грозить. Первой почувяла опасность Елизавета Сергеевна.

— Девочки, — взвизгнула она, забыв от испуга обычное свое «товарищи жены командиров». — Девочки, скорее, скорей займите свои места! Идут, иду-ут!

Пока женщины, подсаживая друг друга, торопливо влезали в вагон, эта живописная компания приблизилась к нам. Человек в красной фуражке, проворно смешавшись с нами, заглянул в теплушку, закричал:

— Ого! Здесь место есть!

— Нельзя ли к вам присоединиться? — устало спросил человек с потным бледным лицом.

Но тут же поднялся протестующий крик.

— Самим тесно!

— Яблоку негде упасть!

— И все же, товарищи, давайте подумаем, — повысил голос мужчина. — Положение трудное. Потесниться придется...

Гвалт поднялся еще сильнее, злее и скандальнее зазвенели голоса.

— Станислав Янович, так мы ничего не добьемся. Разве их словами проймешь? Надо ворваться силой! — закричала красная фуражка и ринулась в двери.

Тут наши женщины сгрудились, закричали, в дверях вагона так и замелькали кулаки, растопыренные пальцы, молотившие и отпихивавшие красную фуражку, а те, кто остался на земле, вцепились в полы его кургузого пиджака и с победным воплем стащили вниз.

— Это особый вагон!

— Половина наших людей на вокзале! Сейчас вернется.

— Это специальный вагон, выделенный для семей командиров, — несло со всех сторон.

Но мы, кажется, рано стали радоваться. Среди наших противников выделялась огромная женщина — просто-волосая, коротко остриженная, с гребенкой на затылке, с мясистым носом и большой волосатой бородавкой на подбородке. Несмотря на зной, на ней было толстое зимнее пальто, большой мешок за плечами, а в руках она тащила чуть ли не сундук. Обливаясь потом, тяжело дыша, она молча смотрела, как мы вышибаем из вагона красную фуражку. Теперь и она двинулась всей своей массой на нас.

— «Специальный вагон»... «особый вагон»... видели? Что же вы за цацы такие, а?! — загудела басом она. Голос оказался под стать богатырской ее фигуре.

— Мы жены командиров! — пискнул кто-то робко из наших.

— Да ну? Жены командиров? — ухмыльнулась великанша. — Жены командиров... Ты только посмотри на них! А мы, выходит, бабы подзаборные?! Нет, вы только послушайте их! А ну, — повернулась она к своим, — лезьте сюда. Погляжу на этих командирш, — прогремела она и тараном двинулась в вагон.

Наши женщины растерялись, прямо-таки остолбенели. Хотела было что-то крикнуть стоявшая у двери Елизавета Сергеевна, но ее тонкий голосок осекся. Растерянно оглядываясь по сторонам, она вдруг заметила Мусю-Строптивную, которая молча смотрела на всю эту внезапную сцену.

— Муся, голубушка, ради бога... скажи ты ей, — взмолилась «мать полка».

И словно просьбы этой только ждала Муся. Тошная, она решительно встала на пути огромной бабы, которая уже почти закрыла собой двери вагона.

— Ты, стерва, кого на пушку берешь? Думаешь, нас испугает такая гора мяса и сала? Убери свои грязные лапы! Насмехаться над женами командиров? Я тебе покажу, как насмехаться! — разошлась Муся, и тонкий ее голосок пронзительно зазвенел в легком летнем воздухе.

Но бабищу это не смутило. С брезгливым удивлением она уставилась на воинственную Мусю:

— Брысь... Откуда еще эта гнида выскочила? Прочь от дверей, а то щас как шваркну!

— А ну попробуй, покажь силу, толстомясая! Да я тебе зенки выцарапаю!.. Ишь, потом обливается, ишь, разит от нее... Хорек! — вдруг заверещала Муся, и было это так неожиданно, что послышался смех.

Мы со Светой не успели влезть в вагон и стояли с нашими мальчишками в стороне. Обе женщины не на шутку сцепились, взясь и трепля друг друга в дверях и напоминая чем-то драку шавки с огромной дворнягой. Но маленькая Муся не уступала и даже начала теснить эту великаншу.

— Да посадите вы ее! Неужели не жалко оставлять немцам столько добра? — весело кричал кто-то из толпы.

Занятые этим скандалом, мы не сразу заметили, как на станции поднялась невероятная суета, люди с криками сталкивались, слепо разбегаясь куда попало — лишь бы подальше от вагонов, в поле, за станцию. С каким-то

кошмарным промедлением, точно опомнившись, заревели, разноголосо застонали гудки всех паровозов, и тут донеслись до нас крики: «Во-оздух! Во-оздух!».

— Самолеты! Немецкие самолеты! — отрывисто бросил кто-то на бегу.

Скандал тотчас же угас, женщины бросились прочь, слезливо и страшно сзывая детей. Великанша молча затрусилась за бегущими людьми. И только Муся-Строптивая, не обращая внимания на заполошные крики, продолжала честить свою противницу, но женщины, хлынувшие из вагона, столкнули ее на землю.

Я растерялась, оцепенела как-то вся, словно не понимала, чем все это может грозить, и смотрела на бегущих мимо меня до тех пор, пока Света не дернула за платье: «Чего стоишь? Беги!», и я, не выпуская ручонки Бори, кинулась за всеми.

Сколько времени вражеские самолеты бомбили станцию — десять минут или целую вечность, этого я сказать не могу. Казалось, что с неба стремительно снижается сама смерть и пощады от нее нет ничему живому на земле. Голова моя закружилась, глаза застлала какая-то тягостная мгла. Но удивительно, мгла то и дело разрывалась и в ясные мгновения эти я отчетливо видела не только окружающую меня обстановку, но и дальнюю панораму станции. Мы с Борей проползли под каким-то составом. Споткнувшись о рельс, я больно ушибла колено, но, преодолевая боль, догнала улепетывавшего без оглядки Борю. И едва успела схватить его за руку, как прямо на нас с жутким воем понесся самолет.

— Ложись! Ложись! — завопил кто-то рядом.

Я упала, и небо обрушилось. Помню, что, вжимаясь в дрожащую землю, не в силах была войти в нее и раствориться, превратиться в песчинку. Спустя какое-то время я открыла глаза и увидела Борю. Он лежал рядом. Лицо у него стало чумазым. Испуганно моргая, он таранился на меня. Вдруг люди вскочили и кинулись куда-то снова. Не задумываясь, куда они бегут и зачем, я побежала со всеми, стискивая ручонку Бори.

На какой-то миг я оглянулась назад и увидела над станцией раздувавшуюся, всасывающую в черное чрево свое чалму пыли и дыма, а снизу стремительно, жадно лизали ее красные языки пламени. Неожиданно я на-



ткнулась на Свету, она крепко держала за руку Шурика. Господи! Как я могла забыть о них!

— Ложись! Ложись! — раздалась опять тревожные голоса.

И опять небо начало рушиться на землю. Закрыв глаза, я услышала визг падавших на нас бомб. От этого визга зашевелились волосы на голове.

Я снова ощутила запах обнаженной земли, теперь он смешался с удушливой горечью чадного дыма и раскаленного, изуродованного железа... Но и еще чем-то сквозило, какой-то нежной кислинкой... пахло раздавленной травой. Открыв глаза, я увидела лесок на дальней кромке зеленого луга, над ним чистой синевой сиял небосклон. Потом я заметила на опушке леса небольшую деревеньку, разглядела крыши домов и даже трубы. Боже мой, над одной из них вился дымок! Жидковатый и мирный, он медленно поднимался вверх.

Я долго лежала в каком-то оцепенении. Наконец под правым боком моим что-то зашевелилось, я обернулась, увидела Борю и вспомнила, как мы с ним вжимались в землю, как выли и с грохотом рвались бомбы.

— Улетели. Теперь не вернутся, наверное, — сказал рядом мужской голос.

— Кто их знает, сволочей, могут и вернуться.

Люди один за другим стали подниматься на ноги. Боря вскочил раньше меня.

— Вставайте, тетя, — сказал он мне.

Носочки его маленьких ботинок были истерты, на коротенькие штанишки налипла грязь, появились пятна мазута, а на потемневшем, осунувшемся личике светлели высохшие струйки пота, шейка казалась совсем тонкой, слабой, и только глаза его смотрели на меня тревожно и строго.

— Вставайте же, тетя, — повторил он, и я поднялась. Больно ныла поясница.

Охнув, я посмотрела на небо. Синее, без единого облачка, оно было таким же чистым и невинным, как утром. И не верилось, что совсем еще недавно оно сеяло ужас и смерть. О пронесшейся над нами беде свидетельствовала только земля. Станцию укрыла темная волнистая пелена дыма, сквозь которую прорывалось багрово-красное пламя пожаров. Мы, оказывается, остались в стороне, весь свой смертельный груз самолеты обрушили на пристанционные строения.

— Шурик... Я к Шурику хочу. Где Шурик? — захныкал Боря. — Тетенька, пойдем Шурика искать!

Многие из выбежавших в поле людей помаленьку начали подниматься, отряхивать одежду и подбирать вещички, были и такие, что продолжали лежать неподвижно. Все смотрели на горевшую станцию, кое-кто отправился в ту сторону. Большинство же застыло на месте, не зная, что делать. Я стала озираться, высматривая Свету, но ее нигде не было, тогда я побежала в одну сторону, потом в другую, кружа по полю. Она исчезла бесследно. Холодок тревоги все усиливался, неприкаянно и горько было мне на этом поле, точно я, как и Боря, осиротела вдруг.

Народу было много, но ни одного знакомого лица. Долго, безнадежно, в каком-то отчаянии бегала я, не выпуская руки Бори, и встретила наконец с Мусей-Строптивной. Как я обрадовалась ей! Но и она, оказалось, никого из наших не видела.

И когда я совсем уже отчаялась, вдруг заметила светловолосую женщину с мальчонкой лет шести. Мы с Борей бросились к ней, не помня себя от радости. Но тут снова разнеслись тревожные крики:

— Воздух! Во-воздух!

Я глянула в ту сторону, откуда послышался гул моторов. Самолеты, низко летевшие над лесом, нависли над землей, словно шли на посадку именно в то место, где стояли мы с Борей. С помутившимся рассудком я потащила малыша туда, где видела женщину, напомнившую мне чем-то Свету, и тут вдруг зажужжали, зачмокали пули. Я даже не смогла понять, откуда они берутся, и казалось, что фонтанчики пыли над землей выбивает сильный град или первые капли ливня.

— Ложись! Ложись! — снова донеслось до моего слуха, и я невольно подчинилась этому приказу.

Вдруг Боря вскочил и побежал вперед с криком: «Шура, Шура!» Не знаю, как он вырвался из моих рук. И в ту же секунду над нами, будто телега по каменистой дороге, протарахтел самолет. За ним, поливая нас пулями, пронесся второй. Боря, сделав шагов всего пятнадцать — двадцать, с размаху упал. Споткнулся он, или... или в него попала пуля?! Опомнившись, я бросилась к нему.

Каким-то боковым зрением успела заметить, как самолеты развернулись и снова пошли на нас. Из-под

острых их рыл лихорадочно вырывались клубочки огня и дыма. Исступленно, с бесстрашием безумной секунду-другую смотрела я на самолеты, на бешеную пляску огня, на черную свастику. Потом бросилась к Боре и упала рядом с ним.

Уже подбегая, при виде расслабленной позы мальчика я ощутила слабость, и теперь, лежа с ним рядом, я осмотрела его, и сердце мое оборвалось. Рот у Бори был в крови. Лицо посерело. Показалось, что дрогнули его ресницы, но только показалось мне — глаза его были мертвы. Торопливо перевернув его, я увидела на земле дочерна спекшуюся кровь. Кажется, я закричала: «Света! Света!» Не помню. Вдруг откуда-то появился Шурик и с криком: «Боря! Боря!» — повалился на брата. За ним, тяжело дыша, подбежала и Света и обессиленно опустилась на корточки.

— Боря! Борь, вставай, ты что?.. Я пришел, вставай, Боренька! — шестилетний Шурик то хватал братишку за руки, то гладил его плечи.

В глазах его застыло испуганное недоумение, он не понимал, почему Боря молчит, почему неподвижен, и продолжал теревить тело братишки.

— Борь, тебе больно? Очень больно, да? Борь?..

Видно, что-то недоброе почувствовал, глазки его наполнились страхом. Шурик с такой мольбой и отчаянием смотрел то на меня, то на Свету, словно жизнь его братишки находилась в наших руках.

— Тетеньки, почему он молчит? В него пуля попала, да? — испуганно моргая, все вглядывался он в наши лица и, поняв что-то, плача уже, закричал:

— Его убили!.. Мама! Мама! Бореньку убили!.. Боря-а!

11

Так мы впервые лицом к лицу столкнулись с войной. Давно ждали мы этой встречи — страшась, с замиранием сердца, молясь и надеясь, что минует нас эта горькая чаша. Не миновала, и нам пришлось хлебнуть — кому смертным глотком, а кому только отведать, узнать ее нечеловеческий вкус. Все вокруг пропиталось сырым запахом крови, душной гари и пепла.

Слышались стоны, крики, плач и рыдания. Одни

оказывали помощь раненым, другие торопливо шли к станции, испуганно обходя тела убитых.

Я потеряла чувствительность, одеревенела вся. Кажется, жизнь моя до сегодняшнего дня, до приезда на эту станцию, оборвалась и отлетела в какое-то далекое и маленькое прошлое, а минуты бомбежки разрослись в другую, новую, жизнь, пустую и бессмысленную, у которой нет будущего, а есть только вот эта холодная пустота. Нет радости, нет страха, нет горя, любви, счастья, а есть январский холод на июньском зеленом поле, и мне тошно смотреть на этот обескровленный, серый мир, душа его не принимает.

Взгляд скользил по рыхлым кольцам воронок, горящим вагонам, трупам. И вдруг остановился на редком, серебристо-прозрачном дымке, по-прежнему медленно струившемся из трубы какого-то дома в деревушке, которую я так ясно увидела в самом начале налета вражеских самолетов. Оказывается, он жил, этот мирный дымок, струился. Кто-то топил печку, варил что-то на обед — будет накормлена семья...

Я потихоньку приходила в себя, возвращалась откуда-то.

Всех беспокоило, а не возвратятся ли вражеские самолеты? Но этого никто не знал. На станции все было разворочено, составы были разбиты, взрывами расшвыряло все, как детские игрушки, покорежило, изломало. Одни вагоны разнесло в щепы, другие валялись на боку. Местами на путях зияли воронки, рельсы были оборваны и согнуты, как обыкновенная проволока.

Уже на подходе к вокзалу от едкого дыма и гари першило в горле. Ярко и бездымно горели какие-то цистерны. А за ними поднималось в небо темно-красное, огромное пламя над большим и точно оскалившимся зданием. Неведомо откуда взявшиеся военные тушили пожар.

Мы со Светой долго бродили, пытаюсь разыскать наш вагон, но нам это не удавалось. Все они были одинаковы — одни из них только разбиты, другие горели.

— Может, у пожарных спросить? — предложила я. Света удивленно посмотрела на меня. Не только мы, но все вокруг мыкались, разыскивая свои вагоны. Увидела я и бабу, которая недавно ругалась с Мусей. Жива, значит. За спиной мешок, в руке деревянный чемодан, ничего не потеряно. Мне было приятно встретить даже ее,

знакомое все-таки лицо. Я толкнула локтем Свету, она тоже улыбнулась.

— Света! Света! — закричал кто-то, мы обернулись и увидели бежавшую к нам Елизавету Сергеевну, и ей я обрадовалась. Она стала еще меньше ростом, лицо осунулось, глаза смотрели на нас с мольбой и радостью.

— Милые... милые мои! Как хорошо, что я вас встретила. А где же остальные?

— Не знаем! Ищем вот, а никого нет.

— Да?.. Куда же они ушли? Вот что, идемте к теплушке. Они, наверное, там собрались.

Мы сказали, что и ее не смогли отыскать. Сама же Елизавета Сергеевна не только не знала, где вагон, но забыла даже, в какой стороне вокзал. После долгих поисков мы наткнулись на нескольких наших женщин, столпившихся у горевшего вагона. Среди них были Алевтина Павловна и Муся-Строптивая. Они шумели, о чем-то спорили. Голос Муси был слышен издалека.

— С места мне не сойти, если это не наш вагон, ну! Я его сразу узнала, это он, и все тут. Ей-богу, не вру!

— Откуда ты знаешь? — сомневалась Алевтина Павловна.— Одни товарняки, попробуй различи: все одинаковые.

Кофточка и зеленое платье Алевтины Павловны были измазаны глиной и травой, лицо покрылось пылью, копотью. Вовка-командир присел у ног матери. Бедный мальчуган совсем сдал.

Со всех сторон послышались возражения.

— Оставь, это не наш вагон.

— Наш состав был совсем на другом пути.

— Да, наверное, это другой.

В теплушке остались кое-какие вещи, одежонка, и мы очень хотели, чтобы этот горящий вагон оказался чужим. Но вышедшая из себя Муся клялась и божилась, убеждая нас в обратном. И пока мы все это выясняли, тушившие пожар военные дошли до нас и стали сбивать пламя струей воды из длинного шланга. Они проломили черную, изъеденную огнем стенку и потащили баграми горящие узлы и чемоданы. Это было наше добро, и мы с криками бросились к нему. Какой-то лейтенант, видно, командир тушивших пожар солдат, встав между огнем и женщинами, отогнал их подальше.

— Сгореть, что ли, хотите? Назад! — хрипло закричал он. И велел окатить из шлангов тлеющую грудь по-

житков. Женщины бросились к ним, перемазались сажей. Некоторые, обжегшись, ойкали, трясли пальцами и дули на них.

На путях и раньше была ужасная мазутная грязь, теперь, когда к тому прибавились пепел горящих вагонов и вода из шлангов, образовались огромные черные лужи, и в них оказались многие наши полуобгоревшие вещи. Каждый отыскивал свои узлы, переворачивал их, еще больше перемазывая остальные. Я отыскала мой деревянный чемодан, обгоревший с одного края. Узел с пальто и кое-каким домашним скарбом не нашелся, наверное, сгорел в одном из уголков вагона. Не у меня одной пропажа. Я слышу, как женщины умоляют солдата, орудовавшего длинным багром:

— Товарищ боец, пошарь-ка еще раз около стенки. Чемодана моего нет.

— Миленький, поищи еще разок в вагоне, поищи, ради бога, а?

Хорошо, что хоть мой чемодан уцелел. Там у меня было несколько платьев и сапоги. Это меня обрадовало. Стыдно же из такой дали возвращаться в аул налегке. Угол моего чемодана продолжал тлеть. Огонь еще не прожег доски. Я хотела открыть его, но куда-то запропастился ключ. Пробовала сорвать небольшой замочек — но где там! — разве выдернешь гвозди, которые забивал дядя Сеилхан. Чемодан уже начал загораться. Я стояла в растерянности, не зная, что делать. Но тут какой-то боец закричал у меня за спиной:

— Эй, я патушу?! Держи вода, вода палью,— и не успела я обернуться, как он направил струю из шланга на мой чемодан.

Мне показалось, что этот человек говорит по-русски с акцентом, похожим на мой, и голос его был таким родным. Когда я обернулась, чтобы поблагодарить, он тоже застыл удивленно.

— Вот те на! Вы не казашка, сестренка?

— Казашка, казашка. И вы казах? — спросила я, даже не сообразив, что он заговорил по-казахски.

— Казах, конечно. Как вы оказались в этих краях?

— Муж у меня командир. С ним и приехала. Кто мог знать, что случится такое. Старший лейтенант Касымбек Едильбаев... Может, встречали где?

Боец, видимо, не решался прямо сказать, что не встречал.

— Э-э, трудноато вам приходится, — как-то замялся он.

Был он высоким, длинноруким парнем со скуластым лицом, на котором выделялся нос с широкими ноздрями. Из-под широких бровей поблескивали пронзительные глазки — хваткий был, видать, парень. Но я так истосковалась по родным краям, да еще в такой попала переплет, что, встретив земляка своего, так обрадовалась, словно брат он мне был и за ним замаячили крыши родного аула. Но радость быстро угасла. Ясно было без слов — этот солдат ничем помочь мне не сможет. У нас с ним слишком разные дороги.

Парень тоже, видимо, истосковался по дому. Поливая из шланга, он все топтался неподалеку, поглядывая на меня и тревожно и радостно.

— Я вам сказал «сестренка», а вы того... оказались женгей. Но по годам вы мне все-таки сестренка, наверное. Как вас зовут? Меня — Букашев Абан. Господи, как жаль, что вы не смогли проскочить туда! — он махнул на восток.

— Что же теперь с нами будет?

— Этого я не знаю, — он передал шланг одному из своих товарищей и стал вытирать перепачканные в сажу огромные руки. — Ну, тяжело вам придется, тяжело. Дорога разрушена, мост тоже разбомбили начисто. — Было видно, что Абан искренне меня жалеет, он тоскливо задумался, нахмурил брови. — Господи, что же вам сказать-то? Погодите немного, я пойду с командиром посоветуюсь.

И он, тяжело бухая ботинками, разбрызгивая черные лужицы, побежал к концу состава. Пожар в нашем вагоне уже почти потушили. Обе обугленные стенки его зияли проломами, на крыше тоже не осталось целого места. Солдаты баграми вытащили из углов вагона остатки нашего добра — но оно все сгорело и рассыпалось на глазах. Пошли теперь охи и ахи, некоторые заламывали руки, плача о пропавших ценностях, забыв о том, что всего несколько минут назад могли погибнуть и сами.

Люди разобрали уцелевшее, на земле валялись несколько жестяных чайников и осколки битой посуды. Только один узел все еще лежал в грязи. Муся-Строптивая с сомнением пробормотала:

— Узел-то, кажись, Ираиды Ивановны. Да, вот полоски на одеяле, точно, ее это.

— Что же теперь с ним делать? Самой-то ее нет.

— Ну и что, если нет? Дети здесь. Шурик, Боря? Где они?

— Шурик здесь,— отозвалась Света.

— Тогда и вещи вы забирайте,— решительно сказала Муся.— Если матери нет, то вещи детям надо отдать, так или нет? Пригодятся для детишек — двое...— она недоговорила, стала оглядываться,— а где же Боря?

— Нет, в еаом деле, где он?

Женщины впопыхах не заметили, что Бори нет, теперь вопросительно смотрели то на Свету, то на меня. Мы молчали, не в силах сказать им о том, что случилось с Борей. И тут вдруг раздался тоненький голосок Шурика:

— А Борю убили. В него пуля попала.

— Как... убили? — отступила на шаг Алевтина Павловна и строго посмотрела на нас со Светой, точно мы были виноваты в его гибели.

— Где убили? — воскликнула и Муся-Строптивая.

— Как убили,— вдруг заплакала Света,— как убивают... Они с Назирой... с Надей... бежали,— она закрыла лицо локтем и закачала головой.

Нас больше ни о чем не спрашивали. Молча разобрав остатки вещей, мы стояли растерянные, не зная, что предпринять дальше. Начальница наша Елизавета Сергеевна так была разбита событиями этого дня, что только жалобно поглядывала на нас.

— Что же будем делать? Что дальше? — повторяла она беспомощно, слабенько.

— Вот что... Давайте вот что, пойдем давайте на вокзал, нужно найти хоть какое-то начальство и узнать, что к чему. Потом и будем решать,— сказала Алевтина Павловна, взяла сына за руку, забросила узел на спину и направилась в сторону вокзала.

Торопливо подобрав свои вещи, остальные поковыляли за нею. И тут откуда-то прибежал долговязый Абан. Я уже окончательно пришла в себя и теперь заметила, что его длинным тощим ногам совсем не идут обмотки. Галифе оттопыривалось в разные стороны, как прошлогодняя шерсть на ляжках голенастого верблюжонка, но он не обращал внимания на свой чудаковатый вид.

— Эй... эй... сестренка... женгей... — закричал он, не зная, как меня называть, тяжело, всей грудью, дыша. — Нашел, слава богу, вас. Поезда пока здесь ходить не будут. Мост восстановят не скоро. А главное — немцы уже близко. Ума не приложу, что бы вам посоветовать...

Абан почесал затылок, зажмурился в досаде и отчаянии.

— Что же нам делать? — спросила я.

— Командир наш считает — вам здесь нельзя задерживаться. Транспорта нет никакого. Надо уходить пешком. А там уже — как повезет. Как повезет, говорю.

— Хорошо, спасибо.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Они были у него черны, точно угли, менялись, как будто ходило в них все еще пламя пожаров, металась под бомбами станция.

— Ну, счастливого вам пути, женгей. Удачи вам. Если доберетесь благополучно, поклон родному краю... людям!

Абан резко повернулся, зашагал прочь, но вдруг оглянулся.

— Как, вы сказали, зовут вашего мужа? Қасымбек Едильбаев? Да?

Я кивнула ему.

12

Какой-то роящийся сумрак... Смутно проступают очертания комнаты, небольшого окна, шкафа, этажерки. Но все это неясно и зыбко. Қасымбек что-то пишет, склонившись над столом. Он не оборачивается ко мне, сутулится, и я все никак не могу его разглядеть. Зачем он уткнулся в бумаги в такой темноте? Ладно, пусть пишет. Мне лень отыскать пальто и укрыться им. А в комнате становится еще холоднее и темнее. И Қасымбека уже почему-то нет на прежнем месте. Там, где было окно, осталось туманное пятно...

Я очнулась и открыла глаза. Было и на самом деле темно, и только в ногах едва различимый просвет. Подо мной колючие сосновые ветки. Я сжалась в комочек, продрогшее тело затекло. Укрыться было нечем, холод мучил меня все сильнее, и я, надеясь согреться в движении, ощущая ломоту и боль в суставах, поползла к выходу и выглянула наружу.

Темный лес, показавшийся ночью таким дремучим и страшным, теперь посветлел и поредел. Я выбралась из шалаша. Предутренний холод ожег, крепко сдавил тело — зуб на зуб не попадал. Я стала бегать, прыгать, махать и хлестать себя руками. Мне удалось немного согреться, но зато ноги по лодыжку промочило росой, они стали мерзнуть, их точно в железные колодки взяло. Ждать, когда взойдет солнце, сил уже не было, и я рискнула разжечь костер. Сушняка валялось много, вскоре затеплился огонек, спокойный и чистый язычок пламени постоял, чуть-чуть колыхаясь и как бы пробуя на вкус ветки, потом быстрее и крепче стал лизать их. Повалил горьковатый дымок, хорошо стало, тепло.

С тех пор, как началась война, мне впервые пришлось ночевать одной в глухом лесу. Сколько выпало мне пережить, но сегодняшняя ночь была для меня по-особому как-то тяжела. До сих пор мы со Светой не разлучались, ночевали в небольших деревеньках, зная, что немцы не заглядывают в глухие места, идут торными большаками. Но дня три тому назад, блуждая по дорогам и тропам, мы неосторожно приблизились к деревне, стоявшей у шоссе, и вдруг увидели немецких солдат. Едва успели спрятаться за кусты и ползком добраться до леса. Дальше мы шли только глухоманью, совсем одичали, оборвались и так сильно проголодались, что Света решила пойти в какую-то деревеньку, надеясь раздобыть там хоть чего-нибудь съестного. Она должна была вернуться вчера вечером, но вот уже развиднелось, а ее все нет. Всю ночь я не смогла заснуть, чутко прислушиваясь к каждому шороху и треску, которыми наполнена была ночь в лесу.

Меня точила тревога: «Если бы все было хорошо, Света давно бы уже вернулась, неужели что-то случилось? Или, может быть, побоялась заблудиться в темноте и заночевала там? Под настоящей крышей да еще в теплой постели... Нет, не могла она так поступить, знает, что я жду, что одна в лесу. Господи, лишь бы жива она была!»

Порой закрадывалось в душу подозрение. Может быть, она бросила меня? От меня мало пользы. Кто я ей, чтобы не решиться меня покинуть? Ну, мужья наши работали вместе, а кроме этого? Какое-то время жили по соседству, считались подругами. Но как мы могли быть подругами, если у нас все разное — и воспитание,

и образование, и вся прошлая жизнь. Иногда я думала с полушутливой какой-то язвинкой, что нас уравнивало хоть немножко то, что Николай был в подчинении у Касымбека. Стало быть, я жена начальника. Но если серьезно, я никогда не ставила себя выше Светы и была благодарна за внимание и дружелюбие ко мне. Сейчас, когда с нами нет мужей, нет и прежней, казавшейся такой простой и ясной жизни.

Одно только поддерживает меня. Предки мои говорили: «Не сомневайся в человеке с добрым лицом». Лицо у Светы доброе, поэтому я сразу потянулась к ней. Одним словом, когда наши женщины начали разбредаться кто куда, мы пошли вдвоем. Вдвоем остались пытаться судьбу...

Когда разбомбило поезд, мы сначала держались вместе. Шумной толпой пошли мы к начальнику станции. Он сообщил, что всем уже было известно, и волна криков, отчаянных и бессильных, заглушила все вокруг... Мост разбит, дальше ехать не на чем... Один только совет имел для нас ценность: здесь оставаться нельзя — вражеские самолеты могут налететь снова. Истерзанный, наполовину сожженный вокзал все еще дымил, по всему перрону белели листки бумаги, какие-то бланки. На шпалах лежало несколько трупов. Я запрещала себе на них смотреть и смотрела, мертвея от ужаса, на распластанного, ничком лежавшего мужчину, у которого осколком снесло половину черепа... Кровь... серовато-розовый мозг, налипший на пряди светлых волос. Дурнота накатила мягко, снизу, ноги подкосились, в глазах все померкло... Очнулась я, поддерживаемая под локти Мусей-Строптивной и Светой.

— Ты на страсти эти не смотри. В твоем положении это опасно. Ты уж, голубушка, отворачивайся от таких ужасов, — бормотала отдышливо Мусей-Строптивная.

Острый ее локоток, точно жердевая подпорка, впивался мне в бок. Нет, не слова — в них я не в состоянии еще была вникнуть — а только знакомый голос ее, крепящий, набирающий свою прежнюю разгульную бесшабашность по мере того как я оживала, придавал мне силы, а с ними поднимался какой-то стыд за слабость свою. Я отстранила их и, пошатываясь, в обморочных сумерках еще, пошла.

— Тетеньки... Тетеньки... — услышала я голосок пла-

чущего Шурика.— Мы же Бо-бөреньку не по-похорони-ли-и. Могилку ему не вырыли-и-и.

— Не переживай, сыночек, не переживай,— попыталась успокоить его Муся-Строптивая.— Там есть наши бойцы. Они и похоронят. Обязательно похоронят, ты даже не думай.

Я оглянулась — мы заметно удалились от станции. Пламени не было видно, но дым все еще валил густо. Люди двигались на восток, проползло несколько машин, доверху груженных вещами с детьми, женщинами и мужчинами, сидевшими на узлах и что-то еще державшими в руках; порой проезжали мимо грохочущие телеги, но большая часть беженцев шла пешком, взвалив на себя свои узлы и чемоданы. Сразу было видно, что они не привыкли к долгому пути. Узлы их измучили, были кое-как увязаны, многие несли в руках ведра и даже чайники. Вот идет женщина с большим, одеяльным тюком на спине, бельевой корзиной в одной руке и сверкающим медным самоваром — в другой. Зачем все это? Все-таки привязчивы люди к вещам. Ташат, как самое дорогое, ташат, сами того не замечая, прежнюю свою жизнь.

Поначалу народ, отхлынув от вокзала, двинулся огромным табором, затем постепенно разбился на отдельные группы, и люди шли, не теряя друг друга из виду. А когда станция скрылась из виду, начали разбредаться кто куда. В Белоруссии много песчаных дорог. Песок набивался в туфли, мешал идти, растирая до крови ноги. К тому же у многих были туфли на высоких каблучках. Вскоре женщины разулись и пошли босиком. Идти по теплomu песку было бы приятно, если бы не колючки и корни сосен, то там, то тут взойкивали женщины и садились на землю вытаскивать занозу. Меня выручили сапоги.

Мы держались одного направления — на восток. С каждым километром людская вереница растягивалась. Не прошли и четырех километров, как вынуждены были остановиться — выбились из сил. Солнце стояло уже довольно высоко, но здесь такой жары, как в эту пору у нас в степи, не было. Мы сидели на обочине в тени берез. Многие уныло опустили глаза к земле, некоторые прилегли на траву. Молчали даже самые словоохотливые.

— Девочки, а где же наша начальница? — вдруг спросил кто-то.

Я узнала голос Маруш Аршаковны.

— Какая начальница?

— Да Елизавета Сергеевна, какая же еще. Она же председатель женского совета.

— А зачем она тебе?

— Как зачем? Пусть она нами и командует. Разве можно без руководства? — это уже голос Муси-Строптивной. — Пусть указывает, что делать, куда идти. Разве не она за нас отвечает?

— Но как же отвечать? Я не знаю... Транспорта нет... Что я могу сделать? — растерянно заморгала Елизавета Сергеевна.

Она нахохлилась, как курица под дождем, и недоуменно поглядывала на нас. Мне стало жаль ее. Но по-другому была настроена Муся-Строптивная.

— Надо найти транспорт, если его нет. Тоже мне — причину придумала. Раз ты начальница, так командуй. А то, «что я могу?».

— Вот тебя и поставим начальницей, — поморщилась Алевтина Павловна — Долго ли нового председателя избрать. Ты и попробуй найти транспорт.

— Боже упаси, — ужаснулась Муся-Строптивная. — Я не могу быть начальницей. Я подчиняться привыкла. А торговаться нам незачем. Так что давай, Елизавета Сергеевна, бросай переживания и бери власть в свои руки. Тебе не привыкать. Вот и командуй этими бабами. Разве не видишь, сплошная бестолочь. Чемоданы свои тащат, а? Будто к соседям идут! Или с вокзала на собственную квартиру торопятся. Или, может, думают, что навстречу им выбежит кавалер и расшаркается: «Ах, мадам, простите-извините, разрешите донести ваш чемоданчик».

— Что же нам, выбросить наши чемоданы?

— И выбросишь, если Елизавета Сергеевна прикажет. Мужика и то оставила на фронте, а тут уж чего проще, — все больше разгоралась Муся. — Свяжите в узлы самое необходимое, так, что ль, Елизавета Сергеевна?

— Так, Муся... Да-а... Мария Максимовна говорит правильно. Девочки... Товарищи женщины, чемоданы придется оставить.

Елизавета Сергеевна приободрилась, несколько пришла в себя, но голос ее пока что звучал негромко.

— И еще, Елизавета Сергеевна,— вошла во вкус Муся-Строптивая.— Молодые, у кого нет детей, вышагивают себе налегке, и горя им мало. Пусть помогают женщинам с малыми детьми, малышей когда-никогда понесут. Прикажите и это, Елизавета Сергеевна. Руки не отвалятся. Не такое время, чтобы мужиков походочкой завлекать.

— Верно сказано, все правильно.

— Конечно, надо помогать друг другу,— поддержали Мусю женщины с детьми.

— В таком деле приказывать?.. Нельзя просить кого-то нести своего ребенка,— бросила Алевтина Павловна.— Тут самому надо предложить, чтобы кто-то сам захотел помочь.

— Это почему не нужно приказа? — прищурилась со злой какой-то веселостью Муся-Строптивая, уперев руки в бока.— Как это сами захотят? А если не захотят? Одна будет идти с ребенком, соленым потом обливаться, а другая рядом шагать налегке и задом вилять? Не-ет, нужен порядок. Мы хоть и не военные, зато жены военных. Нам следует во всем придерживаться армейского порядка. Так, что ль, Елизавета Сергеевна?

— По-моему, предложение Муси... Э-э... Марии Максимовны очень правильное. Товарищи женщины, в такой тяжелой обстановке,— уверенно уже сказала Елизавета Сергеевна,— нам тоже... нам нужно... нужен армейский порядок.

Елизавета Сергеевна оживала на глазах, голос ее окреп, вспомнился привычный набор слов, и она обрела свой прежний начальственный вид. Женщины, повалившиеся кто-где от усталости, стали поднимать головы, одергивая платья, и прислушиваться к Елизавете Сергеевне.

— Итак, товарищи женщины,— уже уверенным тоном сказала она.— Каким будет наш дальнейший план? Давайте посоветуемся.

— Да о чем тут советоваться? Нужно скорее добраться до какой-нибудь большой станции и постараться сесть на поезд,— устало произнесла Алевтина Павловна.

— А если на той станции не будет поезда? Что тогда? — спросила Муся-Хохотушка, с улыбкой переводя взгляд с одного лица на другое.

— Пойдем на следующую станцию.

— Что же, так и будем все время идти пешком?

— А что же еще делать? Может, ты предложишь немцев дожидаться?

— Скажете тоже,— хохотнула Муся-Хохотушка.

— Ладно, довольно,— нахмурилась Алевтина Павловна.— Лучше давайте подумаем о дороге. Хорошо, если поезд будет. Но надо приглядеть какой-нибудь другой транспорт.

— Давайте найдем по дороге в один из колхозов и попросим у председателя телегу с лошастью,— предложила Маруш.

— Сколько мы проехали? Километров двести? Значит, мы еще находимся в Западной Белоруссии,— задумчиво проговорила Алевтина Павловна.— Так вот, здесь нет колхозов. Здесь только частники. Если на следующей станции не будет поезда, тогда что ж... надо покупать телегу с лошастью. У кого сколько осталось денег — все нужно собрать, до рубля. Если не хватит, тряпками рассчитаемся.

День ото дня все больше менялась Алевтина Павловна. И следа не осталось от ее небрежной и милой кокетливости и того ленивого и усмешливого превосходства, которое выказывала иногда по отношению к нам эта красивая женщина. Какое-то усталое, но твердое спокойствие стало проявляться в ее характере, все рассудительней делалась она. Ни в чем по-прежнему она не стремилась опередить Елизавету Сергеевну, по-прежнему как бы уступала ей дорогу, но что бы она теперь ни сказала, что бы ни предложила, все было дельно, полно здравого смысла, и все невольно тянулись к ней.

В первый день мы прошли совсем немного. Продвигаясь вдоль железной дороги, мы добрались до ближайшего разъезда, но там не было и не ожидалось поездов ни в ту, ни в другую сторону. Никто здесь не мог сказать нам ничего вразумительного. И поскольку все, не теряя времени, уходило дальше, зашагали и мы. Идти было нелегко. У пятерых были дети не старше трех-четырёх лет — им особенно приходилось трудно. Сама могла идти только семилетняя дочь Муси-Строптивной Люся, да еще Шурик, четырехлетний Вовка-командир уставал быстро, и Алевтина Павловна большей частью несла его на руках. Так же было и с другими ребятами — когда они уставали, их несли сначала матери, а потом другие, бездетные, женщины. Но меня, помня о моем положении, освободили от этой обязанности.

К вечеру, когда густые тени легли на дорогу, перемежаемые золотистыми полосами низкого солнечного света, мы остановились в небольшой деревеньке и разбрелись, просясь на ночлег, по разным дворам.

— Эй, бабы, не вздумайте только дрыхнуть до самого обеда,— крикнула Муся-Строптивая всем на прощанье.— А то завтра ищи вас по избам. Так, что ль, Елизавета Сергеевна?

— Верно говорите, Мария Максимовна,— поспешила поддержать ее та.

— Во сколько бы нам завтра собраться? — цепко глядя на Елизавету Сергеевну, спросила Муся-Строптивая.

— Ну... в общем, конечно, пораньше.

— Значит, как только первые петухи пропоют, соберетесь на этом же месте. Это приказ Елизаветы Сергеевны. Все поняли? А кто проспит, пусть пеняет на себя. Искать не будем. Так, что ль, Елизавета Сергеевна?

— Да-да... Да-да. Соберемся пораньше, товарищи. Только не опаздывайте. Э-э, Мария Максимовна, мы с вами переночуем вместе.

Елизавета Сергеевна не хотела отпускать ни на шаг от себя Мусю-Строптивную, которую раньше боялась как огня; теперь она, прежде чем что-то сделать или сказать, глазами выпрашивала не то ее одобрения, не то разрешения.

Мы со Светой и Шуриком остановились у высокого дома, крытого не соломой, как другие, а богато — тёсом. Заметив, что мы нерешительно топчемся у калитки, со двора вышла бледнолицая, худая тетка. Наверное, хлопотала по хозяйству — на ней был передник, рукава кофты были закатаны. Она подозрительно глянула на нас глубоко посаженными глазками. Было и без нашего рассказа видно, кто мы такие и каково нам, еле стоящим на ногах, но плоское, тронутое морщинами, лицо женщины не смягчилось.

— Ладно, переночуйте седни,— неприязненно буркнула она.

Мы вошли во двор и остановились, не зная куда пройти. Рыжий мальчишка лет семи, увидев нас, застыл с разинутым ртом. Сначала он диковато оглядел меня, затем перевел взгляд на Шурика, который интересовал

его больше, чем мы со Светой, но не решался к нему подойти. Хозяйка, впустив нас во двор, словно забыла о нас, пошла доить корову. Мы потоптались немного в нерешительности, затем, освободившись от поклажи, присели на лавочку у стены.

Солнце уже село, но в этих краях сумерки светлы и долги и темнеет не скоро. Не успела хозяйка подоить одну корову, как подъехал и хозяин с большим возом сена. Он оказался крепким рослым мужиком с пышными усами. Парень лет двенадцати правил лошадью; лошадь была крупная, на ее широкой спине улеглись бы два человека, таких лошадей называют «битюгами». Хозяин распахнул ворота и направил воз в дальний угол двора. Видно, беженцы были ему не в новинку. Он даже не взглянул в нашу сторону.

Молча и неприкаянно мы сидели на лавочке. Усталость навалилась великая, хорошо бы сразу лечь и уснуть, но не будешь же распорядиться в чужом доме. Немного, наверное, найдется здесь людей, которые за всю свою жизнь испытали бы столько ужасов, сколько мы пережили за один только сегодняшний день. Не знаю, как вынесло мое сердце плач и крики Шурика возле убитого, такого маленького, даже в смерти сиротливого и беззащитного братишки: «Боря! Боренька! Мама! Мамочка!» Света оказалась сильнее меня. Она схватила Шурика, рвавшегося к брату, и унесла его подальше от страшного места.

Сейчас Шурик вроде бы дремлет. Бледно и спокойно изможденное личико его, но вдруг он, не открывая глаз, тоненько и покорно сказал:

— Тетеньки, мы ведь Бореньку не похоронили.

По улице, поднимая пыль, возвращаются с выгона коровы. Слышится их мычание, крики женщин и детей. А наша хозяйка уже начала доить вторую корову, муж ее, каждый раз вздымая на вилы почти целую копну, уже наполовину разгрузил воз.

Господи, точь-в-точь как в нашем далеком ауле. И война, и наши беды, и вражеские самолеты, перевернувшие станцию вверх дном, и смерть Бори никак не совмещались в моем сознании с этой размеренной жизнью. Она показалась нам чужой и какой-то потусторонней, ничем не связанной с нами.

Хозяйка, подоив корову, подпустила к ней теленка, а сама перелила молоко в большой кувшин и отнесла

его в погреб. Потом разожгла в плите огонь. То входя, то выходя из дома, она даже взглядом ни разу нас не окинула. Хозяин тоже кончил выгружать сено и распряг лошадей.

— Батяка, ноги лошади спутать? — спросил старший сын.

— Да нет, беженцев зараз богато, увести могут. Привяжи у дворе да сенца подкинь трошки, — ответил отец.

Поднимаясь на крыльцо, он едва заметно кивнул нам. Мы не знали — то ли пришлось не по душе хозяевам, то ли они по природе своей были людьми скупыми на радушие, но и то и другое было нам одинаково тягостно.

Только когда уже совсем стемнело, нас позвали в дом. Молча указали место за столом, и при свете керосиновой лампы хозяйка положила перед нами по куску хлеба и налила постных щей. Перед хозяином она тоже поставила глиняную миску. Похлебав немного, он взглянул на нас внимательнее, еще похлебал, вытер усы и спросил:

— Так откуда же путь держите?

Мы рассказали о себе. Узнав историю Шурика, хозяин жалостливо погладил его по голове.

— Так, так. Тяжеленько хлопчику. Мы отсюда видели, как бомбили станцию.

— Батя, и я видел. Самолеты видел, — вмешался в разговор младший сынишка. — Ой, как было интересно. Ка-ак грохнет...

Отец бросил на него сердитый взгляд, и тот мгновенно умолк.

У хозяина был длинный нос, выпуклые надбровья. К щекам, наверное, неделю не прикасалось лезвие бритвы, но рыжеватая, золотящаяся щетина не очень-то бросалась в глаза. В его огромных ручищах грубая, деревянная ложка казалась чайной ложечкой.

— Да, жалко хлопчика маленького, — глядя в стол, покачал головой хозяин. — Отец... батяка твой во всем виноват. Нашо було сюда семью привозить, га?

— Откуда же ему было знать, что будет война, — тихо сказала Света.

— А почему не знал? Должон был все знать, раз офицер.

— Мой папа не офицер, а командир, — недовольно поправил его Шурик. — В Красной Армии не бывает офи-

церов,— пояснил он затем, взглянув на хмурое лицо хозяина.

Слово «офицер» неприятно царапнуло слух и нам.

— А, вон оно как! А мы этого еще не успели уяснить,— усмехнулся в усы хозяин.— Теперь, гляди, так и не узнаем большевицких порядков. Говорят, ваши войска бегут, аж пыль идет.

Он поднял глаза и посмотрел теперь откровенно — в желтых, прозрачных зрачках его гасла и вспыхивала ядовитая какая-то насмешка. Он с наслаждением смотрел на нас — двух обтрепавшихся бабенок, почти нищенок, и худенького мальчика.

— Слава господу нашему,— истово осеняя себя крестом, сказала его жена.— Шо нажили сами, то нам самим и останется. Смилоствивился господь, не дал дожить до колхозов... А те, шо с той стороны прийшли, уже и маетки укладывают...

Мы со Светой переглянулись... В груди похолодело. Нежеланному гостю приходится следить за каждым движением бровей хозяина. Как ни был он мрачен, как ни супил брови, я почувствовала в нем подспудную какую-то радость, она сквозила во всем: в том, как он работал, как подгрел, подбил сено, как ходил по двору, как он пустые эти щи хлебал. Он словно чего-то ждал, какие-то радостные перемены ему виделись. Теперь мы начали понимать — какие.

— А кто это... с той стороны? — спросила Света.

— А советские. Богато их тут понаехало. И Советы, и партячейка якась. Прийшли и давай гуртовать босяков та голодранцев, булгачить их,— ответила хозяйка.— Все! Тикают тоже, как и вы,— и партийцы, и Советы, и бог их знает кто.

Мы со Светой подавленно молчали. Что возразить, что вообще можно было сказать этим людям? Было совершенно очевидно, говорили они не в раздражении, не в обиде, не в ожидании беды, когда душа в смятении — нет! Было высказано заветное, высказано было расчетливо: дождались своего часа, не нужно теперь лукавить и притворяться.

— Не седни-завтра явятся сюда наши спасители. Так что вы уж, гости дорогие, уходите пораньше. А то зацапают они вас, тогда и у нас могут быть неприятности...

— Лягайте, лягайте, а утречком чуть свет и того... — поддержала его жена. — Немцы вас не помилуют.

Шурик, не все понявший в нашем разговоре, переводил удивленный взгляд с хозяина на хозяйку.

— А вас они что, любят? — спросил он вдруг.

— Кто это «они»?

— Да немцы. Фашисты. Вы за них, что ли? Вы разве не за наших? — Шурик, удивляясь еще сильнее, взглянул на хозяев, затем на своего рыжего сверстника.

— Мы-то? Мы... — не находя, что сказать, начал было рыжий мальчонка, но умолк, заметив, как нахмурился отец.

— Хватит, не вашего ума это дело, — одернул хозяин обоих мальчишек. Затем велел жене: — Постели им в чулане.

Нам бросили сена, поверх него рядом, рядом же дали и накрыться. Шурик лег между нами и уже посапывает, но Света, кажется, не спит, мы обе молчим, и я чувствую — ее томят те же мысли, что и меня, поднимающие какое-то горькое беспокойство. Наверное, потому и не можем, не хотим говорить.

Да, разразилась война. Мужчины, отправив нас в тыл, взяли оружие и пошли воевать. Для меня — да и не только для меня — мир раскололся надвое: с той стороны вторгался жестокий и беспощадный враг, с этой стороны — мы...

Перед моими глазами встал дебелый мужик с длинным острым носом, глубоко спрятанными глазками. Он не в силах скрыть неожиданно привалившей радости, с нетерпением ждет как освободителей тех, кто идет с той стороны жечь его родную землю, а врагами своими считает «советских». Когда раскулачивали и выселяли баев и кулаков, я была еще девчонкой. К тому же в нашем ауле не было баев, и мне не довелось увидеть, как их выселяют. В школе мы изучали классовую борьбу, отвечали на уроках, на экзаменах говорили о ней. Но все это было так далеко от обычной жизни, от знакомых, привычных людей, что воспринималось как теорема, которую нужно заучить.

И вот теперь история как бы ожила, задышала тяжело и удушливо прямо в лицо — вот она, ненависть, вот она, глухая ярость, сжигающая в человеке человеческое, — и пропади ты пропадом родина, погибайте женщины, умирайте дети, драпай, войско народное...

Снова передо мной возник хозяин дома. Он сидит ссутулившись за столом, словно стараясь уменьшить свое большое жилистое тело; я видела бойцов, которые сжимаются в окопах, когда стреляют, исподлобья, холодно, прицельно глядя в прорезь винтовки. Куда метится хозяин этого крепкого двора? Взгляд у него беспощадный. Чем сильнее я смыкаю веки, тем явственнее вижу его. И затаив дыхание, прислушиваюсь к каждому шороху, доносящемуся из комнат. Света тоже, видимо, томится, не слышно сонного ее дыхания, только Шурик дышит спокойно и ровно, но вдруг он поворачивается ко мне и спрашивает шепотом:

— Разве они не за нас?

14

Костер горел хорошо, бездымно почти, над ним жидко и прозрачно струился горячий воздух, дрова пощелкивали, постреливали угольками, лопотало что-то небольшое пламя, и было приятно сидеть, ни о чем не думать, а слушать это тугое лопотание огня и подбрасывать сухие сучья. Небо посветлело. Только под сводом ветвей, за стволами, в кустарниковой, лиственной чаще собралась и все еще держалась ночная темень. Волны тепла, идущие от костра, разморили меня, потянуло на сон, да так сильно, что я встала и прошлась немного там, где не было травы — под старой могучей сосной. Я долго всматривалась в ту сторону, куда ушла Света, каждый куст обшарила взглядом — никого... Боже мой, если даже и заночевала она, то могла бы встать пораньше и уже вернуться? А может, мне самой пойти?! Она ушла вот в этом, северном направлении. Всего шагов двести, и окажешься на опушке. Потом еще дальше... До деревни не больше двух-трех километров. Пробраться туда можно напрямик по оврагу или в обход, лесом.

Все лесом, лесом...

На другой день, после первой нашей ночевки, мы добрались до большой станции. Издали все разглядев, мы заторопились, словно боялись, что вот-вот раздастся гудок, и мы отстанем от поезда. У кого побольше было сил, те ушли далеко вперед, но многие еле плелись уже. Муся-Строптивая неумоимо носилась вдоль сильно рас-

тянувшейся цепочки, то подгоняя задних, то задерживая передних.

Станция была целехонькой, как в мирное время. Кто-то закричал: вон составы, смотрите, не один, а два — оба исправны. И мы, несмотря на всю нашу усталость, чуть ли не бегом бросились туда, но вспыхнувшая было надежда тут же угасла, словно ее залили водой: впереди был разрушен еще один мост.

Передохнув с полчаса, побрели дальше. На другое утро мы поднялись с большим трудом, ощущая болезненную ломоту во всем теле. Но деваться некуда, нужно было шагать: мерять версты отяжелевшими, разбитыми ногами.

Сначала мне казалось, что я среди спутников своих самая слабая, и я держалась только мыслью: «Отстану — люди будут беспокоиться». Но вскоре обнаружилось, что все они не в лучшем состоянии, чем я. Даже самая рослая и крепко сбитая Муся-Хохотушка и та еле передвигала ноги. Об Алевтине Павловне нечего и говорить, румяное лицо ее потемнело, глаза ввалились, мягкие нежные губы выцвели, потрескались. Еле бредет и Елизавета Сергеевна, она жалобно поглядывает по сторонам, словно просит у кого-то помощи. Вижу я, как нелегко даже самой выносливой — Мусе-Строптивной, поубавилось в ней грубоватого и бесшабашного задора. Тонкие и подвижные ее губы, которые она так часто и непокорно выпячивает, мелко трясая при этом головой, словно поддразнивает кого-то, теперь крепко сжаты и как бы прилипли к зубам. Какая же сила заставляет нас идти? Оказывается, мы сами. То, что мы вместе. Поодиночке мы не смогли бы идти так упорно, до темноты в глазах, чаще останавливались и дольше отдыхали.

Покупка телеги оказалась не таким уж простым делом. Крестьяне относились к нам с недоверием, хитрили чего-то, мялись. Может, потому, что бабы одни с нами торговались? К тому же и к деньгам нашим относились они осторожно. Мы пробовали пустить в ход все свои вещи, но их тоже не хватило для покупки телеги.

Выход опять нашла Алевтина Павловна. Она вынула из ушей золотые сережки, сняла с пальца золотое кольцо, затем, развязав узел, вынула синее шелковое платье. Женщины молча смотрели на нее. Алевтина Павловна аккуратно сложила платье и поверху положила сережки и кольцо, и взглянула на нас сухо горящими глазами.

— Это все, что у меня есть,— сказала она.— Если у нас не будет хотя бы клячи и телеги, мы никуда не доберемся. Решайте сами.

Мы растерянно молчали. У меня был золотой перстень, который в день замужества надела на мой палец бабушка Камка. Я видела этот перстень на руке матери, когда она была жива, и берегла его как память — память о матери, память о бабушке, заменившей мне мать. Но как ни дорог он мне был, сняла его и положила рядом с кольцом Алевтины Павловны. Взглянув на меня, она ничего не сказала. Но это был взгляд, который стоил многого...

Вслед за нами и другие женщины стали снимать кольца и серьги. Никто из них не купался в роскоши, многие, выйдя замуж за командиров, только-только начали что-то приобретать, потому и больно, и трудно было каждой расставаться с единственным своим драгоценным украшением. Последней сняла с руки серебряный браслет, предмет зависти всех наших женщин, Муся-Хохотушка. Дрожащими руками положила его в общий котел, быстро отвернулась, зашмыгала носом и, не выдержав, разрыдалась.

Теперь нужно было не продешевить, поторговаться с умом. Я кое-что смыслила в лошадях, а Муся-Строптивая оказалась настоящей крестьянкой: она даже в зубы лошади заглядывала, проверяла хомут, подергала, пощупала всю сбрую, телегу, заставила прежнего владельца дать дегтя для смазки колес.

— Ты и так с нас втридорога содрал за свою дохлую клячу и негодную телегу. Думаешь, легко было несчастным гражданочкам сорвать с себя украшения? Тебе что, жалко вонючую сыромять и грязного дегтя? Давай быстро! Не жмись,— насела она на мужика.

Нам сразу стало легче с телегой, точно погрузили мы на нее не только все наши узлы, детишек, самых уставших женщин посадили, но и часть своего горя положили на нее. Меня жалели и чаще других отправляли на подводу. Теперь мы продвигались гораздо быстрее, одолевая за день до двадцати километров.

За лошадью, от которой теперь во многом зависела наша судьба, мы ухаживали, как за малым дитем. Конягу окрестили Васькой. Едва он пристанет, как тут же ему несут клоки травы, угощают его, гладят и приговаривают что-то умилительно-глупенькое при этом:

— На, Васенька, поешь, миленький.

— Ой ты хороший мой. Какой ты красивый,— обхаживают Ваську женщины. И всегда это бесит Мусю-Строптивую.

— Оставьте в покое животное! Ну, чего вы перед ним хвостами вертите? Дуры ненормальные...

— Ой, господи, скажет тоже. Кто ворит-то? — хихикает Муся-Хохотушка.

По распоряжению Муси-Строптивной мы по очереди пасли нашу конягу по ночам. У председателя одного из колхозов нам удалось выпросить мешок овса. Женщины кормили Ваську прямо с ладоней. А Муся-Хохотушка насыпала овес в свой платок, и Васька сжевал его заодно с зерном.

То были самые лучшие дни нашего кочевого пути. Шли мы довольно быстро, бодро, шутили, а порой и перебранивались беззлобно и думали только о том, чтобы добраться до какого-нибудь города и сесть на поезд. Да и немец, наверное, недолго будет наступать, близко уже время, когда красноармейцы остановят его и погонят назад. Мы втянулись в трудности дороги, уставали гораздо меньше, чем прежде.

Да... Те дни были самыми лучшими за время нашего «путешествия»...

Если не ошибаюсь, случилось это на третий день после приобретения подводы.

Мы переночевали в небольшом хуторе в лесу. Легли рано, хорошо отдохнули и на рассвете тронулись дальше. Выходило солнце. Еще не успевшая высохнуть роса посверкивала тяжелым сизоватым жемчугом. Шагалось в то утро легко, поскрипывала телега, глухо ступал Васька по песчаной дороге.

— Слушайте, а кормили мы сегодня Васю овсом? — спросила Маруш. И спросила неспроста, с подвохом — брови у нее играли.

— Нет, не кормили. Его же обычно кормит Муся-Хохотушка,— подхватила лукаво Валя.

— Товарищи, давайте будем обходиться безо всяких прозвищ,— начальственно сказала Елизавета Сергеевна.— Называйте просто Муся или же Мария.

— Ах, Мария Петровна,— воскликнула Наташа, которая сидела в телеге и кормила грудью ребенка.— Я остановлю телегу, ты не хочешь дать Вале овса?

— А чем она его даст? Платок-то скормила,— улыбнулась Маруш.

— Но подол-то у нее цел, пусть в подоле даст. Остановить, что ли? — не унималась Наташа.

Все засмеялись, а Муся-Хохотушка недоуменно стала оглядываться по сторонам.

— Эй, бабы, вы на ходу много не смейтесь, а то выдохнетесь быстро,— весело прикрикнула Маруш.

В первые два дня, когда мы быстро уставали, одна только Маруш Аршаковна никаких признаков слабости не обнаруживала. Она не менялась, все, казалось, ей нипочем. Когда мы валились с ног от усталости, она выглядела свежей — все та же «восточная Мадонна».

— Ну, ты одна среди нас такая... выносливая,— сказала Алевтина Павловна, сулыбкой глядя на Маруш,— вон ты какая — ни грамма лишнего веса. Но ты не очень-то гордись. Мы тоже подтянулись, весь жирок растрясли.

— Да, куда что девалось.

— Встретили бы нас теперь наши мужья — и обнять нечего — одни кости.

— Мужчина на кости не позарится, теперь они на нас и смотреть не станут.

Так, перешучиваясь и пересмеиваясь, шли мы пустынной дорогой, когда вдруг Наташа, баюкавшая сына и сидевшая на телеге лицом назад, воскликнула:

— Девоньки, кто это там едет? Какие-то люди... на мотоциклах.

Мы обернулись назад. С холма, от которого мы удалились километра на четыре, стремительно спускались мотоциклисты. Нам никогда не приходилось видеть красноармейцев на мотоциклах.

— Может, наши бойцы,— неуверенно предположила Валя.

— Нет, это не наши! Быстренько прячьтесь в лесу. Гоните лошадь! — закричала Алевтина Павловна.— Скорее в лес!

К счастью, дорога шла рядом с лесом, до него было каких-то сто метров. И мы, нахлестывая лошадь, бросились туда. Но какими бесконечными показались эти сто метров! Мы бежали, то и дело испуганно оглядываясь назад. Мотоциклы стремительно надвигались прямо на нас.

— Разбегайтесь! Прячьтесь по кустам! — прокричала Алевтина Павловна.



— А подводу куда денем? Детей куда?! — завопила Муся-Строптивая.

Дети разревелись, напуганные всем этим переполохом.

— Подводу все равно не спрятать. А детей, наверное, не тронут. Бегите сами! Бегите же,— вновь закричала Алевтина Павловна.

Женщины рассыпались по лесу.

— Аля!.. Павловна! За детьми, присмотри за детьми!

Я неслась не помня себя. Ветки хлестали по лицу, царапали, рвали платье. Я прыгала через кусты, упавшие стволы деревьев. Вдруг что-то меня зацепило, рвануло, и вместо неба перед глазами моими оказалась земля с разрытой влажной прелью. Сердце бешено колотилось. Щипало в глазах. Я вытерла их рукавом, стала приподниматься и тут услышала чужую гортанную речь. Что-то подступило, втиснулось в горло, руки подломились, и я бессильно повалилась на бок. Теперь мужские голоса стали перебивать, глушить тонкие, женские. Я узнала голос Алевтины Павловны. Боже мой! Никогда не думала, что он у нее такой пронзительный... А это вот отчаянно закричала Наташа.

Я привстала на колени и сквозь просвет в листьях глянула в ту сторону, где были телега и женщины с детьми. Оказывается, я пробежала совсем немного, мне было все слишком хорошо видно. Человек восемь немецких солдат в серо-зеленоватой форме окружили подводу. Тут же, заехав на обочину, приглушенно урчали мотоциклы. Наташа сидела на телеге, один солдат вцепился и дергал ее за локоть, другой тянулся к ребенку. Наташа, судорожно прижав его к груди, пронзительно кричала, упираясь ногами и не давая себя стащить. Третий немец, не обращая внимания на женщин, рылся в наших вещах. Алевтину Павловну заламывал здоровенный мотоциклист, топча и роя вокруг нее песок. Он боролся с нею, пытаясь вырвать у нее сына.

— Вовочка, роденький, не бойся! Никому тебя не отдам,— надтреснутым, сорванным голосом кричала Алевтина Павловна.

Двое все же выхватили из рук Вали заливавшегося плачем ребенка, один из них, длинно и вязко улыбаясь, качал его на руках и приговаривал «бай-бай», второй пыхтел, сиюсь утащить в сторону упирающуюся Валу.

Еще один, в пилотке, стоял в сторонке, любуясь всем этим шумным зрелищем, и наигрывал на губной гармошке, глядя на солдата, тщетно пытавшегося унять Валиного сына, и, видимо, насмехаясь над ним, сказал что-то. Потом он со смехом обратился к другому, вошедшему с Валею, но так и не сдвинувшему ее с места, и со всего маха пнул упиравшуюся Валею сзади.

За телегой я разглядела только затылок Алевтины Павловны, растрепанные ее волосы, бедняжка все еще кричала и билась в руках быка в серо-зеленом мундире.

В эту минуту из кустов выскочила одна из женщин, прятаясь шагах в пятидесяти, и, ругаясь на бегу, бросилась прямо к телеге. Я узнала Мусю-Строптивую.

— Вы что же делаете, а?! Чумы на вас нет, сволочи! Люди вы или звери? Детей бы малых постыдились! Бесстыжие ваши рожи! Подонки!

Немец, который только что пнул Валею, вновь заиграл было на губной гармошке, но, увидев Мусю-Строптивую, развеселился еще больше, так и зашелся смехом и вдруг, приподняв автомат одной рукой, дал короткую очередь. Муся дернулась, словно ее ударили по груди, потом мягко подалась вперед и упала лицом вниз; несколько раз, судорожно изламываясь, она перевернулась и затихла. Солдат захохотал еще громче, но вдруг, оборвав смех, отвернулся. Я увидела Люсю, бежавшую из леса.

— М-ма-ма-а! — даже воздух, кажется, заледенел от этого вопля.

У меня потемнело в глазах. С отчаянными криками женщин смешалось тарактение новых мотоциклов. Они стремительно подъехали сзади и резко затормозили. Увидев их, солдаты первой группы тотчас же бросили свои «забавы» и стали торопливо оправлять форму. Один из вновь подъехавших, видно, командир, властно и сердито выговаривал что-то первым. Те стояли навтыяжку, потом сели на мотоциклы и быстро уехали. Следом, вразной тарактенью и выпуская беловатый дым, двинулись и остальные.

Неподвижно застыли у телеги женщины, еще не веря в свое спасение. Те, кто прятался, выскочили из-за кустов, бросились к ним. Я тоже поднялась, чтобы побежать туда, но ноги мои обмякли, и я с трудом, точно в бреду каком-то, поплелась к своим. Женщины обнимались и плакали, а у меня почему-то не было слез. Плакала, ухватившись за телегу обеими руками, Маруш

Аршаковна, а я не могла. Содрогалась всем крупным телом и не могла унять рыданий Валя, закрывавшая большими серыми ладонями лицо, а мне глаза что-то сухо жгло, и в груди что-то горело, и сухая какая-то боль потянула снизу и стала разламывать меня надвое.

Несколько женщин склонились над телом Марии Максимовны, одна из них еле сдерживала бившуюся в рыданиях Люсю. Опомившись, побежали к ним и остальные и так тесно обступили тело Муси, что мне ничего не было видно. Только надрывный плач Люси слышала я: «Маму убили! Мамочку убили!»

Не плакала одна Алевтина Павловна, лицо ее как-то страшно потемнело, не замечая нас, сквозь шевелящиеся от ветерка пряди волос она смотрела куда-то вдаль и тихо гладила головку Вовы, прилепившегося к ее ногам.

Наплакавшись, наглотавшись вволю горьких слез, потихоньку вернулись мы к нашим делам.

— Девочки, что же теперь, а?

— Как что? Идти надо.

— Так мы же... Мы же в тылу остались... у врага!

— Господи! А когда же наши войска мимо прошли?

— Наверное, пока мы прятались по лесам, они и прошли.

— Что хотите со мной делайте, а я верю, наши придут еще! Вот увидите, вот ей-богу!

— По-моему, это только разведчики. Высланный вперед отряд разведки. На мотоциклах они...

— Что же делать-то нам, господи?

Женщины заговорили разом, горячо и громко перебывая друг друга. Некому было остановить их и сказать веское слово. Елизавета Сергеевна была все еще как бы оглушена, смотрела на каждую из нас, не понимая, что мы говорим.

Когда наконец все утихло, Алевтина Павловна вздохнула:

— Ну, давайте трогаться.

— Стойте!.. А как же быть с Марией Максимовной? Похоронить надо же ее! — сказала Маруш Аршаковна.

— А могилу чем рыть? Лопаты нет!

— Что же теперь — так и оставим ее на дороге?

— Положите тело Марии Максимовны на телегу. Найдем по пути лопату, похороним, — сказала Алевтина Павловна. Женщины замялись, боясь подойти к трупу.

— Ну, давайте же, слышите? Берем! — призывала каждая, но никто не двигался с места.

Тогда Алевтина Павловна с помощью Вали и Муси-Хохотушки уложила на телегу тело, прикрыла каким-то доскутом лицо покойной и тронула лошадь, подхлестывая ее по бокам вожжами. Остальные в тягостном молчании побрели следом.

15

Война со всем своим беспощадным откровением показала, что значит клин вышибать клином. Если бы мне удалось вскоре возвратиться в родные края, то, может быть, первая встреча с вражескими солдатами так и стояла бы перед моими глазами как одно из самых жестоких событий всей моей жизни, но после целой череды бед, которые уготовила мне судьба, эпизод тот стал рядовым и даже мимолетным, даже какой-то дикой шуткой, закончившейся, правда, смертью.

Но тогда мне было не до рассуждений. С трупом на телеге, с испуганно затихшими ребятишками мы куда-то шли, куда-то двигались, дорога петляла — то березовый лес, то сосновый бор, то глухое чернолесье, и все чаще возникало ощущение, что мы стоим на месте и сами не знаем, зачем поднимаем ноги — в помешательстве каком-то. И за спиной, и впереди, и слева, и справа был враг, мы попали в страшное кольцо и один раз уже обожглись об него.

Наконец дорога привела нас к старой, покосившейся избенке лесника. Сам он, как оказалось, уехал в большое село километрах в десяти отсюда — кое-что прикупить в магазине и узнать заодно, что творится в мире. Дома оставались двое детей и жена, темноволосая, смуглая женщина лет тридцати. Лопата у нее нашлась, указала она нам место, где можно было могилу выкопать. Место было хорошее, утешное, как сказала хозяйка, — за сосновым молодым мыском на тихой полянке, густо и ровно поросшей травой.

Прежде перед самым обычным, маленьким делом мы долго судили да рядили, каждая предлагая свое. На этот раз без всяких споров по единственному слову Алевтины Павловны принялись мы за скорбную эту работу. Сняли дерн, прошли песок, глубже суглинок был твер-

дым, лопата, точно хрящи резала — похрустывала. Углубившись по грудь, женщины посмотрели друг на друга и молча принялись копать дальше. Мусю любили и похоронить ее хотели как следует. Когда макушки голов уже скрылись, а вылетали из ямы только рыхлые комья земли, решили — могила готова. И правда: запахло сырой глубиной, холодной и душной. Люсю увели в дом — и от слез она была покорна, а Марию Максимовну, накрыв кое-как, засыпали, похоронили, и кто плакал, а кто уже и не мог.

Лесник, вернувшийся домой к вечеру, был удивлен — столько женщин на подворье его хозяйничало! Что-то было уже постирано, сушилось уже, нестреля на солнце, кто-то расчесывал, продираал свалявшиеся волосы. Лесник усмешливо покачал опущенной головой, мягко поздоровался.

Вести он привез неутешительные: враг вторгнулся безостановочно и, похоже, продвинулся уже довольно далеко.

Ясно теперь стало окончательно: все пути на восток нам отрезаны. Мы полагали, что нам сегодня встретился случайно прорвавшийся небольшой отряд, а впереди стоят наши войска. Нет, все: везде немцы! И мы надолго замолчали, страшно было думать о будущем. Первой заговорила обычно молчавшая Света:

— Что впереди? Лесов много? — спросила она у лесника.

Тот пожевал губами, устремив взгляд куда-то вдаль, словно просматривал наш путь, и, подумав, ответил:

— Дело такое, хорошие мои... Придется вам идти по открытой местности. Есть там лесочки, как вроде рощи, так они не в счет. А сплошные леса пойдут аж за Мокошей — место такое, а это верст пятьдесят с гаком!

— Та-ак... Что ж, давайте советоваться, как быть, — сказала Света. — Алевтина Павловна, что же вы молчите? Надо же что-то решать.

Алевтина Павловна сидела в уголочке с Вовкой на коленях.

— Да, надо решать, — ответила она не сразу. Ссадив сына, она выпрямилась. — Надо решать, как нам жить. Факт, что мы в тылу врага, у немцев, и факт, что выбраться отсюда надежды нет. Тут нечего себя обманывать, зря тешить!.. Вся жизнь перевернулась! Вся!.. Не дай бог вынести еще раз то, что случилось сегодня. При

детях... при ребенке наброситься!.. Случись что, я... Есть, оказывается, вещи и похуже смерти.

— Это только цветочки, а ягодки ждут нас впереди,— сказала Валя.

— Что мы можем предпринять, я еще не очень-то себе представляю, но одно ясно: нам нельзя продвигаться такой большой группой,— обвела всех посуровевшими глазами Алевтина Павловна.

— Но как же?.. Выходит...— Елизавета Сергеевна с потеряннм видом взглянула на Алевтину Павловну.

— Я тоже думаю, Алевтина Павловна права,— сказала Маруш.

— Выходит, разбредемся кто куда?

— Уйдем каждый сам по себе?

— Нет, так не годится. Я против. А что если мы им в руки попадемся? Что?

— Неужто пойдем куда глаза глядят? Я и дороги-то не знаю.

— Да, пойдем поодиночке. Даже если в руки попадем, то по одной. Не все разом осчастливим солдатню эту,— горько усмехнулась Маруш.

Кто-то сердито заворчал: нашла время для шуток.

— Маруш не шутит. Это не шутка,— покачала головой Алевтина Павловна.— Таким табором мы нигде не спрячемся. Нужно разделиться по двое, по трое. А дальше уж кому какая удача будет. Ну, а как быть таким, как мы, женщинам с детьми? Выход у нас, по-моему, один: скроемся в лесных хуторах, пока... пока не вернутся наши, до освобождения как-то отсидеться надо.

На этом и порешили. Ни споров не было, ни криков: над каждым пробили его собственный час. Осталось только разбиться на пары — выбрать себе товарища на весь испытательный этот срок. Мне хотелось остаться со Светой. Я взглянула на нее, и она кивнула мне с улыбкой. Только наш бывший председатель, наша Елизавета Сергеевна не нашла себе товарища и сиротливо, затравленно поглядывала на остальных. Заметив это, Алевтина Павловна предложила ей:

— А что, Елизавета Сергеевна, если вы не считаете, что со мной будет тяжело — я же с ребенком... давайте вместе будем. Вместе и перенесем все, что выпадет на нашу долю.

И Елизавета Сергеевна... согласилась.

Теперь нам оставалось самое мучительное — нужно было определить куда-то Люсю и Шурика. Попросили приютить их лесника. Хозяев это не очень-то обрадовало, но все-таки, поколебавшись, они согласились. Люся была убита горем и не особенно вникала в то, что ей говорили, а Шурика пришлось уговаривать долго. Он не решался быть настойчивым с чужими тетями, но на нас со Светой поглядывал с отчаянной мольбой.

— Тетеньки, заберите меня... Я могу сам идти,— заплакал он наконец.

Я готова была уже сдаться, но Света все-таки сумела его уговорить.

— Нет, мы пойдем очень далеко. Ты устанешь. Вам с Люсей лучше остаться здесь. Потом тебя повезут домой на поезде. К тому времени и мама, наверное, туда приедет...

Разделились на группы мы довольно легко, а вот расстаться было просто мука. Мы сильно привязались друг к другу и теперь, как могли, старались оттянуть последнюю эту минуту — все хотелось погреться душой, набраться спокойствия в большой, сплотившейся в несчастьях нашей семье. Как страшно было отрываться от нее и всего лишь вдвоем идти в неизвестность, в лес! И вот — уходим... Не успели мы со Светой уговорить Шурика, как расплакалась Люся, горько, безутешно.

Я не вытерпела, прижала ее к своей груди и стала утешать. «Ты же не одна здесь в лесу остаешься, о тебе будут заботиться. Ты потерпи немного, голубушка, люди здесь хорошие, привыкнешь к ним и сама им станешь как родная, потом тебя папа разыщет непременно. Ты же единственная свечка, оставшаяся после мамы, не погаси эту свечку, по огоньку этому родному тебя и отыщет папа, миленькая». Люся с первыми же моими словами перестала плакать и изумленно смотрела на меня, и я поняла наконец, что говорила по-казахски. Но по глазам моим, по голосу моему она поняла что-то и на прощание бросилась ко мне на шею и крепко обняла.

Лучи поднимающегося солнца густо легли на комковатые верхушки деревьев, прошлись по ним теплой охрой, облили мягким желтоватым светом листья берез и

колючие ветви сосен. Вскоре обильное сияние хлынуло в лес, и от вершин деревьев на землю косо пали дымные столпы света. Раздались какие-то птичьи голоса, утро просторным сделалось.

Мне вспомнились рассветы и у нас в степи. Они были широкие, откровенные, ясные. Когда на востоке показывался красный обод солнца — всю бесконечную степь прозрачно заслоняла нежно-розовая воздушная ткань: кромки ложбин и оврагов казались отсеченными ножом от нее, в них лежали мглистые ломти ночи. До самого горизонта четко обозначался каждый кустик, каждая пасущаяся животина. Полынь, ковыль и типчак просыпались, обновленные и посвежевшие. Хорошо в степи на рассвете, на закате тоже, когда проясняются далекие дали и становится грустно и сладко на душе.

Где вы, родные мои края?! Суждено ли мне вас когда-нибудь увидеть? Между нами теперь пропасть — земля раскололась, и все дальше и дальше расходятся ее края. Только слабая надежда, только желание хоть немного дальше продвинуться на восток ведут нас теперь. И надежда эта мне кажется порой чистым безумием.

Если бы я еще была одна! Но нас теперь двое. Двое... Я не видела его, не держала в руках, не могу отделить от себя то, что покоится во мне, и представить это в облике живого человека.

Часто слышала я о чувстве материнства, но есть ли во мне оно — не знаю. Я не испытывала особой нежности, беря на руки чужого младенца. Я чувствовала себя пока что набухающей почкой на дереве. И только теперь от каждого толчка вместе с тревогой и болью такие глубокие и сладостные токи проходят сквозь сердце, что все во мне замирает; и тогда мне кажется, что я не раздваиваюсь, а все больше и больше соединяюсь с этим существом и, родив, отделив его от себя, соединюсь с ним окончательно — душой.

Но бывает и по-другому. И горько и даже страшно мне в этом признаться... Казахи, видимо, не зря говорят о беременной женщине, что у нее «тяжелые ноги». Мне тяжело уже ходить, а идти надо, и завтра будет еще тяжелее — что тогда? Что делать мне со своим грузным телом, ставшим таким беспомощным? Ведь это он отнял у меня, забрал себе мою силу. Тошному коню и плеть тяжела. Да, я иногда злюсь на него. Проклинаю

даже, думаю: не дитя ты, а несчастье, зародившееся во мне в такую бедственную пору. А потом начинаю отрекаться от ужасных этих дум.

...Прошло уже около двух недель, как мы со Светой остались одни. С тех пор мы нигде подолгу не задерживались, все тянулись на восток; хоть по пять, по десять километров в день, но мы продвигались все дальше.

Мы шагаем, идем, плетемся, и, глуша в себе усталость, голод и жажду, я вспоминаю, веду какие-то безмолвные разговоры с теми, с кем распростилась в домишке лесника. Разговоры эти могут вдруг оборваться, а потом опять, спустя какое-то время, ни с того ни с сего возникнуть. Могу говорить я одна, или кто-то может говорить, а я только слушать, или кто-то третий говорит и судит, а мы все молчим — по-разному бывает. Только один человек теперь бессловесен — Муся-Строптивная, Мария Максимовна, та, что постоянно ругалась, кого никто не мог переспорить. Теперь ее нет. Я успела только-только понять, что она была вовсе не такой, какой мне и всем нам казалась. Не Строптивной бы ее надо называть, а Доброй и Справедливой — вот в чем была ее человеческая суть. Ни лжи, ни фальши, ни лицемерия она не терпела и как могла боролась против них. И насилия тоже не терпела и погибла поэтому.

А вы, Алевтина Павловна, разве вы не были избалованной полковой красавицей? Разве не получали вы как должное знаки внимания, предназначенные не только вам, но и служебному положению вашего мужа? Только Елизавете Сергеевне, муж которой стоял еще выше, чем ваш, выказывали снисходительное, слегка даже ироничное почтение — чего же, мол, еще больше этой заводной кукле? Теперь я поняла — то были на вас всего лишь яркие платья, которые любит надевать праздная женщина, когда дремлет в бездействии ее душа. А была она, душа эта, как оказалось, крепкой и недюжинной, способной повести за собой в самые трудные минуты. Спасибо Вам! Вы оказались самой находчивой и рассудительной среди нас.

Елизавета Сергеевна не понравилась мне с самого начала. О, как она рвалась командовать нами, эта тщеславная, самолюбивая и надменная женщина! Ко всем она относилась свысока... Я даже близко боялась к ней подходить — все мне мерещилось, что в ее присутствии я делаю что-то не так, неправильно, плохо живу. Но

вот сорван с нее мундирчик, отлетели медные блестящие пуговицы, и оказалась беззащитной она и даже несчастной. Мужчины — те слабости не прощают, но женская натура иная, и мне стало жаль Елизавету Сергеевну. Растерявшаяся, сникшая, она была мне ближе, понятнее, какое-то даже родственное чувство шевельнулось к ней, когда она сделалась такой, какой создал ее господь бог. Почему же она не видела раньше, что, уходя от естества своего, она уходила и от людей?..

Где же вы, куда занесла вас судьба, подружки мои и товарищи, что с вами и живы ли вы?..

Теперь единственная моя опора — Света. Вчера, придя с нею на это место, устало опустились и оперлись спинами о шершавый ствол сосны. От голода давно уже мутило и подташнивало.

— Как ты думаешь, — спросила вдруг Света, — я могу еще привлекать мужчин?

Я удивленно посмотрела на нее.

— Я серьезно спрашиваю, — сказала она и подула углом рта на выбившуюся прядь волос.

— Да, — сказала я неуверенно. — Ты красивая... Ты похудела, ты новая какая-то, но...

— Это плохо, — закрывая глаза, проговорила Света. — Это плохо... Ты заметила деревушку, когда мы перебирались через ручей?

— Да... заметила.

— Как ты думаешь: есть ли там немцы?

— Я никого там не видела, — помолчав, ответила я.

— Надо туда сходить. Может быть, немцев там еще нет. Может быть, удастся харчишек каких-нибудь добыть... Надо туда сходить, — обняв колени, Света уткнулась в них, ясными от голода глазами глядя из нашей навесной чащи на залитую солнцем, сияющую голубоватой дымкой поляну.

— Надо туда сходить, — снова сказала она, не меняя своей позы.

Я молчала.

— Деревушка-то вроде на отшибе... Дай бог, чтобы там не было немцев. Боюсь я их, очень боюсь... Я от страха даже не плакала тогда, помнишь?

— Когда?

— Когда на нас наехали мотоциклисты, когда чуть не изнасиловали они Алевтину Павловну и эту... Наташу. Как они хватали...

— Они убили Марию Максимовну,— быстро сказала я.

— Ну ладно,— помолчав, устало-устало сказала Света.— Давай устраиваться... Я пойду в деревню, может, повезет мне.

— Зачем ты вспомнила про тот случай? — сердито спросила я.

— Не знаю. Вспомнилось чего-то.

— Не ходила бы ты, а?

— А как же, кто же пойдет? Хоть по куску бы хлеба, ржанухи... Нет, давай сейчас шалашик построим, и я пойду.

Молча мы соорудили шалашик — на сухие ветки набросали травы, ветвей поменьше, какие удалось нам наломать, папоротника. Света на меня почему-то не смотрела. И так же, не взглянув на меня или, вернее, скользнув около меня взглядом, она торопливо пробормотала — ну, до вечера — и пошла, сперва по колени, потом по пояс скрывшись в траве и мелком кустарнике, а вскоре и совсем исчезла, растворилась в лесном, то светлом, то темном воздухе, и мне все казалось, что в нем колыбался какой-то след...

Господи, как долго ее нет! Половина поляны в тени, а половина уже в светлом солнечном дыму. Что там могло с ней случиться?! Опять вернулась какая-то недосказанность в наших отношениях, появившаяся после того разговора на аллее, когда Света рассказала о несчастьях своих. Она не давала о себе знать, когда мы были все вместе, но вот остались мы с нею вдвоем и что-то опять стало вкрадываться, вставать между нами и отодвигать нас друг от друга. Порой мне казалось, что я в чем-то виновата перед Светой, не знаю только в чем. Лучше бы она не открывалась передо мною, не вовлекала бы меня в свой мир, все было бы проще и надежнее...

Господи, что я думаю! Конечно же она не бросила меня и никогда не бросит. С нею просто что-то случилось, что-то задержало ее на ночь в деревне, она вернется, не может быть, чтобы не вернулась. Я пропаду в этих лесах без нее, никого и ничего не знаю, плохо говорю по-русски, меня сразу поймают... Я то вставала, то садилась, вся изболелась, ослабла от бесконечной тревоги и вдруг, бросив случайный взгляд, шагах в тридцати от себя увидела Свету — она шла покачиваясь, спотыкаясь.

Я вскочила, бросилась ей навстречу и с разбегу, чувствуя громадное облегчение, обняла ее.

— Господи! Ну наконец-то! Как ты меня напугала... Слава богу, жива и невредима,— бормотала я, смаргивая набежавшие жаркие слезы.

Но Света почему-то молчала, и вся она была как неживая — вяло, бесчувственно стояла она в моих объятиях. Потом как-то бочком, ужимаясь, выскользнула из моих объятий, словно ей болезненны были прикосновения моих рук, посмотрела как-то недоуменно вокруг себя, увидела и как бы только теперь узнала наш шалаш и пошла к нему.

Света смотрела на меня какими-то мутными глазами. Кажется, она была немного пьяна.

— Плакать мне хочется,— сказала она, глядя на меня пристально и странно.

— Ну поплачь, поплачь, если хочется,— погладила я ее по спине, и она опять выгнулась, уходя от моей ладони.

— Нет, плакать я не могу,— сказала с какой-то торопливой озабоченностью.— А плакать хочется. Это ведь счастье — от души поплакать?

— Да что с тобой стряслось? — взмолилась я.

— Со мной? Что стряслось, то и стряслось,— криво усмехнулась она.

И от этой ее усмешки таким... таким холодом потянуло, что у меня мурашки пошли по всему телу. Я смотрела на нее во все глаза и словно не узнавала ее, теряясь в догадках, проклятая деревня ее словно подменила, и не она, а кто-то другой сидит передо мной и тоже смотрит на меня так, словно видит меня впервые.

— Света! — закричала я.

— Не ори!.. Чего ты... кричишь?

— Ты где? Ты... что?

— Не задавай глупых вопросов. Здесь я сижу. Здесь, а не там,— закричала и она, показывая рукой туда, откуда пришла.— С тобой, а не с немцами!.. Тебе хорошо — костер, шалашик, а я была там, я попала к ним в руки... Почему ты не пошла в деревню, а? Тебя бы, такую, с брюхом, они бы не тронули, не позарились бы.

— Что ты говоришь? — отступила я от нее, глядя на набрякшее в крике лицо, на почерневшие ее губы.— Что ты говоришь такое?!

— А что «такое»? Брюхатая баба — кому она нужна? Не-ет, ты тут предпочла отсиживаться, а мне пришлось... а я... О-о! — застонала она низко, утробно, жутко. — О-о-о! — и, схватив себя за голову, стиснув ее ладонями, она закачалась из стороны в сторону, брезгливо и страдальчески сморщившись. — Будь ты проклята... будь проклята вся моя жизнь! За что, господи! За что мне такое, за что, за что! — стала колотить она по земле кулаками, вырывая и бросая траву, хвойный сырой подстил и песок.

— Света! — я бросилась к ней, пытаюсь поймать ее руки.

— Отойди! — опять закричала она. — Не трогай меня! Не трогай!!!

Она вскочила, распатланная, с дикими глазами, черными искусанными губами, ее шатнуло, повело в сторону, и, давя и ломая папоротник, она сделала два пьяных каких-то шага. Я моргала, смаргивала сор и песок, попавший мне в глаза, хрустнул он и на зубах.

— Не хочу жить, — глухо сказала она, неотрывно, пристально глядя на что-то страшное внутри себя. — Назира! Слышь, не хочу я жить!

Ее опять шатнуло, теперь уже ко мне, она деревянно расставила руки, в одной из них она намертво зажала пук вырванной с корнем травы. Я шагнула к ней, но она как бы не заметила этого, все так же пристально не сводя взгляда с того, что было в ней, и я не решилась почему-то взять ее за плечи, даже прикоснуться к ней забоялась, моя рука повисла в воздухе, а потом опустилась.

— А-а! — засмеялась она хрипло. — Брезгуешь уже? Запачкаться боишься? Ха-ха-ха!

Мне стало нехорошо, жутко. Света по-прежнему меня как бы не видела, пусты и плоски были потемневшие ее глаза, и в то же время она все видела, заметила мой обломившийся жест. Я ничего не понимала, ничего!

— За что мне такое? — закрыв глаза, застонала она. — Один меня обманул, другая предала, отца арестовали — враг народа, мать выслали... А я всегда тянулась к людям, мне всегда до зарезу нужен был человек, я всегда хотела любить и верить человеку, и чтобы меня любили и верили мне — без этого я не могла жить. И Райса Семеновна меня потому так ослепила, что этой слепоты я хотела сама, и Сашка влюбил меня в себя

потому, что мне нужно было самой от себя отречься! Я никому не делала зла, только любить, только чисто и свято... Почему же, за что со мной так все подло поступают, почему топчут и вываливают меня в грязи? Не хочу, не хочу я жить! — закричала она опять, раздувая жилы на шее, и, сломившись пополам, точно ножом ее ударили в живот, ступила два шажка и рухнула на землю со стоном, рычанием уже, и стала биться и кричать, и хохотать в истерике.

— Сука я! Сука, шлюха, подлая тварь! Меня убить мало! Меня надо повесить! Я — ха-ха-ха!.. Я...

— Замолчи! — завопила я, сжимая кулаки, и тоже чуть не в припадке. — Замолчи сейчас же! Ты...

— А-а! Замолчи? Не замолчу! Ты же любишь слушать, ты любишь подглядывать, ты все молчишь, ты пытаешься все молчанием своим! Нет, я тебе все расскажу, все, как было, все до капельки вылью, а тогда уж и уйду! Нам с тобой теперь не по пути — ты чистая, а я — мразь, гадина. Как-нибудь без меня теперь обойдешься, не пропадешь. Где тут мои вещички? Дай-ка мне их, чтоб уж потом, после всего не забыть мне их тут и не возвращаться!..

— Света-а! Родненькая ты моя...

— Я... я с немцем спала, — проговорила медленно, почти шепотом она, теперь уже действительно никого и ничего не видя. — Я... отдалась немецкому офицеру...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Зарывшись в сено, сдавленно дыша пахучей пылью, я лежала в сумрачном старом сарае. Рядом то и дело вздыхала белолобая корова Зойка. Когда мы с тетей Дуней вбежали сюда, дремавшее животное испуганно вскочило, стуча мослами и копытами о деревянный настил. Но, узнав хозяйку, корова, потянувшись к ней мордой, укоризненно, тихо замычала. Нам было не до нее. Тетя Дуня молча толкнула меня к сеновалу — сюда! Я начала рыть нору и забилась в нее, ничего не слыша, кроме надсадных, бухающих ударов своего сердца.

В деревню, где я нашла наконец приют, неожиданно нагрянули немцы. Мы услышали угрюмый гул моторов, лай собак, гортанные крики. Какую-то минуту мы с тетей Дуней, хозяйкой дома, где пряталась я все это время, смотрели друг на друга, потом опомнились, схватили одежонку, ударились в двери и, пригнувшись, тяжелой рысью — одна брюхатая, другая старая — побежали к сараю прятать меня.

Отдышавшись немного, улегшись поудобнее, я прикрыла тяжелые и горячие веки...

Полгода уже как движется на восток огненный вал войны. Полгода как я скитаюсь по земле, ставшей вражеским тылом. Полгода душа моя ни на миг не знает покоя. Даже во сне терзается она — вижу ли, как наспех расстанусь с Касымбеком, как он ушел, потом снова вернулся, я лежу и не встаю к нему почему-то; вижу ли раненого его, в крови всего, в изорванных бинтах, и я, прижимая липкие волосы к груди своей, страшно кричу, задыхаясь от едкого дыма; вижу ли я безнадежно, изо всех сил бегущую за составом Ираиду Ивановну, испуганно прижимающую к себе младенца; вижу ли бешеные, разгульные пожары, убитого Борю, развалины, долго пахнущие дымом, а потом только холодной гарью, разбитые машины, и танки, и трупы между ними; вижу

ли бабушку Камку, Сеилхана, кочевья родные, далекие, — все равно душа моя плачет по ночам, и я сквозь какой-то похмельный сон вяло удивляюсь этим слезам, точно это не я, а кто-то взаймы плачет моими слезами.

Опять где-то глухо лязнул выстрел. Послышался низкий, рыкающий рев моторов — большая машина зверем ворочалась на узкой заснеженной улице.

Около двух месяцев я живу в этой деревне. Она стоит на краю большого чащобного леса, и немцы сюда опасались заглядывать до сих пор, и вот теперь они вошли, хозяйничают. Не знаю точно, когда я должна родить, но каждой клеткой своего тела чувствую приближение заветного срока и жду его покорно и тревожно. Что же теперь будет со мной? Если немцы уйдут отсюда через день-другой, я как-нибудь еще выдержу, лишь бы схватки не начались преждевременно. Ну а если они застрянут здесь надолго? Я сама себя выдам.

С улицы стали приближаться крики, немцы вошли во двор, галдя по-своему, слышался скрип снега совсем рядом с сараем. Я перестала дышать... И расслабилась, откинулась на стенку моей норы, когда вокруг все затихло.

То ли избаловалась я, сидя в тепле и небогатом уюте деревенской избы, то ли совсем иссякли мои силы... Были ведь и похуже моменты, пережила и совсем уже безысходное, когда Света, бросив меня одну сидеть у затухающего костра, ушла, погрузилась, точно в омут, в лесную чащу, сомкнувшуюся бесследно за нею.

Она ушла, а я все никак не могла поверить, что осталась без поводыря, и странно, я не почувствовала даже страха, в душе была пустота, я точно не слышала медлительного верхового шума деревьев, редких уже в ту пору лета птичьих голосов, стука собственного сердца. Мне нужно было, наверное, побежать за Светой, обнять ее, закричать, что не сужу и не виню ее, что сама она, решившись на исповедь эту страшную, приговорила себя к мукам собственной совести, что нельзя, ну никак нельзя нам с нею расставаться — как же я без нее? Погибну, пропаду в этих проклятых лесах и болотах.

Но она, как бы оставив мне свое горе, исчезла, и я, думая о ее несчастье, забыла о себе — не крикнула, не остановила ее. Может быть, потому не побежала за нею, что там, где только что билась в слезах, оставляя на земле взрытые следы, смятую, вырванную с корнем тра-

ву Света, из этих полос, перевернутого влажного лесного подстила, из воздуха темного и прозрачного стала образовываться какая-то фигура, какая-то оболочка, оставшаяся от нее, кокон смутный какой-то, и я все напряженнее, все пристальнее вглядывалась в него, стараясь постичь чужое, такое внезапное и все-таки подспудно ожидаемое мною горе.

Вчера она, подкравшись к деревне, долго лежала на краю огородов, в темных куцах конопляников и крапивы. Вид у нее был мирный. Обычные звуки долетали — мычали коровы, в отдалении со скуки лаяли собаки, глосили петухи. Может быть, эта мирная картина села на закате солнечного дня усыпила ее, а может быть, ей просто невольно было возвращаться с пустыми — в который уже раз — руками, и голод, наверное, притупил осторожность, но она выбралась из своей засады и пошла потихонечку к крайней избе. Войдя во двор и никого здесь не обнаружив, Света постучала в дверь, и тотчас она распахнулась — на пороге стоял немецкий солдат. Она попятилась, споткнулась, чуть не упала. Немец тоже вытаращил глаза, совершенно опешил, забормотал: «о-о, зер гут, фрау, зер гут», но автомат наставил и окинул цепким взглядом двор, и, убедившись, что Света одна, а во дворе ничего подозрительного нет, он усмехнулся лягушачьим ртом, мотнул автомат на плечо стволом вниз и, схватив ее за руку, сразу задохнувшись, потянул на себя, и Света обмерла вся и тоже задохнулась, брезгливо и осторожно вырываясь из его рук.

И так они потихонечку двигались в странном каком-то кружении, бормоча что-то каждый свое и все больше задыхаясь — один от похоти, другая — от ужаса и омерзения. От ужаса этого Света стала громко говорить, почти кричать, что она не из этой деревни, а из соседней, Сосновки, что пришла сюда проведать подругу и очень торопится засветло вернуться домой. Солдат все пытался обнять ее за поясницу, она же каждый раз отступала, вырывая, выкручивая из его клешневатых пальцев левую свою руку, и оба не заметили, как очутились у калитки, почти что на улице.

И тут вдруг рядом с ними затормозила легковая машина. Солдат бросил Свету, мгновенно оправился, вскинул руку: «Хайль Гитлер!» Света, тяжело дыша, тоже стала поправлять на себе одежду, одергивая задранное в этой возне платье и, сощурившись, остро вгля-

дываясь в машину. В ней сидели несколько офицеров, холодно-важных и как бы задумчивых, но даже среди них выделялся тот, что сидел рядом с шофером — особой какой-то повадкой, какой-то значительностью и неторопливой уверенностью в себе. Сразу же было видно, что он не только чином, но и во всем остальном на голову выше своих спутников.

Повернув неохотно голову, офицер с ног до головы оглядел Свету, и она, почувствовав себя под его взглядом совершенно раздетой, в испуге укрыла груди руками. В серых глазах его что-то двинулось, приоткрылось, мелькнула какая-то усмешка, но он быстро принял свой обычный вид, сказал что-то равнодушно офицеру, сидевшему на заднем сиденье, тот что-то крикнул солдату, и открытая черная машина, мягко покачиваясь на ухабах, не спеша покатила дальше.

Солдат, истуканом простоявший все это время, быстро пришел в себя, свирепо нахмурился и посмотрел на Свету с нескрываемой злобой.

— Иди вперед! Быстро! — закричал он, толкая Свету в плечо.

Но ей спешить было некуда, она понимала, что из огня попала в полымя и что ждет ее впереди — одному богу только известно. Она шла медленно, сонно, и дуло автомата то и дело бодало ее в спину.

Солдат пригнал ее к какому-то большому, срубленному из толстенных бревен дому, бывшему, наверное, не так давно сельсоветом или какой-нибудь конторой. Тут же стояла открытая эта машина и два черных мотоцикла с люльками. У палисадника, под навесом сирени, в окружении четырех или пяти офицеров, разговаривал тот, что велел привести ее сюда. Встретившись с нею взглядом, он чуть-чуть поклонился ей, словно увидел старую свою знакомую и хотел перекинуться на ходу словечком, но сдержал себя. Приветливо улыбаясь, офицер опять оглядел Свету и на этот раз еще тщательнее. Она чувствовала, как задерживаются его глаза на ее груди, бедрах, загорелых, красновато блестящих ногах. И закончив свой осмотр, он указал ей подбородком на дверь. Поднимаясь по ступенькам, Света спиной чувствовала холодную тяжесть этого взгляда.

Ее ввели в боковую комнатку, где стоял заляпанный чернилами тонконогий стол и два иссохших на долгой службе своей стула. Единственное окошко выходило

во двор. Полы были уже вымыты, пахло теплой водой и пылью, возле голландской печи, уходившей большей частью своей в другую комнатку, стояло ведро с мокрой тряпкой.

Во дворе ходил часовой. Посмотрев на него, Света села на скрипучий стул. Безнадежное, тоскливое чувство сжимало ей сердце, она уронила голову на руки и, чтобы не расплакаться, стала кусать губы, стала думать о дороге, о хлебе. Запах чистых сыроватых полов успокоил ее немного, и она не заметила, как задремала.

Проснувшись она от скрипа двери. Стуча сапогами, вошел немецкий солдат — тот, прежний, с автоматом, висевшим на плече дулом вниз. Он вывел ее из комнаты во двор, затем на улицу. Было пустынно на ней и тихо. Конвоир привел ее в какой-то двор, а потом по тропинке обочь картофельника пригнал Свету к баньке, ткнул дулом в дверь. Света вошла, солдат остался стоять у входа, покусывая какую-то травинку.

В баньке тускло горела керосиновая лампа. Навстречу Свете поднялась какая-то пожилая женщина.

— Ты кто такая? — спросила она, вглядываясь в ее лицо. — Русская?

Света промолчала.

— Значит, это для тебя велели протопить баньку-то? — она покачивала головой, не то с осуждением, не то с одобрением, и вдруг нахмурилась и буркнула злобно: — Ишь, каковы собаки, даже грязные делишки свои чисто хотят делать. Если не вымоешь, так они и побрезгуют русской бабой, скоты эти.

— Что же мне прикажешь делать? — взмолилась Света, чувствуя свое бессилие, неизбежность того, что надвигалось на нее — срамное, страшное, лишаящее сил. — Разве я по своей воле сюда пришла? Я... я, — слезы душили ее, закрыв кулаками глаза, она слепо уткнулась в теплую, пахнущую дымом стенку.

Баба завозилась, что-то там делая, захлюпала водой, окатывая, очевидно, пол, потом шмякнула ковш в котел и сама заревела, подвывая и причитая, точно на похоронах, и с причитаниями этими, со всхлипами принялась мыть, тереть, окатывать водой безжизненно обмякшую Свету.

В комнате, куда ее привели после бани, горели на столе две свечи. На старый диван было наброшено потертое, но все еще роскошное покрывало — комнате явно

пытались придать хоть какой-то уют. На столе тепло поблескивали, мерцали бутылки и графинчики, а подножие их закрывала голубоватая твердая салфетка. Пока Света рассматривала все это, дверь отворилась и вошел мужчина — в халате, с непокрытой головой, аккуратно причесанные волосы его блестели. С холодноватой, снисходительной улыбкой он посмотрел на Свету, и она узнала в нем того офицера, который велел ее сюда доставить.

— Добрый вечер, фрейлен,— сказал он с легким и четким поклоном, в котором сквозило какое-то пренебрежение, но так была измотана Света опасностью, напряжением всего этого дня, что и сама не заметила, как ответила ему по-немецки:

— Добрый вечер, господин офицер.

— Фрейлен говорит по-немецки? — спросил он и с интересом, другими уже глазами посмотрел на нее.

— Нет, совсем немного. Плохо... учила когда-то,— забормотала Света.

— Если фрейлен позволит, я бы хотел, чтобы мы поужинали вместе. Не возражаете?

Свободно он подошел к столу, изящно, ловко сдернул салфетку с тарелок, и у Светы в глазах пошло кругом от тех лакомств, которые тут были разложены — различные консервы, колбасы, белый хлеб... Она мучительно сглотнула слюну, горло у нее болело — почти два дня маковой росинки во рту не было, а уж о таких яствах она и думать забыла. Запах колбасы, сардин, вина туманил ей голову.

— Какое вино вы предпочитаете? — услышала она из этого тумана далекий голос хозяина.— Я вам налью французского коньяка, прихватил с собой из Парижа.

Машинально, в оуплении каком-то, она выпила, влага крепко обожгла голодный, пустой желудок, и туман вдруг окрасился, засиял теплыми какими-то красками, солнечный мягкий свет окутал ее, и с отдаленной тоской, с отчаянием она подумала, что лучше, проще, когда враг ломит в открытую, грозит оружием и стреляет, как тогда, на поляне, где их нагнали немецкие мотоциклисты и пытались изнасиловать — это лучше. Здесь ее не убивали, не валили грубо на землю, здесь ее угощали по-царски, подливали густой, пахучий, мягкий коньяк, который струился, горячо шел прямо к сердцу и расправлял его, истерзанное, разбитое теми страш-

ными событиями, которые обрушились на нее в полтора этих месяца.

Да, он только угощал, улыбался, был предупредителен и чуточку насмешлив, все проще становился, и нежнее, и доверчивее, и это Свету обескураживало. Она все больше опускалась в какой-то полупризрачный, горестно-сладкий и жутковатый мир, тем жутковатый, что все реальное в нем приобретало зыбкие, нереальные очертания, смещавшие чувства, оценки, затемнявшие одни и ярко, болезненно высветлявшие другие.

Ей казалось, что это Николая она обнимает, только у него теперь такое сильное, упругое, большое тело, такие сильные, грубовато-бережные руки. Она заставляла себя видеть Николая, ей нужно было за призраком этим спрятаться, загнать куда-нибудь подальше свою совесть. И задыхаясь, отдаваясь вдруг пробудившемуся из самых сокровенных, нетронутых недр желанию, она стоном теперь уже одним звала Николая, но он пропадал в горячем, почти что бредовом мире, и она обнимала то, что было — сильное, горячее, чистое тело, и от нестерпимой муки, впервые испытываемой женским ее естеством, вся извивалась и билась — пойманно и самозабвенно. В минуты отливов и просветления она твердила с мрачной опустошенностью: ладно, потом, завтра... все забуду... как-нибудь... обойдется...

Утром, когда она проснулась, ей показалось, что она лежит не на кровати, а висит в воздухе, над грешной этой постелью — так легко ей было, такую свежесть ощущала она во всем своем теле. Офицер уже встал, был умыт, причесан, поверх галифе и нижней сорочки на нем был халат. Заметив, что Света проснулась, он отворил дверь и сказал там кому-то:

— Приготовьте завтрак на двоих. И побыстрее!

Когда он надел мундир, застегнулся, одернул и разгладил все и еще раз напоследок прошелся расческой по аккуратнейшему пробору, перед Светой был уже совершенно другой человек. Все, что было ночью, улетучилось куда-то, и казалось, между ними не было никакой близости, никакой тайны, потрясшей, наверное, не только Свету, но и его — она же чувствовала, видела это! Каменное, холеное лицо, пустые, равнодушные глаза — и в сердце ее стал вползать страх.

Заметив этот страх, он с некоторым любопытством посмотрел на нее и принялся аккуратно допивать свой

кофе из маленькой изящной чашечки. Прислуживал им солдат, вчера тащивший Свету в сарай,— ирония судьбы! И Света ядовито, горько улыбнулась, когда он из-за спины полковника подмигивал ей похабно: я, дескать, все знаю.

Когда они уже заканчивали завтрак, в комнату, постучав, вошел молодой офицер — разрешите, господин полковник? — и перед тем как обратиться к нему, бросил на нее откровенный, циничный взгляд, точно на проститутку. Да и кто она была в его глазах?

— Ну, что там за перестрелка была ночью? — спросил полковник, вытягивая ноги.

— Был... налет партизан. Небольшая группа,— глядя на Свету, с заминкой начал офицер.— Одного мы захватили.

— Выяснили, кто он?

— Раньше был председателем сельского Совета в этой деревне. Молчит упорно.

— Не можете заставить заговорить одного человека... Обленились вы,— поморщился полковник.

— Какие будут распоряжения, господин полковник? — шелкнул каблуками молодой офицер.

Полковник собрался было отдать свои распоряжения, но, заметив Свету, ее побледневшее, вытянувшееся лицо, бросил:

— Потом... я скажу вам потом, что делать. Можете идти.

После завтрака он повеселел, встал, прошелся несколько раз по комнате, повернулся к Свете и сказал, что ему очень жалко, но он должен распрощаться с нею — служба! Он благодарит за столь чудесный вечер и постарается вознаградить ее. И, позвав солдата, распорядился выдать фрейлен некоторое количество продовольствия. Кивнув ей легко и четко, вышел за дверь, поскрипывая блестящими черными сапогами.

Она только теперь почувствовала, что просыпается. Временами сердце заламывало так, что головой об стенку хотелось биться. Руки и ноги вязала тошнотная слабость, и, выходя из дома, она пошатывалась, точно все еще была пьяна. Но тут она увидела человека, сидевшего на скамейке,— протрезвела, опомнилась окончательно. Вид у него был страшный. Одна нога вытянута, как деревянная, на бинтах, видневшихся из-под разодранной штанины, густо чернела старая и свежо алела проступа-

ющая кровь. Лицо было лилово, с водянистыми желтыми пятнами, все страшно распухло, отекло. В углах губ и под носом тоже запеклась кровь. Пленный сидел, завалившись на один бок, чтобы раненая нога не ощущала тяжести.

Казалось, что это не живой человек, а мертвец, вздущийся, тронутый уже тленом, но когда Света проходила мимо него, невольно задержав шаг, опухшее веко одного глаза вдруг приподнялось, и ее так и пронзил яростный, раскаленный болью и ненавистью взгляд! Ночью она слышала выстрелы, но полковник ее успокоил: ничего страшного, солдаты со скуки постреливают...

У калитки, где стоял часовой, толпились старики и бабы, были тут и дети — зачем они тут? Кто их сюда пригнал? Навзрыд плакала какая-то женщина с ребенком на руках, к ее ногам прижимался лет шести мальчонка, от страха и ужаса он икал, его тошнило.

Потупив голову, сжавшаяся вся в комок, пылая лицом, она прошла сквозь эту толпу — сама не помнит, как прошла.

— Ишь, не совсем еще стыд потеряла-то... Ишь, покраснела как,— бросила ей какая-то женщина.

— И где берутся они такие-то? Какая мать рожала их?

— Сучка мать ее, и сама сука...

Она не помнила, как шла по лесу, как добрела до шалаша.

...Вся эта история мне стала понятна и близка в той последней точке, когда Света проходила мимо этих стариков и баб, слышала то, что они ей говорили. Сквозь землю нужно было тут провалиться! Но она не провалилась, и позор лег на нее всей своей тяжестью — какая несчастная! Мне было ее очень жаль, я не могла осудить человека за несчастье.

Бедная моя! С щемящей болью в сердце я думала о том, как она проходит мимо изувеченного председателя сельсовета, мимо угрюмой толпы, мимо рыдающей женщины и мальчика, икающего при виде непонятной ему человеческой жестокости, человеческой крови и смерти.

Долго я сидела во власти этих неотступных видений, так измучилась, так все эти события внезапно обрушились на меня, что я на коленях вползла в шалашик и уснула там на грубой хвойной подстилке, моля господ бога, чтобы все это оказалось только сном.



Но сном все это не было. Я старалась что-нибудь придумать, составить какой-нибудь план, вспоминала, как мы шли со Светой, куда шли, какие у нас были намерения, но в голове была такая пустота, что одолеть ее, сколько ни пыталась, я не могла. Что делать, куда идти? И вместо леса я видела огромную безводную пустыню, в которой я вдруг очутилась, и куда бы ни повернула голову, куда бы ни посмотрела, везде одно и то же: голое, безлюдное пространство, тоска.

Так я просидела, не двигаясь, ни на что не надеясь, пока не перевалило за полдень. Тупое безразличие навалилось на меня, все вокруг казалось бессмысленным. И вдруг я ощутила тупую боль в боку. Боль росла, что-то дрогнуло во мне, какая-то произошла перемена, заструились под сердцем, омывая его и поднимая, какие-то упругие токи. Туман в моей голове разошелся и далеко-далеко впереди себя я увидела яркий свет.

Это ОН толкал меня. Мой ребенок...

Со вчерашнего дня он лежал тихо во мне, ничем не напоминая о своем существовании, и вот теперь дал о себе знать. Нет, не одна я осталась в незнакомом лесу, нас двое, мое дитя со мною. И если на саму себя сил у меня уже не осталось, то для него они найдутся. И как бы ни была тяжела моя ноша, я дойду, донесу ее к тому свету, который маячит где-то там, далеко-далеко впереди.

Во мне проснулось желание что-то делать, и на душе постепенно становилось все теплее. Согревали ее и картины далекого детства. Одинокая свечка, мерцающая во тьме широкой степной ночи над свежей могилой матери... Я боюсь, что огонек этот тихий погаснет, и мама останется одна в кромешной тьме, но ласковый голос бабушки Камки успокаивает: «Это ты ее свечка, покуда ты жива, ей свет от тебя и тепло будут идти...» Вот и во мне затеплился маленький огонек, моя свечка, и она погаснет, если я не заслону ее от ураганных ветров, от бури, которая разыгралась на земле... Меня охватил страх, но теперь он был другим, он не подавлял, как прежде, а встряхнул меня всю, породил во мне упрямое желание действовать, искать выход, бороться.

За время наших скитаний я твердо запомнила одно направление — на восток. Днем мы его определяли по солнцу, ночью — по звездам, и как бы мы ни петляли, куда бы ни сворачивали, все равно мы шли в одном направлении. Мы знали, что там фронт, что могут ранить,

а то и убить кого-нибудь из нас или вместе погибнем, но мы, точно рыба на нерест, инстинктивно шли туда, где были свои — красноармейцы, родная земля. И меня теперь одну повело прежним путем, в ту же сторону, куда мы шли со Светой.

2

Мало-помалу немцы утихомирились. Натужно прогудел мотор какой-то машины и стал, чихая, удаляться, и сарай со всех сторон обступила мягкая тишина — ни выстрелов, ни криков, ни рева моторов, даже собаки, надорвавшись в напрасном лае, замолчали. Мне одной было слышно, как с хрустом, звучно жевала сено Зойка. Порой она к чему-то прислушивалась и вздыхала, грубоко и грустно, и опять принималась за свое сено.

В норе сделалось жарко, хотелось выбраться наружу, но я давно научилась быть осторожной. Хозяйка обещала заглядывать ко мне, я слышала, как она, гремя пустыми ведрами, выходила во двор, топталась на крыльце и что-то сердито бормотала себе под нос. Какая-то, видно, опасность была там, тишина обманывала меня. Ну, ничего, придет она доить корову, шепнет, что там, в деревне, и как мне дальше быть.

Помню, как первый раз увидела я ее. Был конец сентября. То желтым рукавом, то красной, нажженной крепкими утренниками шапкой пестрела уже осень. Леса сквозили низами своими, издали, в траве, в поредевшем кустарнике виднелись тропинки и дороги — они были плотно и ярко застланы опадающей листвой. В озерах, болотцах, засыпая, тяжело стыла вода, а воздух, наоборот, делался все тоньше, прозрачнее, стеклянней, и каждый звук, выстрел, крик, собачий лай колот стеклянную эту пустоту, и долго, звучно падали и разбивались осколки его по полянам и обнаженному бурелому.

По ночам, разводя огонь, я все теснее жалась к нему. По утрам иней мукой обсыпал траву, колючим серебром ложился на песок дороги. Спалось мучительно, то и дело приходилось поворачиваться, вставать и подбрасывать в костер сучья, платье мое и стеганка в нескольких местах прогорели, один мой сапог давно уже просил каши.

Все чаще я думала над тем, что дальше пробираться мне невозможно, и, значит, нужно искать какое-то пристанище. Эта мысль застыла в голове, как осенняя тоскливая вода, и вся фигура моя, походка выдавали мою потребность в покое, жилье, человеческой теплоте.

Я вошла в эту деревеньку тесным проулочком. Кое-где топили избы, чернели вырытые огороды, картофельники; тяжелым, тлеющим жаром охватило яблони. Топили, и так после дикого воздуха лесов запахло печным дымом! Чудился мне привкус какой-то пищи — не то мясных щей, не то еще чего-то — меня затошнило, чуть плохо не стало.

Песок на улице был в следах тележных колес. Это успокоило, значит, немцы сюда еще не заходили, они все на машинах, на мотоциклах, на танках. Но на улице — ни души, и пустые дворы точно ждали чего-то, деревня уже жила затаенной, чем-то похожей на мою, жизнью. Я скашивала глаза на окна, приостанавливалась возле ворот и плетней, глядя на двери, ожидая, что какая-нибудь из них отворится и на крыльцо выйдет человек, но двери были плотно закрыты.

И когда я наткнулась на старуху, будущую мою хозяйку — та у сарая размешивала что-то в наклоненном ведре, — я даже опешила слегка, остановилась и молча стала смотреть на нее. Старуха распрямилась. Ей было за шестьдесят на вид — столько же, пожалуй, сколько бабушке Камке. Продолговатое, бледное, с глубокими морщинами лицо ее было угрюмо, дышали холодом ее колючие синие глаза, а в двух горьких складках, охватывавших ее рот, затаилась, казалось, злая усмешка.

Мы смотрели друг на друга. Я видела, что мне лучше всего убраться куда-нибудь подальше. Поднялась неприязнь, мелькнуло: вот уж с кем я, наверное, никогда не смогла бы ужиться. Но я не уходила.

— Ну, — сказала почти что басом старуха, — куска что ль тебе хлеба? Глаза-то голод облупил, — и вдруг голос ее обломился, она закричала тонко, пронзительно, — одни на лице и остались!.. Обезумели люди! Куда с таким брюхом черти тебя несут? Немца хочешь перегнать? Немец с холодной головой воюет, он рассчитал все, а мы только спохватились считать — не поздно? — кричала она кому-то, и вдруг, повернувшись, уставилась на меня, мерцая синими глазами, и опять басом, да

злобно так, с ненавистью протянула: — У-у, ты! Шалава... Не секли тебя отец с матерью, не жалели.

И пошла к дому, чуть на весу держа красные, большие руки. Юбка пусто болталась на ней, великовата ей казалась и старая телогрейка, но она шла крупно, крепко бухая сапогами, словно только что тяжело, вдоволь наработалась. Была она сухопара и жилиста, шла прямо, сразу как-то виделось, что ей много приходилось трудиться, держать на плечах хозяйство.

Хлопнув дверью, она скрылась в сенях, но тут же высунула голову, закричала тонко, сорванно:

— Чего стоишь? Пришла, так заходи давай, приглашеньев особых не жди!

Вздыхнув облегченно, я огляделась. Изба была крыта соломой, придавленной несколькими жердями, за хозяйственным двором с его сараем, крытым погребом, еще какими-то постройками виднелся огород, несколько яблонь, а за кустом бузины пряталась низкая банька — не бог весть какая усадьба, мне попадались крестьянские дворы и крепче, и богаче.

Войдя в избу, я остановилась у порога. Старуха заглядывала в печь, передвигала там что-то. Мне было тяжело стоять, ноги подгибались, не держали, и я, не спрашивая разрешения, тихонько села на длинную лавку у окна. Хозяйка недобро покосилась на меня, вышла в сени, оставив двери настежь. В избе еще не топили, пахло застоявшейся, нежилой горечью, и в нее ввалился свежий листопадный воздух, у меня мурашки обсыпали спину и лицо. Я, кажется, за эти дни, а особенно ночи, так настыла, что меня бы теперь не отогрело даже наше летнее степное солнце.

Печь хозяйка затопила быстро, поставила там что-то варить, замахнула сор в подпечье и, вытирая руки о фартук, повернулась ко мне. По-прежнему были холодны и колючи ее глаза, так же горьки были складки у рта, но что-то в ней дрогнуло, потеплело немного.

— Откуда идешь? — дернула она подбородком на окно, и я кивнула, поняв, про какую сторону она спрашивает — с запада, от границы. — По лесам все чать? Хороша — в лоскуты отделана! И что же, одна все держисься?

Я сказала ей, что потерялась.

— Ночевать у вас... можно? — попросилась я.

— Ночуй, — равнодушно бросила она.

В печи уже что-то булькало, гудел огонь, потрескивали весело дрова. Старуха опять занялась своими делами, ни о чем меня больше не спрашивала, точно меня и не было в избе. Но мне было как-то все равно: ночью в тепле и ладно, а завтра уйду своей дорогой и никогда больше не увижу эту угрюмую бабу, которая говорит то басом, то вдруг срывается на пронзительный крик, точно дверь на ржавых петлях отворяют. Мелькнула, правда, у меня надежда, когда я предложила ей почистить картошку, и она буркнула: сиди, чего там, чай, ты гость у меня сегодня; может быть, оставит она меня? — мелькнула и погасла, как мелькала и гасла она уже много раз за последнее время.

На стол она собрала с привычным проворством, с размаху стуча и гремя посудой. Мы поели пустой похлебки, картошки с простоквашей. Картошка была рассычатая, сахарная, горячая, как огонь, хорошо ее было запивать кислым молоком. Старуха брала картофелины пальцами, словно не чувствовала их жара. Я поглядывала на ее большие, раздавленные и в то же самое время как бы омытые, окатанные работой руки, глаз на свою хозяйку я поднимать не решалась.

— Из каких же ты краев будешь? — вдруг услышала я низкий ее голос. — Каким это ветром тебя сюды занесло?

— Из Казахстана я.

— Вон оно что... Далеко это.

— Очень далеко! — вырвалось у меня, и глазам моим почему-то стало горячо. — Очень, — добавила я тише. — Муж у меня командир, только поженились.

— Так, так, — кивала она головой.

Сама не знаю почему, но я все рассказала. О том, как мы поженились с Касымбеком и жили в военном городке, как ехали эшелонам, а потом шли на восток наши женщины, как я рассталась со Светой... Нечего ей было только рассказывать о том, как шла я одна. Сама не знаю, как я шла, как уцелела за два эти месяца. Она и не расспрашивала, посмотрела только дружелюбнее, молча принялась стелить мне постель.

— Устала небось, — сказала она, — ложись вот иди, отдыхай... Ноги то сдохли небось в обуви.

Так мы с нею познакомились. Она узнала, как меня зовут. Помню, как я пыталась выговорить ее имя и отчество, она слушала, усмехнулась:

— Ты моего отца Карасином называешь, а я Евдокия Герасимовна. Зови-ка ты меня проще: тетя Дуня, и вся я тут для тебя буду.

И когда утром, после завтрака я стала собираться и спросила, какая следующая деревня от них на восток и есть ли там немцы, она вдруг закричала:

— Куда ты пойдешь? Какой тебе еще восток?! Ты глянь на себя, какая ты!.. Тебя либо волки задерут как паршивую овцу, в лесу где-нибудь, либо немцы подстрелят — понимаешь ты хоть это?! Пойдет она, ишь, резвушка какая! Аль ты думаешь, на мне креста нет? — скрежеща, возносился ее голос все выше.— Или я на снег тебя рожать отпущу? Нет, стой, погодь, мы еще человеческий образ-то не потеряли!.. Сиди тут и нос наружу не высывай. В нашу деревню прямо не заедешь, немца еще не было. Может, даст бог, обойдется...

Я готова была упасть перед нею на колени, стала осыпать старуху, какие могла только выговорить, благодарностями, но она меня одернула сердитым басом:

— Думаешь, мне в радость, что ты у меня остаешься? Гляди, время какое свалилось!..

Прокричав тогда мне все это, она замолчала, и замолчала надолго, словно мы поругались с нею, и она, по крайней мере, на меня в обиде. Это меня поначалу угнетало, но вскоре я поняла, что просто у старухи неуживчивый характер. Вот и живет она поэтому одна. К счастью, тетя Дуня почти все время возилась с короной, курами, свиньей, они требовали неустанных забот.

Все чаще я задавалась вопросом: почему она живет одна? Где ее родственники, дети? Может быть, от болезней или от голода поумирали когда-то? Сама она ничего мне об этом не рассказывала, а спрашивать боязно. Спасибо, что приютила, чего мне соваться со своими расспросами? Но спустя какое-то время я заметила, что она, нажарив пирожков, наварив яиц, набив в комок масла, собирает узелок и куда-то его несет. На базар? Нет, так любовно на базар узелок не собирают, не увязывают с таким старанием. Да и не находишься туда каждые два-три дня.

Мое дело теперь лежать на широкой русской печи. Вечером, когда печь протопят, становится даже жарко, мне хорошо, я отогреваюсь, с содроганием вспоминая свои ночевки в лесу, пробуждения у потухшего костра, когда земля вокруг вся в инее и тонким кружевным

ледком застеклена вода у берега какого-нибудь ручья. Мне хорошо — в тепле и покое, но вот почему-то не спится. Я стараюсь ни о чем не думать, не загадывать, как пойдет дальше моя жизнь. Да и что тут думать, когда впереди — неизвестность?

Порой мне кажется, что связь с прежней жизнью оборвалась совершенно. Аул, родные, бабушка Камка... золотые мои юные годы... Их отнесло в такую даль, что как будто не со мной все это было, не я жила в степи, дышала ее вольным воздухом, а кто-то другой. Но иногда жизнь аула встает перед моими глазами живо и ярко, горит под котлом огонь — варят курт или мясо, мои родичи сидят за дастарханом, едят, пьют кумыс, им весело... Мирные эти картины почему-то вызывают досаду — аул беззаботен, счастлив и забыл обо мне... Господи, как я одинока!

О Қасымбеке я стараюсь не думать, тут виноват один случай, вспоминать который мне всегда тяжело...

Был ветреный день, из тех летних дней, в которые вдруг врываются холод и осеннее ненастье. Серые тучи низко несутся над землей, сеет дождем — то сильно, густо, то одна только водяная пыль, покачиваясь стеклянной кисеей, ползет вслед за тучами. Точно лаком облиты листья деревьев, пластами угнулась посветлевшая трава, а хвоя — вся в тумане мельчайшего дождевого бисера.

Я шла полевой дорогой, уже виднелось село черными горбами крыш, как вдруг неподалеку от него я заметила людские фигуры, двигавшиеся в каком-то бесцельном кружении. Мне и раньше попадались разбитые машины, разлетевшиеся, обгоревшие бумаги, попадались и трупы, но я старалась на них не смотреть. По всему было видно, что недавно здесь прокатился бой. Все небольшое поле перед этой деревенькой было перепахано, взрыто каким-то бессмысленным яростным плугом. Ямы, бугры, воронки, пьяные зигзаги окопов, выглаженные кое-где гусеницами танков. Трудно было представить, что росло на этом поле — рожь, картошка, овес? Или просто был выгон? Местные жители ходили по этому полю и стаскивали трупы к одной большой и глубокой яме. На дне ее какие-то две безликие фигуры, осторожно и зыбко ходя по телам и стараясь не наступать на лица, укладывали трупы рядами, а они валились и валились к ним с какой-то мягкой неуклюжей корявостью, изредка глухо

звякая и цокая то каской, то чем-то еще. И вдруг мне показалось, что несут... Касымбека. Большие смуглые кисти его вяло, с безжизненной неподатливостью цеплялись за рыхлые бугры, черпали ладонями землю.

Я кинулась перед ним на колени. Труп спустили. Жадно и отчаянно я всматривалась в опухшее, грязное лицо и не могла поверить, что это не Касымбек.

— Касымбек? — тряхнула я его за плечо и тут же отдернула руку. — Эй, Касымбек...

— Да русский это, — услышала я голос. — В книжке у него написано: Портнов Иван.

Я посмотрела вверх, откуда шел голос — на меня внимательно смотрели чьи-то глаза, они были цвета серых туч, и что-то текло сквозь эти глаза из этой жизни — в ту, иную, куда уплывали с этого поля один за другим погибшие красноармейцы. Мне показалось, что эти глаза смотрят на меня так, словно я тоже уплыла в небытие. С трудом я поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла куда-то. Мне вдруг показалось, что земля стала двигаться и убегать из-под моих ног, и чтобы не упасть, удержаться на ней, я села, а потом прилегла на сырой, пахнущий гарью и кровью песок и запустила пальцы в рыхлую его мякоть...

— Сомлела, — издалека донесся до меня чей-то голос.

— Нехай полежит, отойдет.

— Сама-то чисто упокойник — черная да страшная.

— С киргизов она, видать, не тутошная. Касымова все звала какого-то, мужа, видать.

— Осторожнее вали, — услышала я вдруг женский голос, из-за горизонта уже доносившийся.

И там же, за горизонтом, ответил ему кто-то равнодушным баском:

— Ничего, им теперь не больно, им теперь все равно...

...Каждый раз, когда вспоминаю о Касымбеке, я прохожу через то поле — мучительно это, но ничего с собой поделывать не могу. И настрадавшись понапрасну (как будто он был виноват в этом), я начинаю думать о прошлой нашей с Касымбеком жизни нехорошо. Это он, кажется мне теперь, поломал мою судьбу.

Понемногу я стала приходить в себя — отоспалась под крышей, отогрелась. Проста и груба была наша пища, но после голода, нищенских кусков, ворованной картошки она показалась мне сладкой. Пустые похлебки, щи, каша, а больше всего картошка с молоком, с пос-

тным маслом — первое время не верилось даже, что ем по-людски наконец, и счастливые слезы закипали в глазах. Я наклонялась над миской, стараясь, чтобы старуха не заметила их. Заметит — прикрикнет.

Она все чаще стала покрикивать на меня, заставляет слезать с печи, выводит из тупой дремоты — чего сидишь, не барыня, мети избу, топить подсобляй, за яйцами, за мукой в сени пошлет: шевелись, дескать, больше.

— За двоих ешь, — наставляет она басом, — он-то тебя уже сосет, изнутри сосет, знаю. Ему только давай теперь, подкидывай погуще.

С малых лет я не умела людям смотреть в глаза, а перед этой женщиной, в руках которой оказалась моя судьба, первое время я совсем как-то оробела. Она только собирается сказать что-нибудь, а я вся испуганно уже напрягаюсь, точно вот-вот она меня ударит.

Но постепенно стала сживаться со старухой. Исчезла моя скованность, сама уже бралась за какое-нибудь дело. Варила иногда обед, готовила ужин, мыла посуду, стирала. Работа спасала от воспоминаний, от тревожных, тяжелых дум и еще давала мне какое-то право на кусок хлеба в этом доме, на приют под его соломенной кровлей.

Так я прожила у старухи около месяца, а может быть и больше, трудно вести счет времени, когда сидишь безвылазно в четырех стенах, да и вся деревенька жила «безвылазно» — мы ничего не знали ни о нашей армии, ни о немцах. Странная какая-то была пора, неподвижная. И только природа не останавливалась, там все шло своим чередом: шли дожди, налило кругом луж, облетели листья, а леса как бы осиротели, сбились теснее в кучу, туманясь коричневатым сумраком в голых ветвях.

Но вот выпал снег, в избе стало как бы просторнее, и у меня на душе посветлело. Я подошла к окну — часто сижу теперь возле него — снег падал ровно, тихо. На следующий день все дремало в сонной белизне. Потом снова закружились редкие, крупные снежинки, постепенно снегопад усилился, потемнело от белых крыльев вго. Я глядела на него, на мягкий влажный снег начала зимы. От окна отходить не хотелось — так он сладко баюкал, соединял меня с детством и с прошлой, и с будущей жизнью...

А на следующий день вдруг проглянуло солнце. Все засверкало, загорелось голубоватым морозным пламе-

нем, слепило, точно стояла уже матерая, всевластная зима. Раздвинулись, яснее стали пространства. Деревня беззащитно открылась вдруг чернотой своих дворов, и почти весь день пуста была ее улица. Вон кто-то везет сено по далекому пригорку, окаймленному лесом. Не видать следов на вчерашнем снегу, лишь следы старухи отходят от нашего дома и вливаются в узкую, кочковатую тропинку.

Неожиданно мой скучающий взгляд наткнулся на какого-то мужчину. Сердце почему-то екнуло, мне показалось, что человек этот слишком неторопливо идет посреди улицы, голова у него не опущена, не втянута в плечи — подозрительно свободно он шел, и на рукаве у него светлела белая повязка. Полицай! — ахнуло все во мне, я отпрянула от окна: человек с белой повязкой на рукаве свернул к нашему дому.

3

Человек свернул к нашему дому, увидел на двери большой черный замок, но не ушел сразу, а, потоптавшись, заскрипел по молодому снежку к окну. Я шмыгнула в сени, боясь, что он заглянет сквозь стекло в избу и увидит меня. И долго стояла там, дожидаясь, когда он уйдет.

Вечером я рассказала об этом госте старухе, и тетя Дуня заметно встревожилась. Судя по тому, как вынюхивал все вокруг полицай, он сюда придет еще раз. Береженого бог бережет, решила старуха и спрятала меня на печи, заложив старым одеялом, из которого лезла вата, и еще каким-то тряпьем.

И точно, вскоре кто-то по-хозяйски, требовательно постучал в дверь. Тетя Дуня не спеша прикрыла мой закуток занавеской и пошла ее отворять. В комнате при слабеньком свете керосиновой лампы было сумрачно, а у меня тут совсем было черно.

В сенях кто-то бухал сапожищами, обивая снег, и звучным криком, точно был рад встрече этой, разговаривал с тетей Дуней.

— Евдокия!.. Герасимовна! Гости к тебе, принимай давай.

— Это что еще за гость — среди ночи? — неприязненно сказала тетя Дуня.

— Да кто ж теперь выбирает — день сейчас или ночь? А потом: днем ты дома не сидишь, вот какая штука, — гудел басом гость.

Затаившись, я не смела даже шелохнуться, и только по звуку голоса, каменьями скатывавшемуся из-под самого потолка, определила, что это был человек высокого роста.

— Ну, проходи, незваный гость, — насмешливо пригласила тетя Дуня. — Раньше говорили, незваный гость хуже татарина, теперь, наверно, будем говорить, хуже немца.

— Ты того... Чего мелешь, чего несешь, бабонька?! — лениво, но с угрозой прогудел бас.

Тетя Дуня промолчала. Я напряженно вслушивалась, пытаюсь угадать, что происходит там, внизу, вспыхнули ли холодным гневом синие глаза старухи или же она испуганно опустила голову. Тишина опасно затягивалась.

— Я тебе скажу, Герасимовна, если ты еще не знаешь... большевики-то давно дали деру. Нету их тут, нема, — миролюбивей заговорил полицай. — А то, что ты ляпнула тут, я не слыхал. Мы люди свои, да... А все же будь осторожней с такими словами. Сурьезные они. Кто другой на моем месте...

— А чего же ты сам не дал деру? Не ты разве когда-то был самым неугомонным большевиком? — не выдержала опять старуха.

Полицай даже опешил.

— Да ты что?.. Ты знай, что говоришь-то!.. Все знают, я в партии энтой не состоял. Правда, был в группе сочувствующих, этот грех за мной. Но в партию я не вступал! Чист я, тут мне нечего скрывать.

— А ишо и другое известно, каким ты ярым активистом был! Не ты кричал, что надо сничтожить всех кулаков, и заставлял кровавыми слезами плакать, а?!
Вспомни!

— Тю, когда это еще было!.. Вспомнила, гляди-ка ты...

— А после не ты отобрал у людей все до последней курицы, оголил народ да еще и драл горло при этом: «Уничтожим частную собственность; все будет общим!..»

Чувствовалось, что старуха крепко осадил этого типа. Он топтался у порога, половицы скрипели, постанывали под его сапогами. Потом он тяжело, вразвалку,

прошел к столу, сел на лавку — лавка охнула, скребнула ножками о пол.

— Ладно, ладно, Герасимовна. Чего ворошить старое?

— Оно еще не состарилось, молодое, а ты вот антихристу Гитлеру служишь.

— Полегче на поворотах, бабка, говорю, — «гость» начал приходить в себя. — Сейчас за оскорбление фюрера могут знаешь чего? То-то! И потом... Ты меня не пужай, не надо. Я прошел проверку. Мне доверили, в полицию взяли, а туда не каждого берут... Ну, был я активистом. Но разве большевики оценили мой труд? Кем я стал? Конюхом! Это, по-твоему, как? Обидно мне или это сквозь меня прошло?

— А немцы оценили?

— А ты что, слепая? Гляди, кто я такой теперь, на какой должности числюсь. погоди, форму дадут, это... аки... акипируют, да! У них порядок. Нет, Герасимовна, наше времечко только теперь и настало. — Полицией становился все веселее и веселее. — У прежнем нашем райцентре сейчас открыта немецкая комендатура. Отсюда ва всем народом управлять станем. Во всех деревнях посадют начальников — вот все как возьмут, в кулак! Я разговаривал с самим господином комендантом, это тебе не «граждане», не «товарищи», сказал — закон!..

— А ты что, немецкий знаешь? — поддела его тетя Дуня.

— Немецкий? Дура! Переводчик там. Светлая такая бабенка, ничего из себя, видная. Я такой в наших краях раньше не встречал. Господин комендант сказал: ладно, прежние твои ошибки мы прощаем. А напоследок даже по плечу меня похлопал: «Ты, говорит, Усачев, человек нам нужный». А? Вот тебе и Усачев — нужный человек!

То ли он был пьян, то ли кружила ему голову радость и гордость, но Усачев никак не мог остановиться и грохотал, как пустая телега, покотившаяся с горы. Я никогда не видела этого человека, но странно, он кажется мне давно знакомым, где-то я слышала такой же голос.

— Господин комендант сказал: мы тебе верим, Усачев. Ты наши глаза и уши. Поняла? Собирай, говорит, вокруг себя надежных людей. И чего бы ты не сделал против чуждых нам элементов, мы дадим тебе полную власть! Слышь, так и сказал, да. «Мешать тебе не бу-

дем, дадим полную власть»,— ну и подчиняй народ, руководи им. Вишь, как оно повернулось-то, Герасимовна?

— А если завтра Советская власть возвратится? — тихо спросила она.

— Чево! Советская власть? — насмешливо протянул Усачев, но посерьезнел, сказал веско, запальчиво: — Этого не бойся, Герасимовна. Гарантирую!

— Ну а все-таки...

— Об этом не беспокойся, сказано — брось даже думать! Сейчас германские войска прямым ходом уже до Москвы дошли. Седьмого ноября сам Гитлер собирается принимать парад на Красной площади.

— Что ты плетешь? — закричала пронзительно тетя Дуня.— Язык твой помело!

— Не ори! Не я плету...— Усачев помолчал как бы в обиде.— Немцы — народ аккуратный. Они зря брехать не станут, чтоб ты знала. А то — «плетешь»...

Усачев зашумел одеждой, потом, потянувшись через стол, стал плямкать губами, прикуривая от лампы и выкручивая фитиль, чтобы прибавить огня, а прикурив, увернул его бережливо, и сумрак опять сгустился по углам. И пока он прикуривал, пыхтел, я успела повернуться и высвободить затекшую руку.

— Во, сигарку курю,— говорил между тем Усачев тете Дуне,— ничего, продукт деликатный, мягкий, а меня... только... с этого дела... кашель, холера, бьет,— и он надсадно закашлялся, а я уж не шевелилась, лежала как мертвая. Давно я ничего не слышала о наших войсках, все отступавших и отступавших в глубь наших земель. Неужто немцы и вправду дошли до Москвы? Мне стало трудно дышать, точно на грудь навалился камень, воздух с натугой сипел в горле, мне его не хватало, и я едва удерживалась, чтобы не откинуть одеяло и не высунуть голову наружу. А тут еще один за другим последовали удары по стенкам живота, и мне казалось, что они могут быть услышаны в напряженной, прямо-таки засадной тишине дома, и я торопливо прикрывала бока ладонями. А полицай расселся и не думал уходить. Ему еще охота поговорить, потешить себе душеньку вдоволь.

— Я тебе так скажу, Герасимовна. Деревня наша на отшибе. Долгонько мы жили без власти, а это никуда не годится, так? Теперь немцы наводят порядок. А я ж

на должности. Я должен опираться на таких надежных людей, как ты. Так сказал господин комендант.

— С каких это пор я стала «надежной»? — резко спросила тетя Дуня. — Ты меня давай-ка не путай. Нашел тоже «надежную».

— Ладно, ладно, дурочку-то тоже не строй. Именно ты надежная и есть. Не ты разве потерпела от Советской власти? Либо забыла уже Павла Дмитриевича?

— И Пашку ты сюда не путай, — еще строже и настойчивее сказала тетя Дуня.

— Как это не путать? Ишь ты!.. Ладно, если жив, вернется скоро Павел Дмитриевич, тогда другой пойдет разговор. Уж он-то вилять не станет, научили его, прошел этот самый ликбез.

Я насторожилась. О каком Павле Дмитриевиче ведут они речь? Видимо, он человек старухе близкий. Говорит «вернется», а потом эти намеки — слишком они откровенны, наглы, похоже, был за что-то осужден этот Павел Дмитриевич? Хозяйка мне ничего не рассказывала о нем. Суровая, неразговорчивая, безостановочно делает она домашние свои дела и не делает даже, а точно ломает их, насмерть одолевает — так истова она во всем. Не женский у нее характер, у нее характер изработавшегося мужика, который держится не силой, а жилами одними, духом затвердевшим своим. Не было у нас с нею обычных женских разговоров. Она все больше молчала, была нелюбопытна, я тоже не навязывалась со своими разговорами и расспросами... Что же это за тайна у нее обнаружилась? Сама не знаю почему, но было неприятно узнать о ее существовании, чем-то меня покорибила эта неожиданно приоткрывшаяся завеса.

А Усачев между тем продолжал скучно наслаждаться:

— Сейчас у меня власть большая, Евдокия Герасимовна. Я много теперь чего могу. Если что будет нужно, ты скажи. Я для своих людей ничего не пожалею. Мне тоже ведь одному нельзя, не резон.

Где. Ничего мне не надо! А если в тебе доброты не впрокорот, ты помоги бабам, мужья которых на фронте, — усмехнулась старуха.

— Ох-хо-хо, — расхохотался Усачев, — ох, уморила, старая. Ну, скажет так скажет!.. Выходит, я должен помогать семьям красноармейцев? А? Так выходит? Не-ет, пусть они спасибо скажут, что их пока не трогает

ют. Указаний пока не было. А там это как еще повернется, как еще посмотрят на это дело.

Хозяйка молчала, и молчание ее было неприязненным, холодным, любой бы заметил это, но полицай не обращал на старуху внимания, все катал слова, точно камень в пустой бочке, все сыпал ими, даже когда встал уже и пошел к двери, они поволоклись за ним грохочущей цепью. «Гость» был так велик, так утробен был его голос, что, казалось, один он до отказа набил избу, так что повернуться, двинуть рукой было нельзя из-за тесноты. И едва он ушел, сразу стало свободней, ощущение простора явилось, сам воздух, кажется, вернул себе прежнюю легкость.

— Ну, спи спокойно,— сказала мне тетя Дуня и сама легла спать, звучно, трубно дунув в стекло лампы.

Я не могла уснуть. Мысль о том, что я где-то видела Усачева, все больше и больше овладевала мною, властно ворошила, потряхивала прошлое, но сколько я ни копалась в памяти, как ни перебирала события, так ничего припомнить и не смогла. И уже на зыбкой грани сна и яви откуда-то наплыло... Такой же властный и самовлюбленный... хамоватый, напористый, здоровый... Пстой, пстой...

Господи, это же Турсунгали!.. Это же он мучил меня, то прячась в Усачеве, то выглядывая из-за его спины, то вдруг сливаясь с ним совершенно и становясь одновременно и тем и другим в одном лице,— поди его различи! Голос Турсунгали был пожиже, а роста, наверное, такого же. В нашем ауле даже детей им пугали. В ту пору мне было уже лет восемь, не маленькая вроде бы, и я пугалась, когда говорили: «Турсунгали идет». Впрочем, его боялись не только дети. Он никогда не въезжал в аул по-человечески, шагом, а бешено врывался на скаку, нещадно нахлестывая коня, вздымая пыль, будоража собак. Люди выскакивали из юрт, напуганные суматошным топотом копыт, ревом разогнанной скотины и отчаянным злобным лаем собак. И все уже знали, все видели, кто ворвался в аул, без нужды переполошил, сломал мирный его уклад,— все зависели от Турсунгали, а потому спешили принять повод его коня, пока долговязый всадник неуклюже с него слезал, услужливо предлагали:

— Совсем коня загоняли. Надо бы прогулять его, пока не остынет.



— Эй, эй! — кричал сердито Турсунгали какому-нибудь мальцу. — Ты не садись коню на спину. Прогуливай пешком.

Тихонечко, в рукав чекменя, кое-кто посмеивался: «Вот голова, — не садись, говорит, коню на спину, а на что же еще коню садиться-то?»

Мне казалось, не было начальника более сильного и грозного, чем Турсунгали. Я не знала его чина-звания, какую должность он занимает. В народе его называли «активистом». И часто огоньком сжигающим несло: вон едет Турсунгали-бельсенди, что значило активист. И он влетал на взмыленном коне, точно волки за ним гнались, осаживал у какой-нибудь юрты и чуть что начинал вгонять людей в страх безумным криком: «Я работаю бельсенди! Ты знаешь, кто такой бельсенди?!» У Турсунгали немало было и других слов, заставлявших людей дрожать, покрываться ледяным потом. Я не понимала их значения, но они из-за своей устрашающей силы остались в моей памяти. «Я тебя в одиночку упрячу», «Сгною», «Выселю». Были слова, понятные мне, и оттого казались они еще ужаснее. «Я тебя уничтожу! Вырублю под корень! Отправлю в Каркаралинские края!»

И думалось, что он и впрямь зарубит человека топором. «Каркаралинские края» тоже звучало страшно. Несколько лет назад наших баев загнали в эти невиданные и неслыханные дали. С тех пор народ боится «Каркаралинских краев».

Не раз, бывало, прискачет он, если никто не выйдет принять у него поводья, то, бросив взмыленного коня, сузив до черных щелей глаза, Турсунгали широко расставлял ноги, упирался руками в бока и начинал кричать, смешивая казахские слова с исковерканными русскими.

— Куда вы все запропастились, понимаешь, а? Есть тут кто-нибудь, ах вы мелочь-травка? Сам бельсенди приехал, а они и ухом не ведут, а?!

Спохватившись, кто-нибудь торопливо выбегал ему навстречу, едва успев сунуть одну руку в рукав чекменя. Суется, приниженно посмеиваясь и покряхтывая, и мой отец порой спешил на эту ругань.

— Почему не выходите? Я что, коня на улице должен оставить? — орал на них Турсунгали, брызгая слюной и сатанея от собственного крика. — Не видите, что опырым

балнамошный приехал? Я вам покажу, узнаете вы Турсунгали!

— Господи, Турсеке, вы же на русском языке, как речка журчите. Мы же вас не пойдем. Вы бы уж как-нибудь по-казахски,— говорили ему, вываживая его коня, а самого активиста под локотки ведя в юрту.

— Ох, Турсеке, вроде вы и не уезжали далеко от аула и где вы так много русских слов выучили? — нарочно удивлялись у нас, стараясь пустячным каким-нибудь вопросом унять этого крикуна.

В пору моего детства в нашем ауле никто не знал русского языка, и не только мне одной, а многим, наверное, ребятишкам и взрослым русский язык Турсунгали казался значительным, дававшим ему какое-то право ходить в начальниках.

— Я ездил сгребать снег с железной дороги. Там я русскому языку и учился, а не ворон ловил,— самодовольно отвечал Турсеке.

— Из нашего аула тоже ездили снег сгребать. Но этот русский язык не пристал ни к одному из них. Видимо, и он знает, какому человеку открыться, язык этот, а?

— Э, разве власть в руках не заставит выучить русский язык,— говорили меж собой люди.— Вот в чем тут все дело: власть — она учености требует.

Турсунгали был долговяз и тонконог, с выгнутой вперед грудью и откинутой назад маленькой головой — под ноги он не смотрел, зорко устремлял взгляд поверх голов людей, выставляя вперед стесанный подбородок. Лоб у него тоже как бы стесан, снесен неумелой рукой. Один только длинный нос был прилажен к этой головенке основательно, это делало его похожим на козла, и голос-то у него блеющим каким-то был. Но он считал себя видным джигитом, умным:

— А это для чего? Все у меня здесь лежит,— постукивал он пальцем по своему черепу, обтянутому шероховатой, лишайной кожей.

Турсунгали собирал с людей налоги. Тех, кто ему чем-нибудь не угодил, он обкладывал налогами по несколько раз. Он не вел никаких записей, не было у него ни бумаг, ни тетради, однако его это несколько не смущало, бесцеремонно тыкал он то в одного, то в другого пальцем: «Ты столько-то рублей заплатишь, а ты столько-то».

— Ойбай, я же платил в прошлый раз, совесть у тебя есть? — начинал было возмущаться один из обложенных двойным налогом, но Турсунгали властно, раздраженно обрывал:

— Знаю, в прошлый раз ты заплатил тридцать рублей, а теперь заплатишь сорок. Все лежит вот здесь, понимаешь,— постукивал он указательным пальцем по своему плоскому лбу.

Нас удивляло, как это в такой маленькой головенке умещается столь много всего: фамилии, цифры, кто платил и сколько платил, кто совсем ничего не платил и платить не собирался, а кто и по третьему разу рассчитывался с Турсунгали, а ведь не только к нам наезжал он, в других аулах тоже собирал налоги и там всех хранил в неказистой на вид головенке, а помимо всех этих имен, рублей, обстоятельств семейной и аульной жизни держал он еще стесанным своим лбом русские слова — и все важные, страшные,— как это все ему удавалось?

Края карманов и пальцы Турсунгали всегда были измазаны чернилами. Для нашего аула в ту пору пятна чернил на пальцах являлись свидетельством непревзойденной учености,— в этом, наверное, и крылся секрет — в чернилах, в них была сила его.

— Неси налог. А я печать поставлю,— говаривал Турсеке.

У нас дома лежало несколько листочков с печатью Турсунгали. Однажды я своими глазами увидела, как он ставил печать. Сначала важно извлек из бокового кармана пузырек с чернилами, затем снял висевший на шее наподобие талисмана тряпичный мешочек и вынул из него прямоугольную дощечку величиной с ладонь. На одной стороне дощечки были вырезаны арабские буквы. Намочив чернилами тряпичную пробочку, Турсунгали помазал буквы на дощечке, приложил ее к бумаге, и на ней четко отпечаталась арабская вязь, а пальцы владельца печати стали синими. Тогда я поняла, что края карманов и пальцы Турсунгали синие вовсе не от учености, а от неряшливости.

— Турсеке, какая у вас чудесная печать, разрешите-ка взглянуть,— попросил отец и стал деликатно и в то же время восхищенно разглядывать дощечку.— Господи, а ведь чтобы буквы легли на бумагу правильно, нужно вырезать их наоборот. Что за мастер их вам вырезал?

— Был там один... Зейнолла, мастер, конечно... я освободил его от налогов, пусть вырезает печати! — самодовольно хохотнул Турсунгали.

— Мы с Зейноллой вместе учились у муллы. Руки у него искусные. Я вот не то что вырезать, а прочесть эту обратную запись не могу, — сказал отец и по складам разобрал слова: — «У гражданина, кому выдана сия расписка, я получил положенный налог. Турсунгали Даутов». — И прочитав, вытирая вспотевший лоб, восхищенно посмотрел на нос Турсунгали и бережно, почтительно вернул ему печать.

Турсунгали становился веселым, жизнерадостным, когда наедался до отвала. В такие минуты был он не так страшен, как обычно: узкие глазки его совсем склеивались в блаженной улыбке, улыбка маслила его землисто-загорелое лицо, и оно начинало лосниться, как смазанная жиром сыромять. Он говорил один — никому рта не давал раскрыть и раньше всех сам смеялся каждой своей шутке, прямо-таки заливался младенческим каким-то смехом — икоточным.

— Хорошая, оказывается, штукавина — равенство! Вот получил я равенство и что сделал, а? Этот недостойный род малаев, помните, как измывался над нами? Вспомните, как отнял у наших олжабаев вдову, а? И вот, когда среди олжабаев не нашлось джигита, способного отомстить за это, не я ли расквитался, а? Не засунул ли я две ноги малаев в один сапог, а? Э-эх, как только получили равенство, многим я наступил на хвост, правильно я говорю? — горделиво задира л нос Турсунгали. У него была такая привычка — переспрашивать, правильно ли он говорит, с наслаждением, радостно делал это, точно кусочек сахара обсасывал, — правильно я говорю, а?

Бабушку Камку Турсунгали почему-то невзлюбил. Стоило им встретиться, как тут же вспыхивала между ними ссора. Турсунгали был напорист, криклив, всевластен; ему удалось в конце концов напугать и бабушку Камку.

Откопал он одну зацепку в родословной ее. Она родилась от дочери бия Жетеса из рода Жакаим. Мы гордились этим прежде. В народе немало ходило крылатых слов, сказанных некогда бием Жетесом. В моей памяти особенно отчетливо сохранился один из рассказов о нем. В стародавние годы, после того как был схвачен зна-

менитый батыр Бекет, выступивший против белого царя, два бия племени Шекты Жетес и Нияз сошлись, чтобы рассудить распри между родами Жакаим и Тлеукабак. Жетес и Нияз немало наслышаны были друг о друге, но свидеться довелось им в тот раз впервые. За день до начала переговоров они сошлись в одной юрте. Нияз был человеком крупным, толстым, с цветущим лицом, а Жетес — маленький, сухопарый и угольно-смуглый. Нияз, старший годами, решив сразу же смутить Жетеса, вдруг кольнул его.

— Жетес, голубчик, говорят, есть птица буревестник, голос у нее небеса раскалывает. А с виду, говорят, она маленькая, тощая, высохшая вся, — лукаво и ласково улыбаясь, бросил он.

Но Жетес-би тут же подхватил:

— Да, Нияз-ага, вы сказали верно. После того как был схвачен Ерназар Бекет, совестливые шектинцы похудели, а бессовестные потолстели.

Всегда, бывало, в конце этого рассказа бабушка Камка вздыхала и добавляла: «Были негодники и среди наших тлеукабаков. Слух есть, и они помогали схватить своего сородича Бекета-батыра. Стыдно было за них предку Ниязу, совестно. Потому он и признал себя побежденным. Он сказал: «Я сдаюсь, пусть завтрашние споры рассудит сам Жетес-би... А нынче разве остались люди, которые склонили бы голову перед мудрым словом? Мельчает народ, мельчает».

Обычно, когда хотели похвалить бабушку Камку, говорили: «Разве не подтверждает каждое ее слово то, что она внучка бия Жетеса», «Как же ей быть обыкновенной, когда в ее жилах течет кровь бия Жетеса». И вот теперь родство, которым бабушка гордилась и дорожила, обернулось бедой для нее.

Однажды Турсунгали потребовал у моего отца его коня Рыжего. Вечно носившийся сломя голову Турсунгали в несколько дней сбивал лошадям холки, безжалостно загонял их. Отец растерялся, не зная, что ответить нахрапистому «активисту», мялся, кряхтел, озирался жалобно по сторонам. Не выдержав, в разговор вмешалась бабушка.

— А ты помолчи, старуха. Ты хоть знаешь, кто ты такая есть? — набросился на нее Турсунгали.

— А кто же я такая? — удивилась бабушка Камка.

— Ты... ты потомок классового врага! Правда, что

ты внучка бия Жетеса? — придвинулся к ней носом активист.

— Верно. Зачем мне это скрывать? Слава богу, он не родил меня от вора, как тебя.

— Мой отец был вором?! Если мой отец был вором... — заикаясь и дергая головой, забормотал Турсунгали, но снова взял начальственный тон. — Если мой отец был вором, то он боролся с классовыми врагами! Отбирал скот у баев, правильно я говорю?

— Господи, где же было Дауту трогать скот сильных. Он же был мелким воришкой, крал единственную лошаденку да тощих козлят у бедняков. Ох, не зря же говорят, подонок может заставить оскорбить его же собственного отца. Вот и пришлось помянуть лихом покойника из-за этого, прости господи, пустоплета.

Но Турсунгали не был бием Ниязом, не ценил слова, они от него отлетали, как сухой овечий помет — не оставляя следа.

— Все равно мой отец был бедным, — тупо пяля глазки, заорал он, вертя туда-сюда носатой своей головкой.

— А разве бий Жетес был богачом?

— Все равно бии и баи принадлежат одному классу. А классовых врагов что? Их надо уничтожать! Под корень!.. В Каркаралинские края.

— Ну, так иди и уничтожь кости бия Жетеса, которые высохли пятьдесят лет назад, — рассердилась бабушка Камка, побурев всем своим большим лицом от гнева.

— Нет, нет... Мы его... мы его... — стал снова заикаться, трястись Турсунгали. — Мы должны рубить классового врага под корень... рубить все его ветви. Поняла? И ты вот... одна из его ветвей.

Я стояла рядом с бабушкой Камкой, мне показалось, что Турсунгали и в самом деле зарубит ее сейчас, и я со слезами, с криком обхватила ее, косясь на беснующегося Турсунгали.

— Что ты делаешь? Зачем ребенка напугал, окаянный? Нет, его словами не проймешь, — устало, тяжело сказала бабушка и пошла домой, на ходу успокаивая меня.

А на следующий год началась коллективизация. Наш аул был сплошь казахский, почти совсем безграмотный народ многое не понимал. Мы ничего не слышали о

тракторах, комбайнах, о другой технике, которая должна была прийти в наши степи и принести с собой достаток. А Турсунгали — что он мог объяснить? Он нависал над всеми взъерошенной птицей, пугал: «или в колхоз вступишь, или сгною». «Если не вступишь в колхоз, буду считать классовым врагом и засажу». От страха, от необычности наставших времен пошла у темного люда голова кругом, в кружении этом невозможным казалось расстаться с тем, к чему кровью, всеми мозолями приросли, и кто-то стал забивать скот, кто-то продавал... со стоном и плачем. Как же казахам, которые не знали другого дела, кроме скотоводства, остаться без овец, лошадей, коз!.. Мой отец, поддавшись общему этому настроению, хотел было спрятать пару голов, но бабушка Камка запретила: «Этот Турсунгали, он же сын вора, все равно вынюхает, где спрятал. Беды не оберешься, сынок. На миру и смерть красна, как люди, так и мы, перетерпим». А Турсунгали кричал в это время: «Перегиба не допускать, ни копыта не оставлять», — и обобществлял весь скот вплоть до последнего паршивого козленка. И лишь когда ни у кого не осталось ни одного копытца возле юрты, утих крик Турсунгали...

Я только слышала Усачева, самого его не видела. Сама не знаю почему, напомнил он давно забытого Турсунгали. «Разве не ты оголил народ, даже кур у людей поотбирал», — сказала тетя Дуня. Я-то думала, Турсунгали только у нас дуроломил, но, оказывается, и в далекой русской деревне орудовал свой Турсунгали.

«Разве оценили мой труд? Кем я стал, куда меня загнали? В конюхи», — говорил Усачев. И Турсунгали позже устраивался на разные работы, но был он никчем, ничего не умел толком, и пришлось ему в последние годы принять колхозных овец. После того как я кончила четвертый класс, отец, чтобы учить меня дальше, перебрался в райцентр. Приезжая туда, Турсунгали непременно навещал нас. Казахи — народ обидчивый, не зря говорят: «из-за понюшки табаку могут обидеться». Но быстро они забывают даже самую глубокую обиду. Турсунгали, как ни в чем не бывало, улыбаясь по-своему, вваливался к нам, и бабушка Камка не отпускала его, не напоив чаем. Конечно, порой они вспоминали прошлое и даже разгорались, бывало, упреками.

— Немало ты заставил пострадать народ, страху натерпеться, лиха ненужного хлебнуть, а?

— Э, тетушка, что об этом вспоминать!.. Власть, будь она неладна, пьянит человека. Она же как необъезженная лошадь,— косо улыбался Турсунгали. Нос его теперь свисал уныло и покорно, жалко его было, нос этот несуразный.

— Ладно уж нас, но ты оскорбил дух предка моего Жетеса,— незло укоряет бабушка Камка, и в мудрых глазах ее тают льдинки, взгляд смягчается, теплеет — так смотрят матери на непутевых, накуролесивших сыновей,— и с жалостью, и с насмешкой, и с глубокой печалью.

— Да было, все было! — улыбается, опустив голову, Турсунгали.— Говорили, святой человек был бий Жетес, наверное, прогневался, вот теперь и пасу овец.

— От бога все это, от бога,— вздыхая, говорит бабушка Камка.— Так и бывает, когда господь человека, способного пасти лишь овец, делает пастырем народа.

«Оценили мой труд, как же! Конюхом стал»,— говорит Усачев. Турсунгали как будто смирился со своей чабанской работой, утих. Или, может быть, при удобном случае и в нем опять заиграет дьявол? Чужая душа — потемки.

4

В сене, да еще под ватным одеялом, не чувствовался январский мороз. Я согрелась, понемногу успокоилась, стала даже забывать об опасности. Я не вслушивалась, обрывая дыхание, в каждый шорох, не считала скрипящие шаги немцев, не замечая порой, как они громко переговаривались, проходили совсем рядом. Мысли разные, воспоминания нахлынули, потекли ручьем, потом речкой, то быстро несясь в узких берегах, то разливаясь широко и плавно, долго кружась на одном и том же месте, и я не знаю, сон это или забытие, в которое я все чаще, все глубже впадаю в последнее время. Картины беспорядочно, причудливо чередуются, меняя друг друга, и не поймешь, где сон, а где явь. Иногда по ночам мне кажется, что я уже родила и чувствую себя легко. Не знаю, как родила, кого родила — мальчика или девочку, ищу и не могу нигде найти свое дитя, и легкость эта, и то, что ребенок куда-то пропал, наполняют меня таким ужасом, что я кричу и просыпаюсь...

Сегодня мне приснился мой младший брат Жумаш. Видно, я совсем уже перестала надеяться на скорое возвращение в родные края — они перестали мне сниться. Только близкие мои, те, кого уже нет в живых, являются ко мне, и мы молчим. Я вглядываюсь в них, мне начинает казаться, что молчат они потому, что не они, а я мертва, и скорбны они от этого и печальны, и я со стоном просыпаюсь, оживаю среди ночи и долго лежу пластом без мысли, без движения.

Жумаша я увидела все такого же восьмилетнего, только выглядел он усталым и одет был плохонько. Сердце мое подступило к горлу, глаза заволокло слезами. «Жумаш! Жумаш, милый, жив, значит, ты, жив?» Я кричу, задыхаюсь. Но голос мой гаснет. «Жумаш, я же соскучилась по тебе! Слышишь?!» — голос вырвался наконец из моей груди. Но Жумаш молчит, стоит с опущенной головой. Почему он так печален? Так велика моя вина перед ним, что я не могу даже рук протянуть, ни на шаг приблизиться к нему и только издали говорить могу ему бессильные, беззвучные слова.

«Миленький мой, Жумаш, ты... ты такой же маленький, почему ты не вырос?» «Мертвые дети не растут», — вдруг ответил Жумаш и взглянул на меня старыми-старыми и печальными глазами. Какая это непереносимая мука: вот он, мой Жумаш, отчетливо вижу его, но прижать к себе не могу. Между нами какое-то стекло или железная сеть, но это больше, чем стекло или сеть, их невозможно коснуться руками, это тот невидимый, жуткий рубеж, который отделяет этот мир от потустороннего, живое от мертвого, который только в таких вот истерзанных снах, как мои, и является человеку. Я смотрю на Жумаша неотрывно, мне так много нужно ему рассказать, я тоже отделена ото всех, от дома своего железной сетью беды, разорвать которую не могу. Я хочу обнять братишку, вылить в рыданиях всю свою боль, облегчить душу, застоявшееся горе рвется наружу, но не выходит.

Я застонала и разбудила старуху, а может, она и не спала.

— Чего тебе? Тяжко стало, худо? — спросила тетя Дуня.

— Нет, ничего... Сон видела...

— А ты перевернись на правый бок. На левом боку тяжелые сны бывают, — сказала она, вздыхая и бормо-

ча что-то себе под нос.— Спи давай, спи, нечего сны эти... разводить.

Я перевернулась на правый бок и закрыла глаза. Но сон не шел, саднило грудь, а в сердце застряла тупая боль. Я была маленькой, когда умер Жумаш, первое время он часто вставал перед моими глазами, и я то и дело плакала. Спустя год он вспоминался реже, а потом совсем почти перестал приходить ко мне — жизнь повернула круто, на необычную дорогу. Но среди счастливой суеты, новых картин и впечатлений, знакомств и обстоятельств выпадала особая, глубокой тишины минута, когда я вспоминала вдруг о Жумаше. Почему же он покинул меня?

Когда бабушке Камке снился покойник, она говорила, что это дух его обижается. «Сноха мне сегодня приснилась, Узипа. Ох, лицо у нее печальное... Забывать мы стали о твоей маме. Поди, позови Рыжего ишана», — посылала она меня, пекла жертвенные лепешки и просила прочесть поминальную молитву.

Много добрых суеверий ее незаметно поселилось во мне, стали частью моей души. И мне кажется теперь, что дух маленького Жумаша все еще обижается на меня.

...В ту весну мы не бегали на вольном ветру по размякшему, как мокрый сахар, снегу — томились дома. Сумрачно в низеньких казахских зимних мазанках с подслеповатыми оконцами. Мы пытаемся играть в этом сумраке, но игры еще больше удручают нас почему-то.

К широкой казахской печи пристроен очаг, на нем установлен закопченный котел. Он пуст, он холоден. Над ним давно уже не вьется ароматный парок, не булькает варево. Оживает котел по вечерам. Бабушка Камка откуда-то извлекает кусочек замотанного в тряпочку курдючного сала, отрезает несколько тоненьких лепестков. Посмотрев на них с суровой расчетливостью, она бросает их в казан, и мы с наслаждением вдыхаем запах жареного сала. Ноздри щекочет, они трепещут. В груди что-то начинает ныть и дрожать, а по желудку бегают острыми ножками лютый какой-то паучок и начинает стягивать желудок и сосать его. Мы с Жумашем жадно вытягиваем шеи, заглядываем в казан, раз, раз! — шлепает по лбам бабушка Камка. Она стала какой-то сердитой, не замечает наших умоляющих взглядов и,

вместо того чтобы дать нам парочку хрустящих шкварок, махом выливает в казан полведра воды, затем бросает туда пару горстей толокна, мешочек с толокном она крепко завязывает и незаметно от нас снова прячет куда-то.

Похлебка варилась недолго, вскипала разок и готова. Обжигаясь и дуя на ложки, мы торопливо ели. Горячая мутная юшка на какое-то время глушит чувство голода, живот надувается, и на часок-другой обманут.

Что ни день, то похлебка становилась все жиже и жиже, и на светлой поверхности ее совсем перестали поблескивать чешуйки жира. Когда извели скотину, держались немного тем, что выменивала бабушка Камка на свои и оставшиеся от покойной нашей матери серебряные украшения. Но кончились и они. Голодные, мы ждали весну.

Весной в наших краях ребятня ловила сусликов. Шкурки их обрабатывали, сушили, сдавали заготовителям, получали за это кое-какую мелочь и бывали необычайно довольны своим заработком. Прошел слух, что нынче за шкурки будут платить зерном. Отец, взяв с собой Жумаша и меня, отправился в степь. На спину он навьючил скатанные одеяла, у пояса висело и гремело множество капканов. Опираясь на палку, он ковылял впереди нас. Мы с Жумашем тоже тащили на себе узлы. А с порога ободранной, низкой нашей саманухи, держась рукой за косяк, смотрела нам вслед бабушка Камка. Белым было у нее лицо, и смотрела она с какой-то измученной радостью и надеждой на нас.

На первую ночевку мы остановились в небольшом распадке, за холмами, которые мы перевалили. По плоскому дну его свежо желтели кусты тальника, сырые и темные еще по низу, точно в прозрачных темных чулках стояли. На припеках было уже тепло, жарко даже, пахло сухой прошлогодней травой, но от снежных крутых ковриг, сочившихся темной серебряной влагой, отплывал тонкий холодок и ледяным лезвием срезал печное тепло припека и нежно скользил то по лицу, то по рукам.

Иногда кусок снега с шумом, похожим на короткий вздох, отламывался, обнажая сопревшее, коричневое, пронизанное беловато-зелеными жильцами днище свое. Все огромные пространства были залиты солнцем, про-

зрачно дымились голубизной, и дрожало уже молодым гибким стеклом первое весеннее марево.

А к ночи земля подмерзала, хрустел и мягко ломался под ногами сырой бурьян, звучно трещали остатки снега в ложбинах. Ясный вечерний воздух заплывал родниковым холодом. Спать мы укладывались одетые, помещали Жумаша посередине и укрывались всеми нашими одеялами. Но как ни прижимались мы друг к другу, как ни кутались в тряпье, холод пробирал крепко, я мерзла, просыпалась вся закостеневшая, меня ломала дрожь, хотелось, чтобы скорее взошло солнце, и я сердито поглядывала на ночное небо.

Вскоре совсем потеплело. Мы сбросили с себя отяжелевшие телогрейки. Ласковая теплынь невесомо окутала нас, охватила своими материнскими руками. Ко всем внимательна и добра была весна, все ожило, востепенулось, потянулось к солнцу. Степь ярко, празднично зазеленела.

Козлята и ягнята крепили на первой зелени и весело резвились, опьянев от сытости. Мы тоже хмелели на весеннем воздухе и то гонялись за козлятами, то бежали неведомо куда, охваченные какой-то бездумной радостью.

Нынче же в ауле почти не осталось скотины. А в степи, куда мы ушли, широкие пастбища пустовали. Но все же весна остается весной, и мы с Жумашем хоть и не носились, как прежде, но заметно повеселели. Да и ловля сусликов капканами была для нас занятием интересным.

А разделявал их отец. Мы с Жумашем строгали колышки из тальника и натягивали на них шкурки. За три-четыре дня набиралось довольно много. Отец туго набивал сухими, потрескивающими шкурками мешок, отвозил в аул и сдавал. В такие дни мы с Жумашем оставались одни до самого вечера. Однажды мы увидели в сотне шагов от нашего стана собаку. Первым заметил ее Жумаш.

— Смотри, Назира-апа, собака! — закричал он, указывая на нее пальчиком. — Она не укусит нас?

Рослый, матерый серый пес стоял неподвижно и пристально всматривался во что-то. Меня удивило появление его вдали от жилья. Вдруг сердце мое екнуло: уши у этой собаки стояли торчком, в нашем ауле не было собак с торчащими ушами, значит, это не пес.

— Жумаш, это же волк! — сказала я с испугом, почти шепотом.

— Ойбай, настоящий? — прижался ко мне Жумаш. Я шарила вокруг глазами, ища куда бы спрятаться нам.

— Нет, он же так похож на собаку, — с надеждой и страхом говорил Жумаш.

Волки похожи на собак, и этот ничем особенно не отличался, только жилист был и поджар, да и серая шерсть его была не похожа на свалывшуюся шерсть домашних наших собак, а глаже и короче, и весь вид его был диким и каким-то устрашающим.

— А он не такой уж большой. Смотри, он ниже нас, — сказал Жумаш, пытаюсь как-то успокоить себя и меня.

Волк все стоял в прошлогодней, сухой траве, колеблемой ветром. Завороженно я смотрела на него, чувствуя, как коленки у меня дрожат от страха и мороз пробегаёт по коже. Вдруг я вспомнила, что волк боится железа, лязга его.

— Жумаш, ты греми капканами, — быстро сказала я. — А я возьму лопату. Давай закричим вместе и напугаем его.

Жумаш загремел капканами, я стала махать лопатой, мы закричали наперебой что-то отчаянно и затопали ногами, подавались вперед и снова отступали. Но крики и шум его не испугали, он все стоял как вкопанный и смотрел куда-то вдаль.

— Не бойся, Жумаш: если подойдет, я огрею его по морде лопатой, — прокричала я, стуча зубами.

— Я его капканом стукну! — закричал грозно Жумаш, а сам вот-вот готов был заплакать.

Наконец обессилив, мы замолчали. Волк тронулся с места, перешел на легкий бег, направляясь к соседнему холму, и скрылся за ним. Нас он как бы не видел, даже головы в нашу сторону не повернул.

— Назира, он убежал! Он испугался нас! — обрадовался Жумаш, восторженно вскинув вверх ручки.

Вечером, когда вернулся отец, мы с Жумашем, перебивая друг друга, бросились рассказывать ему об всем. Но отец побледнел, забормотал: «Апырай! Апырай!» И все оглядывал, ощущивал нас по очереди, словно не верил, что мы остались живы и невредимы.

— А я совсем не испугался! — расхвастался Жумаш.— Я бы его капканом треснул.

— А я хотела лопатой по морде огреть...

Теперь мы почувствовали себя героями. А отец все никак не мог прийти в себя, суетился все, шарил глазами по земле...

— Ну ладно,— говорил он растерянно,— сейчас волки сыты. Сусликов ловят... Наедаются. Не только на людей, но и на скот не нападают. Но только... бог вас уберег, бог.

Лицо отца осунулось, трясущимися пальцами он пощипывал бороду. Был он напуган сильнее, чем мы с Жумашем, и еле пришел в себя. С тех пор он нас забирал с собой сдавать в аул шкурки.

Что-то новое появилось в характере отца — не только эта жалостливая суетливость, эти встревоженные оглядывания с вытянутой шеей и округлившимися глазами, он сделался жадным.

В сложенных одеялах был спрятан мешочек с толокном — все наши припасы съестного. Да и толокно это было из неочищенного проса, с шелухой, сором. Два раза в день мы из него варили похлебку. Была она такой жидкой, что ничего на зуб не попадало, и мы, целый день бегавшие по степи, все время хотели есть. Но отец и этого толокна бросал в чугунок всего щепотку. Когда мешочек развязывался, три пары сосредоточенных, блестящих глаз жадно впивались в него. Между братом, сестрой и отцом словно змея проползала, возбуждая в них неприязнь друг к другу. Отец сжимался, цепенел, словно кто-то мог вырвать из его рук бесценное это сокровище, искоса поглядывал на нас, но затем, опомнившись, с дрожащей, смутной улыбкой, стыдясь своей слабости, начинал торопливо завязывать мешочек. Однажды Жумаш, не выдержав, взмолился:

— Аке, дай чуть-чуть, ну хоть крошечку дай.

Кто-то горячо и злобно толкнул меня:

— Ну да, ему дай! Я тоже хочу, и мне чуть-чуть дай.

И тотчас же злобно сверкнул на нас глазами отец и закричал сердито:

— А завтра что будете есть? Подохнуть хотите, да? — потом добавил ворчливо, помягче: — Потерпите, сейчас похлебка сварится,— и отвернулся, часто-часто моргая.

Кроме толокна, в тощем мешочке у нас не было никакой еды. Не раз тянуло попробовать мясо суслика — жирное, похожее на зайчатину, но какой-то страх и непреодолимая брезгливость останавливали меня. Есть мясо суслика — грех. Хоть он и чистый, питается только травой, но в норе лежит спиной к выходу, и хоть ты умирать будешь с голоду, а нельзя есть суслиатину, поэтому и руки нужно мыть каждый раз после них, а не помоешь — противно и грех.

А голод разрастался все сильнее, все неудержимее, я ни на миг не могла забыть о мешочке с толокном. И без того постоянно сосало под ложечкой, а тут красноватая мучица эта все время пересыпалась перед глазами и разжигала, жестоко дразнила меня — и когда я рубила кусты на дрова, и когда ставила капканы, и когда сидела, разговаривала. Я не могла уже оторвать глаз от сложенных одеял, где хранился заветный мешочек.

Как-то, оставшись на стане одна, я просунула руку и нашарила мешочек. Он показался живым, заставившим отдернуть руку. Через некоторое время полезла в тайник, теперь еще проворнее, нащупала мешочек, сдавила его и долго держала его, а потом понюхала пальцы: от сладкого запаха потекли слезы, и я не вытерпела. Вдруг мешочек оказался у меня в руках. Воровато и торжествуяще я огляделась по сторонам — никого поблизости не было! Отец и Жумаш ставили капканы за холмом. Сытный запах, шедший от мешочка, сводил с ума, и я начала развязывать. Узлы поддавались с трудом. Торопясь, ломая ногти, я развязала тесьму и, затаив дыхание, развела горло мешочка. Один только долгий миг я смотрела в него, потом жадно схватила целую горсть толокна и жадно запихнула его в рот. Вкус толокна после надоевшей пресной похлебки был необыкновенным! Каким наслаждением было глотать это толченое просо. Я заглатывала его медленно, продлевая удовольствие. Затем стала завязывать мешочек, но не выдержала, положила в рот еще горсть. Потом взяла щепоточку и завязала мешочек. Но как я ни старалась, узлы получились другими, непохожими на отцовские.

Теперь, когда голод поутих немного, я начала понимать, что отец непременно заметит, что узлы на мешочке новые, и забеспокоилась, стала думать, как мне теперь быть и что делать. Покусывая губы, я напряженно искала выход, а он был прост, и, наткнувшись на него,

я обрадовалась и, весело напевая что-то, пошла к отцу. Жумаш был возле него, и я заботливо сказала ему:

— Я нарубила дров. Давай я помогу отцу ставить капканы, а ты иди на стан, отдохни там.

И Жумаш, ничего не подозревая, побрел туда, куце заплетаясь слабыми ножками в густой уже траве.

Вечером отец сразу понял, что в мешке побывала чья-то бесстыжая рука. Долго возился он с узлами, разглядывая и ощупывая их, наконец хмуρο взглянул на нас.

— Кто развязывал мешочек?

Жумаш молчал, хлопал на отца глазенками, я тоже невинно смотрела на него.

— Ну, чего молчите? Кто это сделал?.. Это ты, наверное, да? — ткнул он пальцем в сторону Жумаша. — Говори сейчас же?

— Нет, я не ел, — сказал Жумаш и опустил глаза.

— Не ел, не ел... Если еще раз притронешься к мешочку, — отец поднял и потряс его, — кости переломаяю, так и знай.

Жумаш обиженно зашмыгал носом, я щепочкой копала землю — меня это как бы и не касалось, какое-то время мы все молчали, потом отец угрюмо принялся налаживать костер, чтобы сварить нашу вечернюю похлебку, на этот раз она была еще жиже.

Я побежала к небольшому озерку за водой и только здесь почувствовала, какой камень свалился с моих плеч. Я радовалась, что так все ловко подстроила. Вкус толокна снова появился у меня во рту, мучнистый, сытный дух его обволакивал ноздри. Дня два, наверное, побаивалась отца, гнала от себя искушение, но мысль продолжала работать, отыскивая лазейки. Отец не станет подозревать меня, девочку, у казахов дочерей ругают только матери, отец мне слова не скажет. Нет, недаром говорили старухи о коварстве девочек и простодушии мальчиков. План у меня был хитрый, тонкий. Жумаш еще маленький, отец не будет сильно его ругать, только бы я сама не попалась, и тогда все обойдется.

С утра я пошла с отцом в степь, была на глазах у него, но потом, улучив момент, шмыгнула на стан, вытащила мешочек и торопливо запихнула в рот три горсти толокна. Тщательно вытерев щеки и губы, я вернулась к отцу и опять, как в прошлый раз, отправила

Жумаша отдыхать. Получалось, будто я целый день была с отцом, а Жумаш — возле одеял, в которых спрятаны остатки толокна.

Прошло больше двух лет после смерти нашей матери, мы с Жумашем стали ближе друг к другу. Я была старше, к тому же девочки взрослеют рано, и я заботилась о маленьком Жумаше, старалась, чтобы он не чувствовал сиротства нашего. И все сладкое, что изредка перепадало мне, отдавала Жумашу. Отдавала, пока не начался голод. Теперь я ничем не хотела делиться с братом. Корку хлеба заполучу — себе, мосол обглоданный — сама гложу его добела, курта катышек — на свой язык, и все это украдкой, втайне. Мало того, я ревниво следила за тем, чтобы бабушка Камка не дала ему, как маленькому, лишнюю крошку. Я охладела к братишке, он превратился для меня в злого соперника...

Вечером отец, не развязывая даже мешочек, сразу понял, что туда опять кто-то лазил. Толокно собралось в одном уголочке, и я увидела, каким страшным бывает гнев тихих людей.

Отец начал развязывать тесьму, руки его тряслись, смуглое лицо побледнело, маленькая бородка ходила ходуном. Он бросил на Жумаша яростный взгляд и закричал надтреснуто, дико:

— Опять ты своровал толокно!

И страшно уставился круглыми глазами на Жумаша.

— Нет, не я. Я не воровал толокно, — сказал Жумаш.

Он стоял спокойно, не понимая, что ему грозит, и невинность эта взбесила отца. С неожиданной для него быстротой он отшвырнул мешочек и сбил Жумаша с ног. Жумаш закричал: «Не я! Не я!» Отец, не обращая внимания на эти вопли, начал избивать его с такой яростью, словно тот был его смертельным врагом.

Мне жалко было Жумаша, но признаться в краже толокна была не в силах. Больше, чем кулаки отца, пугали меня безумные его глаза, бессмысленный их блеск, сверканье стеклянное, осколочное. Мне было жаль рыдающего Жумаша, но в глубине души приплясывала, как бы дразня кого-то, подколотная, гаденькая радость: ага, не меня бьют, не меня. Но отец все бил и бил, и радость шмыгнула куда-то.



— Отец, не трогай... не трогай...— стала просить я отца.— Отец, не трогай же! Он же маленький!!

Я надеялась, что смогу унять отца, напомнив, что Жумаш маленький, несмышлениш еще совсем, а значит, не так уж и виноват. Маленьким все прощают. Отец вдруг как-то весь обмяк, поднялся с колен и, пошатываясь, пошел прочь. Он отошел и вяло сел на краю рытвины.

Жумаш лежал ничком и сотрясался от рыданий, сквозь всхлипы он то и дело повторял, глотая слезы:

— Не... Не я... Я... толокно... не... трогал...

Я подошла к Жумашу, избитому из-за меня, подняла его голову — все его лицо было в крови.

— Отец, отец! Смотри: кровь идет! — закричала я отчаянно.

...Я снова заворочалась на печи. Странная мысль вдруг появилась во мне, вызвав кривую усмешку. Я подумала: все-таки лучше было, когда я перебиралась из деревни в деревню, заглядывала в каждую хату в поисках пристанища. По крайней мере, не вспоминала прошлое свое. Теперь же, когда нашелся наконец угол, вся прошлая жизнь явилась на суд и беззащитно открыла все свои язвы, болячки, и я узнала теперь, что душевные раны заживают только снаружи, а внутри они в запекшейся и сочащейся крови...

Через три дня Жумаш слег... Отца, отчаявшегося в голоде и бедности, внезапно охватило какое-то безумие: не помня себя, дал волю кулакам, безжалостно избил Жумаша. Может, поэтому он и заболел? Или это голод его свалил? А может быть, простыл — весенние ночи свежи еще были. Самые противоречивые мысли терзали меня. Жумаш плакал, задыхался, икал, и я не находила себе места. Что же это за напасть, что за проклятье висит над всеми нами?.. К полудню Жумашу стало совсем худо. Лицо посерело, потом стало синеть, руки и ноги свело судорогой. Отец растерянно бормотал что-то, суетился. Наконец решился:

— Нет, надо нести мальчика в аул...

Он завернул Жумаша в чапан и, ссутулившись, тяжело двинулся в сторону аула, раскачиваясь на широко, судорожно расставляемых ногах. Он даже меня забыл позвать с собой.

Я побежала за отцом. Он крепко прижал Жумаша к груди и все убыстрял шаги. Жумаш уже не стонал, не

плакал, а лишь дрожал всем телом и тихо икал. На отце лица не было, из застывших в какой-то мольбе глаз его текли слезы.

— О, господи... О, господи-и,— бормотал он срывающимся, дрожащим голосом.

Меня вдруг так и ударило: мне показалось, что Жумаш вот-вот умрет и отец не донесет его до аула. И это я одна во всем виновата. Согнувшись, схватив себя за коленки, я закричала истошно:

— Отец! Это я, я воровала толокно! Не Жумаш — я!!

Отец вздрогнул от моего крика, бросил на меня испуганный взгляд и, втянув голову в плечи, затрусил дальше, хрипло, каждым выдохом своим повторяя: «О, господи»... Всем своим существом я чувствовала, что жизнь Жумаша готова оборваться, точно до предела натянутая жилка, ниточка тоненькая. Отец, видимо, тоже понимал это, бежал все быстрее, хрипло, с плачущим стоном дыша, не в силах уже молить господа бога о спасении сына. Если бы только можно было повернуть время, я бы... я бы... Ведь это все случилось из-за меня, из-за меня, подлой!

— Это я съела толокно, я украла! Я! Не Жумаш, а я...

Уже у самого аула, не выдержав, отец зарыдал и сломленно опустился на колени.

...Я повернулась на бок и ощутила холод подушки. Она вымокла от слез. За шесть месяцев скитаний ни слезинки не проронила, а теперь вот льются, текут, особенно по ночам во сне... Я знаю: голод жесток, он заставляет терять рассудок не только детей, но и взрослых. Но то зло, которое я причинила моему братику... Как горестно, как страшно знать, что дух его таит на меня обиду. Тихим, усталым он выглядел только что в моем сне. Тот же семилетний мальчонка, но с печатью старого горя на лице. «Мертвые дети не растут», — сказал он мне...

5

Четыре месяца, скитаясь по лесам, цеплялась я за жизнь, как могла, как умела. Бешеный поток бросал и волок, не давая времени опомниться, и вдруг я попала в тихую заводь — больше месяца живу в доме тети Ду-

ни. Нас в избе только двое. А сказать точнее, большей частью я коротаю одна день, лежа на печи. А когда лежать без дела надоедает, я пытаюсь хоть чем-нибудь помочь старухе по дому. На улицу мне показываться нельзя, и вся моя свобода ограничивается комнатой да сенями.

Дом у старухи небогат, вещи простые, необходимые, они стали мне так привычны, будто я с раннего детства пользовалась ими. Прежде всего обращала на себя внимание сверкающая никелем кровать. Она была с красивыми шариками на боковинах, казалась случайно занесенной в избу с потемневшими от времени стенами. На этой кровати скромные подушки тети Дуни выглядели как седло клячи на тулпаре. На стене висела деревянная рама с несколькими фотографиями за стеклом. Сверху рама покрыта вышитым рушником с кисточками. На этих фотографиях мне знакома только высокая женщина лет тридцати с продолговатым открытым и строгим лицом — тетя Дуня, еще без морщин у края губ. Рядом с ней в кепке набекрень стоял мужчина с лихо закрученными усами.

Круглое лицо его сияло беспечностью, добротой. По-видимому, это был ее муж. Между ними стоял скуластый мальчик лет десяти. На другой фотографии тот же мальчик уже взрослый с красивой молодой женщиной и девочкой двух лет. Теперь он стал очень похожим на тетю Дуню. Не о нем ли упоминал Усачев? Что же натворил этот бедняга, за что его осудили? Где теперь его жена, дочь? Спрашивать о нем у старухи я не решалась и от нечего делать подолгу рассматривала фотографии, но по застывшим лицам никого из них, кроме тети Дуни, представить живыми не могла. Разве вот только еще эта двухлетняя девчушка с непокорными веселыми кудряшками, которая смотрит удивленно, живо вытаращив глазенки, словно вот-вот скажет нечто необыкновенное.

В переднем углу избы висела небольшая икона с темным ликом Христа. В наших степях так рьяно боролись с религией, что давно не стало ни уразы, ни намазов, а в этих краях хоть и не было церквей, но почти в каждом доме, как я это видела в скитаниях, висела икона. У некоторых было даже по две: на одной — Иисус Христос, а на другой — изображение его матери, Марии, с прижатым к груди младенцем. Вначале мне

казалось кощунством пристально вглядываться в святыни другого народа, но постепенно я привыкла и стала внимательно разглядывать иконы, написанные темно-красными красками с радужным, светлым сияньем над головой. У Христа лицо было с мягкими, скорбными чертами, я как будто вижу в них любовь к людям, а порой мне кажется, что душу его переполняет какая-то неизлечимая горечь. Когда долго смотришь на икону, всякое начинает казаться, но смиренный лик бога без тени суеты, гнева и злобы, вселял какую-то умиротворенность. Насколько я знала, у русских и немцев религия в основе своей одна — христианская.

У нашего бога нет изображений, но как бы ни была велика его благодать, гнев его страшнее христианского бога, или, может быть, у мягкого бога люди более жестоки? Немало перевидела я ее, война множила жестокость, сеяла злобу, ненависть. Во времена, когда сшибается железо с железом, огонь с огнем, единственное оружие божье — милосердие. Но оно почему-то не годилось для людей, и бог так же был беспомощен, как и я, и так же печален. И хотя печаль его от жалости к людям, а моя от раздумий о собственной судьбе, я смотрю на него как на брата, как на товарища по несчастью, по страданию и мытарствам.

Скорбь великая божья проистекает от заботы о всех этих пошедших друг на друга войной людях, моя же печаль только о младенце, зародыше человеческом, который скоро явится на белый свет. И он торопится, нетерпеливо уже стучится. Часто думала о нем, о его будущем, и у меня появлялись крохи какой-то надежды. В мире, охваченном неистовой бурей, я случайно нашла укрытие и затаилась, надеясь уцелеть и дать жизнь новому существу.

И вот теперь задуло в щели моего приюта и пошел гулять ледяной ветер по сердцу. Полицай Усачев заходил еще дважды. Кажется, он не знает, что кто-то здесь прячется. А если откроется это, он выдаст меня немцам, и меня расстреляют как жену красного командира. Как тут не выдать! Не похож он на человека, который упустит возможность выслужиться.

И уже с порога, отворив широко дверь — холод волной плеснул даже до моего укрытия, — Усачев загремел цепями своего голоса.

— Слышь, Герасимовна, не замечала ты в деревне подозрительных кого? Людишек особенных каких-нибудь?

— Нет. Кого мне тут замечать?

— А я так полагаю, не могли вчерашние активисты уйти скопом. Прячутся небось где-нибудь гады,— он плотно притворил дверь.

— Откуда мне знать?

— Кто-кто, а уж Носовец не ушел, нет. Когда красные отступали, он точно был здесь. А потом раз — и нема, вдруг исчез. Наверняка остался по заданию. Говорят, большевики многих своих оставили для вредительской работы. Ну да ничего, поглядим, чего они делать станут, подпольщики эти чертовы. Мы тоже бдительность эту самую можем поставить... Ты ничего не знаешь... такого?

— Они со мной не советовались, кого и где оставлять.

— Вечно ты вот так, Герасимовна. Все ты поперек норовишь... Ладно, что делать. Я говорю, может, ты просто... слыхала из бабьих разговоров чего?

— Я никуда не выхожу.

— Может, и не выходишь... Да кто поверит, что ты живешь в деревне и ни с кем словечком не перебросишься. Бабы — это такой народ, как начнут балясы точить, то уж обязательно что-нибудь сболтнут при всей теперешней осторожности. А мне Носовец нужен!

— Вот и ищи, коли он тебе нужен!

— Все кочевряжишься... А ведь у нас с тобой интерес один. Если только жив, то скоро и Павел воротится. Сейчас уже армия фюрера под Москвой. Созвал нас на днях господин комендант и говорит: «Победа близка, теперь наша задача — установить новый порядок и укрепить его» — так и сказал. А еще говорит: «И тогда опорой нам будете вы». Понимаешь?.. То-то... Им тоже опора нужна. Пришлые, они могут руководить только с помощью местных, нас то есть.

— Да ладно, хочешь руководить — руководи. А мне пора свинью кормить.

Тетя Дуня прошаркала к порогу, открыла дверь и, не закрывая ее, ждала, когда выйдет полицейский. Тот за скрипел половицами, пошел к выходу, продолжая бубнить:

— Кто порядок нарушает, тот далеко не уйдет. Следы Носовца уже в двух местах обнаружались. Он где-то поблизости. Недавно в деревне Хомяково...

Дверь захлопнулась. Обычно могу часами лежать неподвижно, а тут, когда приходит этот проклятый полицаи, у меня затекают и ноги и руки, хочется шевелиться, в горле першит, еле сдерживаю кашель.

Он и в третий раз явился. Как же он все-таки выглядит? Но посмотреть через щелочку, проделанную в месте укрытия, я не решаюсь, и без того-то готова в песчинку превратиться, где уж тут мне подглядывать. И только голос его, грубый, ломовой, я изучила хорошо и с каждым разом все больше убеждаюсь, что он недалекий, тупой человек, какими-то неживыми рождаются в нем слова, они падают камнями, громко, но нужно вслушиваться, чтобы понять, о чем говорит эта дубина.

Как только стемнело, мы наглухо завесили окна, зажгли подслеповатую керосиновую лампу и сидели в тягостном молчании, как будто ждали, что вслед за полицаем еще кого-нибудь принесет. Предчувствие не обмануло нас. Вскоре послышался осторожный скрип шагов. Кто-то тихо постучал в дверь. Я тут же полезла на привычную печь, тетя Дуня, как всегда, тщательно, укрыла меня. Кто бы это мог быть? Уж очень осторожно постучал. Может быть, такой же, как и я, прячется от немцев? Прислушалась, мне было слышно шумное дыхание человека, вошедшего с холода, тихое его покашливание.

— Как, Евдокия Герасимовна, примете незваного гостя? — проговорил он с разбитым каким-то напором и хрипотцой. Крепкий, видимо, ладно скроенный мужичок, решила я.

— Садитесь, раз пришли, Степан Петрович, — безразлично сказала тетя Дуня.

Тот сразу же сел на табурет, снимать верхнюю одежду не стал, значит, ненадолго.

— Что же это вы... ночью... гуляете? — с расстановкой и как будто бы даже с придиркой спросила хозяйка.

— Время такое, Евдокия Герасимовна... Сейчас для нас ночь спокойнее дня.

— Вот оно как. А бывало, так проносился по деревне на санях, — мы в сугробы лезли, чтобы не зацепил, — усмехнулась тетя Дуня. — Вон оно как переменялось.

— Сами понимаете, Евдокия Герасимовна, зря ночью я к вам не пришел бы,— помолчав, сказал гость,— большое у меня дело к вам.

— А к вам Усачев дело имеет, сегодня опять у меня спрашивал. «Носовец, говорит, не ушел, где-то поблизости прячется. Не знаешь?»

«Носовец!.. Острая это какая-то фамилия и запомнилась мне еще днем. Значит, это и есть тот Носовец, которого ищет полицай?»

— Стало быть, Усачев обо мне спрашивал? Так, так-так... Полицаем, значит, стал, пошел служить врагам.

— Он же у вас... в активистах числился.

Ну что за старуха! То полицай нещадно долбила, теперь подпольщика Носовца поддевает без жалости. Трудно понять, за кого она. И с сыном ее что-то неладное случилось. Только ко мне она относится сносно.

— Да-а, не раскусили мы Усачева. Предателем оказался, змеей. Ошиблись.

— Что же вы это за начальство такое, если его не раскусили? Усачев не змея, а дурак. Был он мужиком, работал себе, пахал, а вы его раз — и командовать поставили, раздражили. Чуть власть в руках почувял, ну и давай над людьми измываться. Потом вы же его и сняли: неграмотный, дескать. Кто раз попробовал власти, тот хуже пьяницы, на все готов, лишь бы еще хлебнуть ее. Он за это не только немцу, а кому угодно готов услужить... тоже мне, нашел змею... дурак он и больше ничего.

Гость хрипловато рассмеялся.

— Есть в твоих словах правда, никуда от нее не денешься. Так оно, наверное, и было.— Носовец немного помолчал.— Опасен он, хоть и дурак, вот в чем дело.

— Да уж как не опасен,— тут же подхватила старуха.— Еще как опасен! Дураку что? У него вся жизнь в один день уляжется. Ему бы только на ступеньку выше ногу задрать. А что будет завтра, послезавтра — то его не касается, ну трава тут не расти!

— Ладно, Евдокия Герасимовна, оставим пока Усачева, бог с ним, придумаем что-нибудь. Я к вам по другому делу.

Гость вроде бы и ночной, и прячется, а говорит уверенно. То ли сказывалась многолетняя привычка, то ли по природе своей был он человеком властным и сильным. Теперь мне его голос не кажется разбитным, про-

шла и хрипотца. Я ждала, мне хотелось, чтобы он говорил, но он молчал, видимо, ожидая от старухи вопроса, испытующе и пристально, должно быть, глядя ей в глаза. Но тетя Дуня молчала.

— Мы хотим поручить вам одно... дело. Очень непростое оно, ответственное.

— А часом вы не ошиблись дверями, Степан Петрович?

— Как это ошибся? Ошибки вроде бы нет...— впервые голос гостя как бы поскользнулся, дрогнул, какое-то сомнение в нем зазвучало.— К вам я пришел.

— А вы не забыли часом, кто я такая?

— Почему же забыл. Вы...

— Ну да. Я — мать врага народа. Я, как этот, говорят... чуждый элемент.

Гневно произнесла эти слова старуха, с горькой и странной даже гордостью. Я насторожилась: у кого же я до сих пор укрывалась? Сын ее Павел... то-то полицей говорил: «Воротится скоро». Воротится из тюрьмы и пойдет... Куда же он пойдет? К Усачеву в компанию? Ну, тогда мне...

— Я же не с неба свалился, Евдокия Герасимовна. Я ничего не забыл,— сказал Носовец тихо и твердо.— И все-таки мы верим вам.

— Что-то до сих пор меня обносили — мимо доверие шло. С чего бы я после прихода немца надежной сделалась? — с усмешкой сказала тетя Дуня.— Доверие! Оно ох как нужно было моему Пашке. Он без него, как без воздуха,— обуглился, хоть бы словечко одно ему, хоть бы капельку,— к горлу тети Дуни подступили слезы, она задохнулась, замолчала и низко, хрипло, сильно произнесла: — Я не отреклась от сына. Не отреклась, понял?!

В доме точно умерло все, навалилась тишина, и даже гость не в силах был одолеть ее, молчал так долго, что у меня заломило грудь от сдерживаемого дыхания.

— Я... понимаю ваше горе, Евдокия Герасимовна,— наконец сказал он надтреснуто.— Но ведь лес рубят — щепки летят.

— Да разве... разве Павел мой — щепка, которую можно в угол смести?! Разве он не один из тех, кто за Советскую власть душу положил и своими руками ее тут налаживал, а?! Может ли человек стать врагом самому себе? Вы же вместе с бандитами воевали! Чего же ты не заступился за Пашу?

— Не смог заступиться...

— Так что же ты, зачем же ты пришел ко мне?

— Вот об этом и разговор. Беда у нас, большое общее горе. Я знаю, ваше горе для вас тоже не маленькое. Но беда, нависшая сейчас над страной, больше всего личного. Она больше Паши, меня и вас... и вы должны сейчас забыть о несчастье своем... о вашей горькой обиде. Если мы в чем-то ошиблись, то Родина в этом не виновата. Беда Паши... это и моя беда. Она во мне застыла, болит вот здесь. Но сейчас не время беречь старые раны. Терпеть надо, зажать вот так и выше их смотреть, на народ смотреть — с ним ты или же нет. Уверен, вы — с ним, Евдокия Герасимовна.

— Против народа я не ступлю,— медленно, как бы во сне, проговорила старая женщина и замолчала, опять стало тихо, но токи пошли по избе, тишина дышала, готовилась к чему-то, и меня не удивило, когда тетя Дуня сказала:

— Вам тоже нелегко, Степан Петрович, кругом враги, а вы бродите ночью. Небось замерзли не емши. Сейчас я чаю вскипячу да на стол чего-нибудь соберу.

— Не откажусь, Евдокия Герасимовна. Ночь долгая, времени хватит,— сказал гость.

— Ну так и раздевайтесь... Бывало, когда-то вы с Пашей вот так наедете — ночь-полночь,— все вам ни о чем... Как Пашу забрали, вы сюда ни ногой.

— Виноват, Евдокия Герасимовна. И совру, если скажу, что времени не было, время нашлось бы, тут другое — в глаза вам смотреть стыд не давал. А что это за встреча, раз глаза прятать надо...

— Ну и.., располагайтесь поудобнее,— сказала тетя Дуня и вышла в сени.

Степан Петрович разделся и сел на единственный в избе стул — он стоял у другого края стола, почетным служил гостям. Я лежала тихо, глядя в низкий потолок, и размышляла о судьбе сына старухи, и о ней самой думала, о ее несломленном характере. Ни разу она не пожаловалась мне на горькую свою долю, на исковерканную жизнь своего сына — мне почему-то стало казаться, что Павел ее не может быть врагом народа. Откуда это шло — не знаю: фотографии ли сына ее, сама ли — изработавшаяся, с изможденным лицом, но не потерявшая достоинства своего старуха, воздух ли ее бедной избы — не знаю.

Мне шел пятнадцатый год, когда впервые я услышала жутковатые и не совсем понятные, несмотря на ясность стеклянную, эти слова и увидела, как люди с опасливой, почти враждебной пытливостью вглядываются, как бы даже присасываются друг к другу, и отваливают, так до конца и не поверив, если ты оказался человеком обычным, не врагом народа. Сначала их находили, хватали и судили далеко от нас, в Москве и еще в каких-то больших городах. До нас доходили слухи, потом в газетах печатались статьи то с беспощадными, то с какими-то неопределенно-угрожающими заголовками. Мы, дети, не разбирались во всех этих тонкостях, было интересно то, что все враги народа оказались иностранными шпионами, засланными в нашу страну капиталистами. И были у них самые коварные замыслы: они хотели убить нашего любимого вождя, с именем которого встречали каждый день. Кому же их было ненавидеть, как не нам...

Взрослые пропадали на собраниях и митингах. Вскоре они стали водить туда и нас, детей. С красными лицами, широко и грозно раскрытыми глазами, ораторы потрясали кулаками, выкрикивали сердито и возбужденно: «Никакой пощады врагам народа! Долой попустительство и бесхребетность! Нужно повышать бдительность!»

Выступали Жарасбай и Сейсенбай — переростки, позже других пошедшие в школу, как-то вдруг стали пламенными ораторами. Жарасбай был похож на девушку с алым румянцем на нежно-смуглых щеках, а Сейсенбай напоминал хорька. Когда он начинал кричать, то казалось, каждое его слово, будто гвоздь, вколачивалось в тело врага народа. Мы слушали речи прямо на заснеженной улице. Лисьи треухи, шапки, бараньи воротники тулупов чуть колышутся, поскрипывает снег, все сосредоточенно смотрят, как изо рта выступающих вырывается, точно после выстрела, короткий парок.

Особенно завораживали нас, детей, разговоры о шпионах. Нас радует, что их ловят, что наши зорче, умнее, находчивее, но возмущает и удивляет то, что поустраивались они на высоких постах в самой Москве. Много врагов и шпионов обнаружилось и в Казахстане. Их заслали к нам из Японии, расположенной где-то на краю света.

Вот они какие, коварные враги. Надо же, умудрились снюхаться с такой далекой от нас Японией. «Чтобы разоблачить врага, надо быть бдительным», — твердили нам каждый день. Надо смотреть, приглядываться, следить, надо научиться чують их за версту, а то и за две, думала я, а у меня глаза не очень-то зоркие. Да и у других ребят... разве что Жарасбай и Сейсенбай... И я вскоре убедилась, что бдительность у меня совсем никудышная. Вскоре враги и шпионы обнаружались и в нашем районе. Это были люди, которых я видела каждый день. Они притаились до поры до времени со своими коварными замыслами, а я была разиня.

В газете подробно писали о суде над районными руководителями. Что они делали, подлые? Якобы они по воскресеньям выезжали отдохнуть к реке и там, оказывается, обсуждали план присоединения Казахстана к Японии.

И я однажды была на одном из таких сборищ! За год до суда отец взял меня с собой на один из плесов пересыхающего летом Иргиза. Он зарезал небольшого барашка. Я помогала ему разделявать тушу и чистить потроха, рада была, что поехала с отцом. После голодного года скота заметно поубавилось, жили мы все еще на постной похлебке, и я могла теперь поесть немного мяса.

И вот приехали человек десять районных руководителей. Я сразу узнала председателя райисполкома Аскарова — рослого скуластого мужчину с усиками. На митинге он всегда говорил не спеша, растягивая каждое слово. Был он человеком очень спокойным, по-отцовски доброжелательным.

Особенно запомнился мне и подвижный крепыш — секретарь райкома Тасболатов. В тридцать пятом году на праздновании пятнадцатилетия Казахстана мерились силами борцы — балуаны. Широкоплечий смуглый балуан из Кайракты положил на лопатки многих балуанов Иргиза. Никто не решался выйти с ним на поединок.

Тогда этот самый Тасболатов, обвязав пояс волосяным арканом, крикнул весело и в то же время сердито: «В Иргизе не осталось мужчин, что ли? А ну, выходи!» — и схватился с кайрактинцем.

В считанные минуты уложил он огромного, как верблюд, балуана. Помог подняться ему и сказал: «Спасибо

за уважение!» Затем велел: «Главный приз ему отдайте»...

Гости искупались в реке, потом поели мяса, выпили немного водки. Я почти все время была рядом с ними, подавала им сурпу, уносила посуду. Шутки так и сыпались, они весело смеялись, потом пошла серьезная беседа, во время которой озабоченно говорили о скоте, о кормах, об урожае. А разговоров о Японии я не слышала, может быть, об этом они успели поговорить, когда купались?

Нас часто предупреждали: враг хитер и коварен. Наверное, это правда, ибо Тасболатов часто заходил в нашу школу, говорил с учителями и учениками. Бывал он и в интернате, проверяя, как живут там дети и как их кормят. Если кормили плохо, то он разносил всех — от директора до повара. Легко ли разоблачить такого прикинувшегося заботливым и добрым врага? Тасболатова успели полюбить не только взрослые, но и дети. А выходит... он враг?

Враги стали объявляться и среди простых, неграмотных аульных казахов, и теперь чем сильнее шумели на собраниях, тем больше немели от страха наши дома. Совсем упал духом и мой смирный отец. По вечерам он никуда не выходил, сидел в темноте, ссутулившись, и вздрагивал при каждом звуке. Человек он маленький, ему ни до чего нет дел, и единственный грех его перед бдительностью — подвалил и разделал барашка для людей, которых теперь судили за связь с враждебной Японией. И долго во мне сквознячком погулиwała тревога, поламливала что-то нежное, растущее, колеблющееся в этой душе. И даже когда отца не тронула, мимо прошла карающая рука, в груди у меня долго еще что-то вздрагивало, выходило ознобом наружу, и я, забывшись, твердила кому-то: отец мой честный человек, он ни в чем не виноват.

Был и еще один человек, в честности которого я была твердо уверена. Это — Тулеген, отец моего одноклассника Куантая. Говорят, Шандыбай, отец Тулегена, был баем. Правда, баем он стал не по наследству, не потомственным баем, а в детстве, осиротев, попал к русским, работал у них свинопасом и каким-то образом разбогател.

В ауле рассказывали об этом так: в наших краях после праздника уразы с нетерпением ждут ночи Ка-

дыра. Если богу будет угодно, в эту ночь тьма раскалывается надвое и на мгновение становится светло, как днем. Что успеешь пожелать в это мгновение, то и сбывается. Многие женщины просят у бога ребенка. В детстве из любопытства я тоже не раз стерегла ночь Кадыра. Но ни разу тьма так и не расколослась. А отец Тулегена в такую ночь охранял свиней своих русских хозяев. Вспыхнул свет Кадыра, и Шаныбай успел выпалить: «О боже, скота и детишек». Поэтому он и разбогател, говорили в ауле, и детей у него было немало.

Но у Тулегена, сына его, никогда не было табунов и отар. Скотина приживается у того, кто за ней крепко ухаживает. А Тулеген был не из тех, кто любит утруждать себя уходом за нею. Единственный конь, ружье-двустволка да гончая — вот и все добро. Садился он на коня, вешал на плечо ружье, брал с собой гончую и уезжал по озерам, а потом и по аулам и возвращался чуть ли не через полгода. Несчастливая жена его, Батима, надеясь привязать его к дому, присмотрела ему молодую токал — младшую жену, — и все напрасно, не удержать было Тулегена в ауле. Люди, однако, одобрили этот шаг Батимы: «двум-то бабам веселее, легче».

И бродил Тулеген у степных озер, по камышовым дебрям, в степи широкой. И в наш аул частенько заезжал Тулеген. Жена дяди Сеилхана, тетя Балсулу, была его родственницей, здесь он тоже не засиживался, душа его требовала простора, свежего чистого ветра, он постоянно выезжал на охоту, брал и меня с собой — я загоняла ему дрофу.

Лицо у него было светлое, продолговатое, с редкими усишками и бороденкой. По охотничьей привычке красться и выслеживать он всегда втягивал голову в плечи, тихо смеялся, тихо, в нос несколько разговаривал.

— Доченька, ты садись на эту верблюдицу. В вашем ауле, я вижу, соскучились по мясу. Дрофа — птица простодушная. Она не убегает от верблюдов и детей, вот и гони ты их потихоньку, — говорил он мне.

Я радовалась, гордилась тем, что дядя Тулеген не мальчишек брал, а меня. Ведя верблюдицу в поводу за своим конем, он отправлялся в степь. По дороге он обычно молчал. Приблизившись к месту охоты, он придерживал коня и тихо говорил мне:

— Вот гляди, дрофа в ковыле. Нет, не там, ты вот туда смотри. Видишь? Так вот, езжай в ту сторону,

только не торопись, а как увидишь, потихоньку заворачивай ее ко мне, я вон где буду сидеть.

Тулеген оставлял коня и шел пешком. Я с верблюдицы вглядывалась в ковыль, в белесые его, скользко стелющиеся по ветерку гривы. И только приблизившись, замечаю громоздкую дрофу и удивляюсь, что не увидела сразу такую огромную птицу. Я подгоняю ее к дяде Тулегену, и тот одним выстрелом укладывает ее. А какое вкусное у дроф мясо, как ему радуются в ауле! Многие из нас с нетерпением ждут Тулегена. Как не ждать, если с его приездом весь аул наедается дичи. Особенно кстати был он в ту пору, когда поголовье скота уменьшилось и на забой его налагался строжайший запрет.

— И что это за человек? — удивлялись у нас. — Совсем о себе не думает, все для людей, а? И не жаль ему ничего, просто удивление берет.

— А многого ли добиваются те, кто о себе печется, — отвечала на это бабушка Камка.

И этот самый Тулеген оказался врагом народа. Это совершенно не укладывалось в моей голове. Я надеялась, что тут допущена какая-то ошибка, вот-вот ее исправят, но его все держали в тюрьме, и никаких вестей оттуда мы не получали.

Пострадал не только отец Куантая, отцы многих ребят были арестованы. Горячка, азарт, разожженные в нас поначалу множеством изловленных шпионов, утихли немного, но мы все еще шумели. Ораторы во главе с Жарасбаем и Сейсенбаем провели собрание в каждом классе, и тех, у кого отцы оказались врагами, пособниками капитала, исключили из пионеров. Горько, помню, рыдал Куантай, когда с него снимали пионерский галстук. Он все краснел, диковато набычившись, когда его яростно критиковали записные наши ораторы, но когда стали снимать галстук, он сжал в кулак его узелочек, залился слезами, закричал: «Не отдам! Не отдам». Он задыхался, трясся, ничего уже не мог говорить, слезы стеклянным горохом катились по щекам.

Я не выдержала, уперевшись лбом в сжатые кулаки, разревелась. Если бы меня, плачущую, заметили Жарасбай и Сейсенбай, мне бы несдобровать, но я сидела на задней парте, а все смотрели на Куантая жадно и бессмысленно.

Отец его, Тулеген, был первым человеком, в ком я никак не могла признать врага. Могли же наши ошибиться? А отцы других ребят?! И я не знала толком. И сомнения оплетали душу: может быть, оступились они или были у них какие-нибудь темные делишки? Но неприязни к тем, у кого забрали отцов, не испытывала. Мне было жалко их. Раньше веселые и шумные, теперь притихли, и даже самые отчаянные и беспечные стали какими-то безликими. Они не принимали участия в ребячьих играх, после уроков сразу же спешили домой. Я смотрела, как они тихо и вяло идут по улице вдоль низких саманных мазанок, как тоскливо иной раз обращиваются на школьный двор, и вспоминала слова вождя — сын за отца не отвечает, и думала, почему они так виновато оглядываются?

...Стала уже забываться сокрушительная кампания тех лет. Годы брали свое. О ней не говорили, старались не вспоминать. Только родственники пострадавших в мучительном плену у нее были. Я тоже не ломала голову над тем, кто виновен, а кто — нет. Только вот дядя Тулеген, о нем болело сердце... И вот сегодня разговор Носовца с тетей Дуней всколыхнул во мне то, о чем я старалась не вспоминать.

Я верю тем, кто стоит у кормила страны, мудрому вождю нашему Сталину. Сомневаться в нем для меня все равно что для бабушки Камки позволить себе кощунствовать в отношении бога ее. Может быть, действительно щепки летят, когда лес рубят? Нет, не только я одна, почти каждый успокаивал так свою совесть.

Я задремала, забылась, а когда проснулась, Носовец уже успел попить чаю и попрощался со старухой.

— Ночь на дворе глубокая... Куда же вы, Степан Петрович, в такую темень? Переночевали бы, — предложила тетя Дуня, и голос ее звучал теперь мягче, какая-то неподдельная участливость слышалась в нем.

— Спасибо, Евдокия Герасимовна, — отказался Носовец. — Значит, договорились. К вам придет женщина. Она скажет: «Я — Смуглянка». Но не смущайтесь, она смуглой и не будет. Возможно, даже будет беленькой. Ну, бывайте здоровы.

Дверь за ним плотно закрылась.

И вскоре, день спустя, я услышала:

— Вы Евдокия Герасимовна? А я — Смуглянка.

Я вздрогнула. Не от страха — удивление приподняло меня. Господи, какой знакомый, какой удивительно знакомый голос!

— Ну, что же, проходите, раз так, — помедлив, сказала тетя Дуня. — Раздевайся.

— Да нет, спасибо.

— Поешь, может, чего? Голодная, чай. — Неожиданно гостеприимно предложила всегда суровая старуха.

— Спасибо, но засиживаться особо некогда. Вот отогреюсь только малость.

Боже, да это же Света! Точно, ее голос. Забыв об осторожности, я раздвинула занавеску, неловко повернувшись в печном лежбище. Женщина в стеганой телогрейке и в теплом черном платке резко обернулась в мою сторону; меня так и ударило — это была Света! Я чуть не закричала.

— У вас кто-то есть? — насторожилась она, глядя на печь большими строгими своими глазами.

— Нет, — начала было старуха, а потом решила: — Вы это... вы не пугайтесь, свой человек у меня, свой.

Я не могла больше терпеть. Оттолкнув в сторону наваленную постель, я стала неуклюже, торопливо слезать с печи. Света глядела на меня так, точно я с того света явилась.

— Света! Родная моя! — я хотела закричать, но хриплый шепот выдохнула моя грудь, хотела броситься к ней и не смогла. Я стояла, смотрела на нее, плакала. Слаще, мучительнее мига не было в жизни у меня.

Давно я чувствовала себя навсегда оторванной от родных и близких мне людей. Мне часто казалось, что у меня нет прошлого, не с кем было поговорить о давнем, о пережитом, о том, что и есть сама жизнь, спасительная почва ее, куда уходит горе и откуда прибывает в тебя сила в самые тяжелые, безнадежные дни. Давно я больна была сиротством. Теперь оно отступило, но в глазах у меня потемнело, все поплыло в сером, предутреннем как бы свете. Очнувшись, я услышала родной голос моей Светы:

— Успокойся, Назира. Ну, что ты? Успокойся, не надо.

Но я не могла успокоиться, все вглядывалась в ее лицо. Сон это, явь? Сама Света сидит передо мной! Не надеялась я, что когда-нибудь увижусь с нею. И вот теперь... В «куфайке», старом черном платке, она похожа на простую крестьянку, но нежное, прекрасное ее лицо светло по-прежнему и необычно. Вглядевшись попристальнее, я заметила в нем перемены.

— Ах, Света, Света,— качала я головой.

Мне нужно было ей много сказать. Чудом казался приход ее именно в тот дом, где пряталась я. Слова не выдерживали, ломались, и я выбрала и твердила самые крепкие: ах, Света, Света... Три месяца назад мы с нею расстались. Первое время, входя в какую-нибудь деревню, я вздрагивала, заметив светловолосую женщину. Как горячо я молилась, чтобы она оказалась той, кого я все еще надеялась встретить. Как часто, с каким недоумением, любовью, обидой, материнским каким-то пониманием и всепрощением думала я о ней. И вот теперь, когда встретила, никак не могу в это поверить.

— Ну, успокойся же, Назира,— положив руки мне на плечи и заглядывая в лицо, говорила Света.— Дай-ка я погляжу на тебя хоть. Ну вот, я поверила, что ты — это ты,— Света усмехнулась.— Все такая же, не изменилась.

По глазам Светы я вижу, что она заметила темные пятна на моих щеках.

— Да нет! Изменилась я... Извелась.

— Ну, конечно, в твоем положении так и должно быть,— начала было она и смешалась. Легкая тень пробежала по ее лицу. Она нахмурилась, сошлись привычно морщины на переносье. Кажется, я что-то поняла, догадка холодком прокатилась под сердцем.

— Не зря говорят, гора с горой не сходятся, а люди сходятся,— улыбнулась несколько смущенно Света.— Вот видишь, где нам с тобой встретиться довелось.

— Ба, да вы, похоже, подруги давние,— сказала удивленно и даже весело тетя Дуня.

Захваченные встречей, мы забыли о ней. А она и не обижалась, была лишена бабьего любопытства, тихонько возилась возле плиты, пережидала, пока мы со Светой наговоримся.

— Господи, тетя Дуня, Света же — подруга моя,— смеясь и плача, сказала я.

— Ну и хорошо, что твоя подруга, и ладно, а то бы я так и не узнала, как отец с матерью нарекли ее, звала бы всю жизнь Смуглянкой. А она ведь совсем не смуглянка, а светленькая,— улыбнулась и тетя Дуня.

— Вы уж простите, Евдокия Герасимовна,— быстро заговорила Света.— Не из-за недоверия все это к вам. Так требуется, так надо, понимаете? Лучше для всех нас, чтобы никто не знал моего настоящего имени. Конспирация, понимаете?

— Конс... господи, язык сломишь,— как бы с досадой сказала тетя Дуня.

— Подпольное... Хранить тайну, значит. А я вот — встретишься, Назира всю мою тайну и раскрыла.

— Вона как, вона. А я-то ее прятала даже от Степана Петровича. Где ж тут сохранишь тайну, раз сошлись одни бабы,— с улыбкой покачала головой тетя Дуня.— Ладно уж. Раз соскучились друг по дружке, то и поговорите сахарно, всласть.

Тетя Дуня оставила нас вдвоем, ушла зачем-то в сени.

— Света, ты кого-нибудь из наших не встречала?

— Где уж тут! Разве в такой каше встретишь кого-нибудь. Легче иголку в стог сена отыскать.

— Почему? Мы же вот с тобой встретились.

— Просто счастливая случайность. Но я не совсем тебя потеряла из виду. Раза два нападала на твой след.

— Как, где это? Когда?

— Как? — усмехнулась Света.— Ты человек приметный.

— Чем же?

— Ну, сама подумай, много ли восточных женщин бродит по тылам врага? Местные нас не особенно-то замечают, а тебя надолго запоминают. Так что примечательная личность. Я в нескольких деревнях слышала: «Заходила к нам какая-то женщина нерусская». К тому же, говорят, в положении. Кто же это мог быть, как не ты? А?

— Почему же ты... Почему ни разу со мной не встретишься?

— Что ты, ей-богу,— улыбнулась Света.— Разве ты кому-нибудь говорила, по каким деревням пойдешь?

Нет, я не говорила, я сама не знала, куда пойду, петлист был мой путь, это верно, но если бы я где-нибудь услышала имя Светы, непременно пошла бы

искать ее тотчас же, забыв о том, как мы расстались с нею, какие часы я пережила тогда, в лесу, сидя у затухающего костерка. Так сразу, безоглядно, можно прощать только родному человеку, а для меня в эти бедственные времена никого не было ближе, чем Света,— понимает ли она это?

— Ты не обижайся,— сказала она грустно.— Если бы я стала искать, спрашивать, может, и нашла бы тебя, может быть. Но я не могла... не могла... после того, что было со мной,— не могла,— глаза ее на миг расширились, замерли, но быстро она очнулась, бабьим, новым движением заправила ковыльные свои пряди под платок,— как ты жила, как шла?

— Да уж тащилась, поскольку живой была. Так и дотащилась до этой избушки.

— Ну и как тебе здесь?

— Пока ничего. Хороший она человек, тетя Дуня-то. Хотя неизвестно, чем дело кончится.

Какая-то обеспокоенность скользнула по ее лицу, и я поняла, что думает она обо мне.

— Ну, ничего, наладится как-нибудь, все будет хорошо.

— Мне кажется, и в этом доме скоро станет покойно.

— Ты пока поживи здесь. А мы вскоре что-нибудь придумаем,— деловито сказала Света.

Теперь для меня очевидным стало то, что она изменилась. Была она совсем не такой, как прежде, в ней появилась решительность и даже какая-то властность. И мне захотелось узнать, что пережила, в какой купели еще побывала она за это время. Потянуло поохать над ее бедами, да и своими печальями поделиться — бабьей обычной уследы хотелось мне пригубить.

— Света, что же было с тобой потом?

— То же, что и с тобой. Пряталась, хоронилась, лишь бы выжить,— не глядя почему-то на меня, проговорила она скучно, поморщившись даже чуть-чуть.

— По-моему, ты не только хоронишься. А где ты познакомилась с Носовцем?

— С Носовцем? — удивленно подняла брови Света, по-прежнему глядя в угол куда-то, к печке.— Кто он такой?

— Как это — ты не знаешь, кто он такой? Его зовут Степан Петрович...— Света, явно ничего не понимая,

взглянула прямо теперь на меня. Удивилась и я.— Он же сказал, что ты придешь сюда. Сказал, придет Смуглянка.

Света задумалась, брови ее сошлись на переносице.

— Может быть, и сказал, но я его не знаю. Да и не нужно мне его знать! — с досадой воскликнула она.— Так надежнее,— она пристально взглянула на меня.— Что-то ты слишком много знаешь. Не надо тебе это, тебе тоже лучше меньше знать и меньше слышать. Понимаешь?

— Да это... я только тебе и сказала,— смутилась я.

— Время сейчас такое, что некоторые вещи надо скрывать не только от меня, от самой себя!

— Меня ты можешь не бояться,— обиделась я.— Казахи люди наивные. Но иногда наивность эта дороже стоит любой хитрости. Захочу — и окажется, что я ни слова по-русски не понимаю. Пусть тогда попробуют здесь отыскать мне переводчика.

Света рассмеялась, приобняла меня.

— Не сердись, но все-таки...

— Ты на меня так грозно посмотрела, что я боюсь даже спросить, где ты сейчас, что делаешь?

— В этом нет никакого секрета,— Света взглянула на меня с прежней своей горькой усмешкой.— Работаю переводчицей в немецкой комендатуре.

— Как переводчицей? — растерявшись, переспросила я.

Так вот о какой переводчице говорил полицай! Как же тут было не растеряться: Света — среди них... служит немцам.

— Испугалась? — исподлобья, в упор глянула она на меня.

— Значит, это про тебя говорил полицай?

— Какой полицай?..

— Да есть тут один. Заходит. Усачев его фамилия.

— Ну ты хоть и сидишь на печке, а все знаешь,— покачав головой, сказала Света.— А он тебя видел?

— Нет, не видел.

— И не попадайся ему на глаза. Он служит немцам верой и правдой, имей это в виду.

— А они знают, кто ты?

— Знают. Ехала в Минск к тете, ну и осталась в окружении, обыкновенная история. Кажется, они поверили,— скучно проговорила Света, растаскивая концы

платка, морщась и двигая, опять-таки по-бабьи, губами, как делают это многие русские женщины в деревнях.

Размотав платок, она сняла и телогрейку. Поверх плотного коричневого платья на ней был пиджак, на ногах валенки, и все это сидело на ней ладно, не скрывало ее женственности. Я быстро, подозрительно ее оглядела, внимательно прощупала всю ее глазами. Она по-прежнему была стройна. Но женщина чужого взгляда не пропустит, Света посмотрела на меня предостерегающе, как бы предупреждая, что не хотела бы кое-чего касаться, и я горячо покраснела, как будто меня схватили за руку, когда я полезла в чужой сундук. Все произошло быстро, какую-то секунду шел этот безмолвный разговор взглядов, затронувший то, что случилось с этой женщиной в деревушке, куда пошла она за куском хлеба, а вернулась с позорной головой,— на секунду только все это вспыхнуло, и Света тотчас перевела разговор на другое, жестоко ошеломившее меня.

— Сказать честно, Назира, меня... не радует наша встреча. Только ты пойми правильно. Я говорю о твоём положении. Оно у тебя сейчас тяжелое. Родишь ты, ребеночка не спрячешь, так? А — чья ты? Откуда взялась? Родственницей тебя чьей-нибудь не назовешь. А тут еще я... Ну никак не надо бы нам встречаться.

— Мне... я... мне некуда идти. Куда я из этого дома? — забормотала я. — Немцы старухе поверят. Сын ее осужден как враг народа.

— Вот оно как? — удивилась Света. — Говорю же, ты знаешь гораздо больше, чем я.

Удивилась и я. Я догадалась уже, чем она занимается: рискует собой, выполняет какое-то задание, но не знает ни тех, к кому пришла, ни того, кто сообщил о ее приходе, как будто с завязанными глазами пустили ее.

— Я действительно не знаю этих людей, — продолжала Света. — Ты не веришь? Иначе нельзя. Нужна большая осторожность. А вдруг провал?.. Если что случится, мы с тобой тоже никогда не были знакомы, учти это.

— Хорошо. Учту.

— Ну, а о тебе мы поговорим с твоей хозяйкой, — сказала Света.

Я боюсь перемен. Война на всю жизнь, кажется, отбила охоту к ним, не хочу терять того, что есть. Куда, зачем мне надо уходить? И тут я начинаю понимать, что

этот дом превращается в явочную квартиру. Света, поглядывая на меня, что-то шепчет вошедшей в избу из сеней тете Дуне.

— А куда я ее погоню? — слышу я ее угрюмый голос. — Жила же до сих пор. Пусть и дальше живет. Не на снегу же ей рожать, чай, мы люди, не фашисты.

— Все это так, — говорила Света. — Вы добрая женщина, Евдокия Герасимовна, только...

— Что «только»?

— Сюда скоро придут немцы.

— Эка, пусть приходят, — хмыкнула Евдокия Герасимовна, но потом задумалась. — А надолго пожалуют?

— Дня, может, на два... А там кто их знает.

— Ну, на это время найду, где ее припрятать, есть закут у меня надежный.

— А вдруг немцы дознаются?

— Так... что ж тут, тут заранее не угадать. Как оно повернет, куда наклонится.

— Долго ли до беды...

— Да уж не знаю... Их небось тоже мать родила или как? Да авось как-нибудь... На-ка, поешь вот маленько, чем бог послал.

Легко перекусив, Света оделась, попрощалась с нами и ушла. Я не могла ее даже проводить. Я долго не отпускала Свету, молчала, наконец она решительно отняла руки, бросила на меня странный какой-то взгляд и быстро вышла, сказав торопливо на прощанье:

— Ну, всего тебе... Будем живы — увидимся.

Тетя Дуня пошла закрывать двери... Что же это она так рассталась со мною? Ну, хорошо там, в лесу, после того, что с нею случилось, — это хоть как-то ее оправдывало. Почему же теперь она так холодна, суха со мною, скупа на доброе слово, на ответное движение души? Сколько не виделась, я почти похоронила ее, и вдруг — такой подарок судьбы, единственный, можно сказать, за все это время, а она убежала, точно отделаться от меня торопилась.

Я долго не могла уснуть. Тетя Дуня слышала, как я беспокойно ворочаюсь, вздыхаю, но вопросами досаждать не стала. Мудра старуха, молчит, а у меня на сердце муторно. Сейчас я как-то особенно остро почувствовала свою наивность. Моим недостатком стала доверчивость, моим пороком — привязчивость. Я не так быстра и сообразительна, как Света, как многие из мо-

их прежних знакомых по военному городку. Не сумела все еще перестроиться — и бросилась к Свете со слепой своей любовью, считая, что люди ко мне относятся точно так же, как и я к ним. Раз я никому не сделала и не делаю зла, почему же кто-то должен ко мне относиться плохо. А ведь относятся, ведь причиняют зло, в том числе и самые близкие мне здесь люди. Вот чего я совершенно не могу понять и, наверное, никогда не пойму — буду обманываться до самой старости.

Не выдержав, я стала спускаться с печки — душно мне там было, немоготу, там ночь особенно была тесна и черна, как будто со всей земли она собралась в мое запечье. Раздраженная, потная, злая на весь мир, я неловко встала на выступ и, охнув, тяжело, грузно села на лавку.

— Ты чего? — хриплым басом спросила старуха.

Я не ответила ей, пошевелила только губами. Прошлепав босыми ногами по полу, я подошла к окну, села возле него. За стеклами лежала ночь, но было далеко видно — мягко светился снег. Пятнами чернели избы, сарай, белели скаты крыш, стогами туманились деревья — ни огонька нигде, ни единого проблеска. Потихоньку ком, саднивший у горла, начал рассасываться, мне стало просторнее, я как бы выходила из запечья собственной души. Что ж! У Светы своя жизнь, как у этой ночи за окном, как у снега, спящих домов, и мне надо все это принимать. Принимать и... прощать, злом одним, мстительной памятью жить невозможно — задохнешься, задавишь сама себя.

7

— Бабуся! Бабушка Дуня-я, — чисто звенит детский голосок.

— Ты, что ли, Парашка? — гудит старуха.

— Я, бабушка Дуня.

Я узнала голосок Парашки, шестилетней соседской девчонки, и затаилась, стараясь не шуршать. Потом, постепенно успокоившись, я сделала небольшую щель в сене — на пустую стену сарая глядеть и то веселее, чем лежать в кромешной тьме, да и звуку с улицы доступ открыт. Сейчас уже, наверное, короткий зимний день клонился к закату. Парашка проглатывает одну букву

в слове «бабушка» и произносит его, смягчая и сокращая: «Баушка». И взрослые здесь так же говорят. Язык здесь несколько иной, чем тот, который я изучала в школе и на котором говорили женщины нашего полка. Жители здешние не говорят «куда», «туда», а сыпят быстро «куды», «туды». И говор этот близок звучанию казахских слов. Говорить так было легче и для меня — не надо язык ломать.

— Или за тобой гонится кто? Сидела бы дома,— нарочито сердится тетя Дуня.

— Да я сидела! Долго сидела... Бабушка Дуня, а к вам тоже заходили немцы? — с поспешной деловитостью спрашивает Парашка.

— Заходили, да ушли, ироды.

— А у нас дома два немца! Одежда у них зеленая. На плечах погоны. Желтые, как золотые. А я не испугалась,— тараторит Парашка.

— Вот и хорошо, что не испугалась. Ты же у нас молодец,— говорит тетя Дуня.

— Я вот нисколько не испугалась,— еще возбужденнее продолжает девочка.— А они по нашему совсем не умеют говорить. Мама говорит, они по-своему, по-немецкому, разговаривают.

— У них язык другой,— соглашается тетя Дуня,— нам их не понять.

— Один немножко... чуть-чуть говорит. Они такие смешные. Мне говорит «девка». Не знает, что я еще маленькая. А у одного есть такая вот маленькая гармошка. Он ртом... губами играет. Такая интересная. Я попробовала играть... у меня не получилось. Один из них такой хороший. Конфетку мне дал. Я не испугалась. Я сказала, дай мне насовсем гармошку. Он сказал, потом... завтра даст. Он не обманет меня, бабушка Дуня, даст? — озабоченно спрашивает Парашка.

— Может быть, и даст. Пойдем в дом, там тебе личичка подарочек велела передать,— сказала тетя Дуня, со скрипом открыла дверь и увела Парашку в дом.

Кроме тети Дуни я хорошо знаю в этой деревне вот эту Парашку. Она была для меня осколочком прошлого лета — голубого, веселого, залитого солнцем. Помню, как впервые увидела ее. Пообедав, я сидела у окна и разглядела маленького человечка, колобком катившегося по улице. Он состоял из большой женской шали,

рукавичек и валенок. Колобочек повернул к нашему дому.

— К нам малыш какой-то идет,— сказала я, недоуменно оборачиваясь к тете Дуне.

— А-а, это наша певунья — синичка Парашка,— сказала она, выглянув в окно.— Придется ее впустить. Ты спрячься-ка на печи.

— Ребенок же, может, посижу здесь? — сказала я.

— Ну, умна ты, умна... Как раз ребенок и разболтает,— рассердилась на меня тетя Дуня.— Кому говорят — на печь!

Я поняла свою оплошность. Хозяйка права: малышка по всей деревне растрезвонит, что у бабушки Дуни живет какого-то необычного вида тетенька. Быстренько взобралась на печь, сделала небольшую щель и стала подглядывать. Закутанный колобочек протопал в избу.

— Раздень меня, бабушка Дуня,— тут же распорядилась Парашка.

— Сейчас, сейчас, эх ты, моя птичка-невеличка,— засуетилась, затопталась возле нее старуха, вмиг как-то преобразившись, голос ее гудел ласково, как-то даже виновато.

Тетя Дуня распутала «узелок», и я увидела хорошенькую девчушку. Она была смугленькой, с темными кудряшками, кругленькими глазками. Похоже, ее в деревне баловали, была она решительной, знала, что везде ей рады, и хозяйкой вела себя всюду.

— Бабушка Дуня, и валенки сними,— снова распорядилась она.

— Не надо снимать валенки, пол холодный, ноженьки замерзнут,— возразила старуха, но девочка заупрямилась:

— Все равно сними. Я в чулочках.

— Экая ты настырная,— заворчала тетя Дуня.

— Если не снимешь валенки, я тебе не спою про валенки.

Старухе пришлось уступить, стащила с Парашки обувь.

— Теперь я тебе спою,— объявила Парашка, довольная тем, что добилась своего.

— Ты поешь сперва, а потом уж петь,— сказала ей тетя Дуня.

— Не-а, меня мамка накормила уже. Не хочу я ку-

шать,— ответила Парашка, потом глянула на стол и вдруг замолчала, захлопала глазками удивленно:

— Ты, бабушка Дуня, с кем обедала? Наташка приходила?

— Нет, не приходила. Я сама ела.

— А почему ты из двух тарелок ешь?

— Где? — смешалась тетя Дуня.

— А вот,— показала пальчиком на мою тарелку Парашка, требовательно глядя на старуху.

— Так это я... проголодалась сильно, вот и поела из двух тарелок. Ладно, ты уж спой лучше.

— Ты одна из двух тарелок ешь? Так не бывает. Один человек из двух тарелок не ест. Если мало, еще доливают. Ты такая большая, не знаешь, что ли, это-го? — засмеялась Парашка, лукаво поблескивая глазками на тетю Дуню, которая не знала, то ли улыбаться ей, то ли хмуриться.

— Ты же... спеть хотела, так пой давай,— наконец нашлась она.

— Я тебе сначала спою про валенки.

Никогда не думала, что бывают такие хорошие песни даже про старые валенки. Пела Парашка звонко, с переливами в голосе, легко брала самые высокие ноты, и все-таки мне казалось, что ребенку не одолеть взрослой песни — было похоже, будто малышка тащит большой мешок, и я с тревогой ждала, не покачается ли она. Но она хоть и покачивалась, но все-таки донесла свой груз до конца, и мне самой стало легче, словно сбросила этот груз и со своих плеч.

— А теперь спой про Андрияшку и Парашку,— попросила ее тетя Дуня благодушно.

— Не хочу... А где Наташка?

— Наташка? У мамы она.

— А почему не приходит? Мне с ней поиграть хочется. Почему она не приходит?

— Потом придет.

— Когда потом? Она уже давно не приходила.

Наверное, Наташка — это та пышноволосая малышка, которую я видела на фотографии, внучка тети Дуни, ей она, скорее всего, и носит каждый день узелки с едой. Парашка хнычет: «Почему Наташка не приходит?» Так вот оно что! Это из-за меня старуха не приводит сюда даже единственную свою внучку. Не зря

казахи говорят, что ворованного не утаишь там, где есть ребенок... Молчалива, сурова, неласкова моя хозяйка, трудно привыкнуть к такому характеру, полюбить же — кто такую полюбит?! А она ради меня... Как часто мы тянемся к тем, кто напоказ радушен к нам, не замечая того, что лежит в глубине человеческого сердца.

Мне все хочется, чтобы старуха была другой, чтобы на лице ее почаще гостила улыбка, тогда мне было бы легче ее понять. Но большей частью старуха угрюма, молчалива, и я только-только начинаю прозревать. За чем она подвергает себя опасности, приютив меня? Ведь даже некоторые очень отзывчивые и, казалось бы, давно знакомые тебе люди, понимая твое трудное положение и от всей души сочувствуя тебе, постарались бы избавиться от тебя, чтобы избежать лишних забот и неприятностей. А этой бабке совесть не позволила прогнать среди зимы беременную женщину, чужого ей рода-племени, обличья, языка, и она взвалила на себя тяжкий груз человечности, тащит его без упреков и вздохов. Если суждено мне благополучно разрешиться от бремени и уехать в родные края, может быть, она и вздохнет облегченно и скоро забудет обо мне, а может быть, будет вспоминать и с суровой гордостью говорить: «Хоронилась у меня тут одна нерусская молодайка и родила». Все может быть, загадывать трудно. Но я никогда теперь не забуду этого замкнутого и немногословного человека...

— Если завтра не приведешь Наташку, я к тебе больше не приду. Вот, бабушка Дуня, ты это знай! — надувшись, заявила Парашка.

— Ладно, ладно, приведу тебе ее завтра. А ты теперь спой про Андрияшку.

— Ой, бабушка Дуня. Я же другую песню знаю. Я ее тебе ни разу не пела. «И зачем он моргает» называется. Вот послушай.

Парашка подбоченилась, подняла головку и затянула: «Ходит парень по деревне». Кивая в такт, она спела припев и вдруг спросила.

— А зачем он моргает, бабушка Дуня?

И тут старуха рассмеялась, смеялась она всей грудью, точно на мягких кочках ее покачивало.

— Откуда же мне знать, может, девушкам об этом известно.

— А ты почему не знаешь? Ты уже большая...

Нет конца Парашкиным вопросам. Она не понимает, как это взрослые могут говорить: «Не знаю». Взрослые должны знать все. И старухе не надоедает слушать песни, отвечать на ее вопросы. И потому она радуется каждому приходу Парашки.

Радуюсь и я в своем укрытии, как будто яркую лампу зажигает девочка-певунья в этой убогой и сумрачной избе, и она освещается то зеленым, то синим, то густым желтым светом. Каждый ее приход развлекает меня. Круглое Парашкино лицо, остренький носик, карие глазки с длинными ресницами сияют, когда она поет. И чем больше хвалит ее старуха, тем задорнее звенит голосок Парашки. Далеко она пойдет, наверное, когда вырастет.

Однажды, когда она пела, наши взгляды вдруг встретились. Она резко оборвала песню, встревоженно спросила:

— Бабушка Дуня, а кто это там на печи?

От неожиданности я даже зажмурилась.

— Где? На печке? Никого там нет,— растерянно забормотала тетя Дуня.

— Нет, есть! Я видела.

— Никого там нет. Наверное, одеяло упало,— пыталась убедить ее тетя Дуня.

— Нет, я видела, кто-то есть. Глаза блестят,— упрямылась Парашка.

— Да это небось кошка,— тетя Дуня поднялась с места, поправила одеяла и на меня, а не на кошку прикрикнула: — Брысь!

А избалованная Парашка стала хныкать, просить бабушку показать ей кошку. Она так меня напугала, что я затаила дыхание и долго лежала неподвижно.

— Нет, это не кошка. То мышь была, она убежала в норку, теперь ее не поймать,— запуталась совсем тетя Дуня.

— Нет, не мышка. Я знаю. Не мышка.

После этого случая я потеряла половину удовольствия от парашкиных «концертов». Приходилось лежать в темноте, не видеть ее саму, а только слушать песни. Теперь старуха прятала меня от Парашки пуще, чем от Усачева...

Со скрипом отворилась дверь избы.

— Ты, Парашка, меньше бегай по улице, поняла? Там много немцев,— услышала я голос тети Дуни.

— Я не боюсь, бабушка Дуня. Я нисколько не боюсь немцев,— ответила маленькая шалунья.

8

«Я нисколько не боюсь немцев». Слова эти почему-то врезались в мою память. Я не видела Парашку, но представляла, как она катится по заснеженной улице, закутанная в большой мамин платок. Все село дрожит от страха, а она нисколько не боится. Да я просто замираю вся при виде зеленоватых немецких шинелей, в которые, как мне кажется, не могут быть одеты обыкновенные люди, не могу смотреть на немцев доверчивыми и любопытными Парашкиными глазами, страх мутит, искажает взор, порождает недоверие. Схватят меня, начнут выяснять подноготную, а когда узнают, что я жена красного командира... Нет, не могу я глядеть на них доверчивыми Парашкиными глазами. Я вижу в них не таких же людей, как сама, а вижу беспощадных врагов, готовых слепо убивать, насиловать, жечь.

И когда в деревню нагрянули немцы, мы с тетей Дуней поняли: изверги пришли, окаянные.

Обычно степенная, крупно, тяжело шагающая тетя Дуня, запыхавшись, вбежала в дом.

— Слезай с печи! Немцы! В деревне! — выдохнула она, и я помертвела от страха.

— Да поживее ты, часу нету,— потащила меня старуха.

Я сошла с печи, но ноги мои подламывались. Дрожь охватила все мое тело, и я, точно во сне, все делала медленно, сама ужасаясь этой предательской медлительности.

— Пошевеливайся же! Что ты, как вареная! Вон — машины их уже гудят!

Тетя Дуня прихватила с собой толстое одеяло.

Морозный воздух обжег мне лицо, пугающе ярко светило солнце, горел ослепительный снег. Тетя Дуня огляделась по сторонам и потащила меня за руку. Я сжалась в комочек, как будто так меня могли не заметить, и заковыляла за тетей Дуней, бросив взгляд

назад лишь у двери сарая, но ничего не увидела. Вско-чила испуганно корова тети Дуни, заставив подступить к горлу мое и без того бешено колотившееся сердце.

Старуха подвела меня к большому вороху сена у стены.

— Лезь сюда, заройся там, и ни звука чтобы мне,— сказала она шепотом и удивленно глянула на одеяло.— Господи! А это я зачем притащила? В сене же и так тепло.— Подумав, бросила все же мне его.— Ладно, укройся.

Она ушла, тщательно закрыв дверь, а я стояла как вкопанная, с бешено колотящимся сердцем. Издали доносился гул и рокот машин, слышались какие-то крики. «Господи, да что же я стою-то?» Я дернулась и стала торопливо разгребать нору руками, но слезавшееся се-но поддавалось туго, труха летела в глаза. Я протерла их, растерянно огляделась, увидела рядом вилы, стала ими еще поспешнее рыть углубление и тут услышала приближающиеся к нашему дому голоса. Разобрать я их не могла, но это были они, немцы. Я застыла. Сначала слышались только надсадные удары сердца — ка-залось, они были слышны по всей деревне. Потом за-скрипели шаги по снегу — все ближе и ближе. Кто-то пнул, загрохал сапогами в дверь.

— Эй, матка...

— Чево? — услышала угрюмый голос тети Дуни.— Я матка.

— Кто есть дома?

— А кому тут быть? Я одна живу.

— Партизан есть? Партизан...

Хлопнула дверь. Кажется, немцы вошли в избу. Я стояла с вилами в руках. «Господи, да что же это я? А вдруг сейчас они сюда придут?» Заметив в стенке са-рая небольшую щель, я припала к ней. У крыльца стоя-ли два солдата и о чем-то говорили. Один из них, поло-жив руки на автомат, указывал подбородком в сторону сарая, старухи не было видно, вероятно, она вошла в дом с другими солдатами. Ну, теперь пошевеливайся! Прислушиваясь то и дело к голосам снаружи, я судо-рожно углубляла свою нору. Снег не скрипел, и я про-должала разгребать сено. Наконец забралась в нору. Оборвав дыхание, снова прислушалась, нет, пока не слышно шагов, и я вынула еще пару навильников.

И в этот миг снова хлопнула дверь избы и раздались громкие голоса.

— Показывай, матка. Партизан есть? Партизан... пук... пук!..

Я кинулась к сену, но тут же остановилась: не осталось ли чего подозрительного? Внимательно оглядела сарай. О, боже... у самого краешка вороха валялось старухино одеяло, шаги приближались, и я быстро схватила одеяло и сунула его в нору.

— Вот в бане поглядите, коли не верите — баня у меня еще есть.

Открылась и сочно чмокнула дверь бани. За это время я успела замести следы и спрятаться в сено. И — заскрипела дверь сарая.

— Вот партизан, — входя, сказала старуха.

Солдаты, ввалившиеся за ней, расхохотались.

— Карош... карош партизан.

Я слышала, как они хлопали корову и важно и довольно галдели.

— Млеко. Много млеко. О, карош партизан.

В сарай вошел еще один немец. Звук его мягких шагов приблизился ко мне почти вплотную, и я с ужасом только теперь заметила, что не завалила вход в свою нору. Каждый шаг заставлял сердце kloкотать у самого горла, я сжалась вся, оцепенела, зажмурила глаза, ожидая неминуемого...

Но вдруг услышала, как тетя Дуня захлопнула дверь, навесила замок, до моего слуха донесся удаляющийся скрип солдатских сапог... А я все еще не могу открыть глаз, как будто тот, с мягкими шагами, все еще молча стоит надо мной, и я кожей чувствую его присутствие.

С трудом пришла я в себя, чувствовала себя разбитой, усталой, вместо страха свинцом разлилось равнодушие, я долго лежала, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Затем, собравшись с духом, осторожно выбралась из норы и заглянула в щель. Двор был пуст, истоптан. Только за плетнем, на улице, шел куда-то солдат, он скрылся за углом, мягко черневшим бревнами. Я подождала еще, и, несколько успокоившись, принялась расширять и устраивать свою нору, укрыла сеном вход. Пригодилось и старухино одеяло. Пахучая сенная труха лезла в нос, я расчихалась, закуталась в одеяло с головой, чтобы не были слышны снаружи эти подозрительные звуки.



Постепенно утихло все — и в деревне, и в душе моей. Кое-где залаяли собаки, и я подумала почему-то, что немцы больше не зайдут в сарай. Мысль переключилась на другое. Света... Света знала, что немцы придут сюда, и сообщила нам об этом. Господи, она одна среди врагов... Как я могла обижаться на нее!

Холодность ее задела — вот что! Видно, привыкла я лежать на теплой старухиной печке и думать лишь о собственных бедах. О своем одиночестве. О неопределенности завтрашнего дня... Мне так хотелось, чтобы всякий жалел меня, гладил сочувственно по головке. И чтобы Света тоже нянчилась со мной, дула на мои болячки. А разве у нее меньше, чем у меня, горя? Одно у нее только преимущество — она среди людей одного с нею языка и ничем не выделяется среди них. Это хорошо, это помогает, но она не стала прятаться за чужие спины, взвалила на свои плечи тяжелый и опасный груз.

А я все плачу, лью и лью слезы, словно пытаюсь все ужасы войны, все горе людское измерить собственным своим горем, будто и война началась лишь для того, чтобы сделать несчастной одну меня...

Разве у каждого только свое горе? Общая беда нависла над всем народом. А я, как слепая муха... мечусь, защищаю свою жизнь. Света решилась и вышла против врага. Обиделась, что не разрыдалась она по-бабьи при встрече со мной. Как же я могла корить ее тем, что было с нею там, в лесу, страданиями ее! Да, она не щадила себя, и я тогда еще поняла, что больше у этой женщины слезы не выступят на глазах. Почему не заметила я, что пришла к старухе не прежняя мягкая Света, а та, которую я успела разглядеть там, в последний раз, в лесу.

Да, безвольная, красивая женщина умерла в ней в ту страшную ночь, нынешняя «Смуглянка» чужой мне человек, и этот человек сильнее и выше меня, и он мне дорог.

«Эта война будет жестокой, потому что весь народ взял в руки оружие», — говорил Носовец старухе. Многих из этой деревни забрали в армию до прихода немцев. И из нашего аула, наверное, тоже немало ушло на войну... И дядя Сеилхан небось воюет теперь. И Альмухан, над которым он постоянно подшучивал... И ему приходится драться, проливать свою и чужую, вражескую кровь.

Отец... Отец, наверное, в ауле. Ему за сорок. В таком возрасте, кажется, не берут в армию. Почему-то редко о нем вспоминала все эти трудные дни. Может, не люблю его? Нет... Просто отец всегда был человеком неприметным, мы даже не замечали порой, дома он или нет. «Господи, ну кто поверит, что Калжан родился от старухи Камки», — не однажды слышала я от аульчан.

О мягкотелости сына тужила и бабушка Камка. Но ни разу не укорила сына. А о решительности и властности бабушки Камки в ауле тоже говорили много. Поскольку сын был тихоней, она сосватала ему невесту крепкую, здоровую. У казахов спрашивают, какого рода у малыша мать, если род ее из известных, то надеются, что малыш будет похож на людей этого рода. Жумаш умер, не успев пожить, а уцелею ли я, этого не знает никто...

Разогрелась в сене, и тут же накатили воспоминания, они теперь у меня всегда наготове, стали моей потребностью. Стоит только начать, а там уже накатывает и несет меня вспять.

Года четыре после смерти матери отец не женился. Может быть, так и жил бы холостым, но его женила бабушка Камка. Она сосватала ему приезжую женщину, муж которой умер в голодную зиму. Мне тогда шел уже четырнадцатый год, я многое уже понимала. Мужчина не должен томиться в одиночестве после смерти жены. Он должен создать новую семью. А кого мог выбрать отец? Пришлось взяться за дело бабушке Камке.

Мачеха мне не понравилась. Об этом я никому не сказала, сама не понимая причину своей неприязни. Не было в ней ничего раздражающего, простая женщина со смуглым продолговатым лицом. Под припухшими веками влажные глаза, как будто она только что поплакала или собиралась поплакать. Была она робкой, никогда не смотрела человеку прямо в глаза, и о ней говорили все с жалостью: «Эх, бедняжка», и мне это было непонятно. Мне было непонятно — за что ее жалели, почему это она «бедняжка», и в сердце у меня к ней ничего не было.

В четырнадцать лет нелегко признать мачеху. Тут все против: сильна привязанность к бабушке Камке, и то, что мачеха старше тебя лишь на двенадцать лет, и отца почему-то жаль, и мать особенно остро начинаешь вспоминать, и Жумаша, и всю прошлую нашу жизнь. Но

бабушка Камка воспитала во мне сдержанность, я никогда не ругалась с Марзией, ни в чем ей не перечила, но даже молчание мое угнетало ее.

И быстро как-то почувствовала превосходство над этой пришлой женщиной, никак не обращалась к мачехе, словно у нее не было имени, а человеку тяжело, когда его никак не называют. Мачеха мучилась, и мне это доставляло страшное удовольствие. Заметив это, бабушка Камка велела называть мачеху — апа. Я подчинялась, но делала это так, что бедной моей мачехе было бы гораздо легче, если бы я окликала ее просто «эй».

Марзия все время чувствовала себя в чем-то виноватой передо мной, не поднимала на меня глаз, и отец при мне начинал суетиться, будто совершил кражу или еще какой-нибудь бесчестный поступок. Я чувствовала свою власть над ними, считала себя главной в доме после бабушки Камки, сделалась заносчивой. А бабушка Камка, несмотря на явное превосходство над другими, ни разу не обидела и не унизила сына со снохой.

Когда я уезжала из аула, Марзия вдруг заплакала. Может быть, она чувствовала, в какой переплет я попаду? И без того пухлые ее веки совсем оплыли. Но меня слезы ее не тронули, я даже разозлилась на нее.

В минуту прощания она крепко обняла меня и запрочитала:

— Голубушка ты моя, как далеко ты уезжаешь... На край земли уезжаешь... Увидимся ли еще...

Я вышла из себя, оттолкнула ее, бросила раздраженно:

— Ну, чего нюни распустила... хватит, не на смерть же еду!

Марзия (до сих пор про себя я называю мачеху по имени) испуганно глянула на меня покрасневшими глазами. Все тот же виноватый вид... Такой она и вспомнилась мне теперь, в этой темной норе.

Увижу ли снова ее? Сказала бы ей: недаром она так плакала и убивалась по мне, не обмануло ее вешнее сердце.

Не знаю, сколько я пролежала и который теперь час. Наверное, уже стемнело — погасли щели в стене, все слилось. Мыслями я все еще была в родном ауле, в далеком прошлом. Так всегда получалось, когда я оставалась одна и ждала беды. Может быть, это тоже способ выжить, не все же дрожать? Но тут я услышала, как

скрипит снег под чьими-то ногами, насторожилась, кто-то шел к сараю. Быстрые шаги... шаги женщины.

— Соскучилась, Зойка? — услышала я голос старухи, открывавшей дверь, — давно уже доить тебя пора.

Она заранее подавала голос, чтобы я не пугалась. И войдя, она продолжала разговаривать с коровой, а между этими словами бросила мне: «Лежи спокойно, не бойся». И добавила шепотом: «Проголодалась небось? Я тебе поесть принесла». Эти слова одинаково можно было отнести и к корове, и ко мне на случай, если бы кто случайно услышал их. Старуха подошла к стене, сдвинула сено надо мной и сунула мне узелочек.

— Пить небось хочешь. Погодь, сейчас молочка дам, — тихо сказала она.

Тетя Дуня подоила корову, напоила меня молоком и снова тщательно заложила нору.

— Немцы пока не безобразничают. Ты спи, не тревожься, я буду наведываться, — сказала она, уходя.

9

В глазах темно, ничего не могу разглядеть, все в какой-то горячей зыбкой мгле. Вот, кажется, лицо тети Дуни. Плохо мне, тошно.

— Ты не бойся, — говорит она мне.

Потом исчезла и она. Я ошиблась. Это же наш дом в ауле. У меня сильно болит внутри. Я пытаюсь подняться. Тетушка Марзия... это она суетится.

— Голубушка, потерпи, сейчас аркан протяну. Повиснешь на нем, легче будет, — говорит она. Зачем мне аркан, почему не вызывают врача, не везут в больницу? Нет, не нужен аркан. Наконец-то вошли люди в белых халатах... И тетя Дуня с ними, наверное, это она их позвала, но как оказалась она в ауле... Наши-то, домашние, не знают эту старуху, надо их познакомить. Что там еще случилось? Куда исчезли врачи? Как сильно болит живот! Не схватки ли начались? Марзия, да оставь ты свой аркан. Где же...

Я проснулась от тупой боли. Как будто во мне лежал тяжелый камень и ворочался. Я поглаживала живот. Руки замерзли, и через платье я чувствовала холод ладоней. За шею насыпалась сенная труха, она колола

и вызывала нестерпимый зуд. Вокруг тьма крошечная, хотелось выбраться из норы, выйти на улицу... но вдруг там немецкие часовые? Я уселась поудобнее.

Сколько я спала? Который теперь час ночи? Дернуло больно в боку, но боль постепенно прошла, и мне стало лучше. Да, думала я, повезло мне: рожать буду спокойно, в теплой старухиной избе. Теперь, выходит, везение кончилось. В деревне немцы. Уйдут ли они? Или застрянут здесь надолго?

Младенец во мне растет день ото дня. Он колотит меня, толкает, не дает ни на минуту забыть о себе. Пока я лежала на теплой печи тети Дуни, это даже забавляло: я не видела, но уже ощущала его, узнавала каждое его движение. Вначале он был робким, осторожно торкался, словно проверял свое умение двигаться, и вот он набрался силенок и колотит уверенно и решительно. Порой он пробуждался и сердито возился во мне, иногда переворачивался с боку на бок. Я научилась узнавать, когда он сердится, в такие минуты мне бывает больно, затем боль переходит в какое-то блаженство, и мы оба успокаиваемся в дреме. Иногда мы с ним разговариваем, молча. В этой нашей беседе нет слов, но мы понимаем друг друга; я чувствую его всем своим существом, каждым нервом и переполняюсь нежностью к нему.

Сын или дочь? Этого я не знаю. Да и не все ли равно — кто. Об этом я не думаю. Крохотное живое существо. Младенец.

Крохотное? Иногда он распирает мне живот и кажется огромным, тяжесть его влечет меня вниз... И тогда на меня накатывает, я начинаю злиться на себя. Сама еще дите, а туда же, ребенка пожелала завести... Да разве ж я пожелала его? Если бы среди родных была? А в такую пору... Еще не родившись, он погубит и себя, и меня! Несчастный, зачатый на беду...

Я по-настоящему выхожу из себя, злюсь, подобно сварливым бабам, которые нещадно проклинаят своих детей. Я бы вообще возненавидела его, но этого не допускает моя плоть, не успеваю как следует разойтись, как тело мое наливается теплой нежностью к своему плоду. Плоть не хочет отречься от части своей, ощущает каждой клеткой его движение, его тепло и млеет от этого. Тогда постепенно успокаиваюсь и я сама.

Удивительно, но он многое уже понимает. В минуты, когда мне тяжело, не беспокоит, например, когда я пряталась от немцев в этот сарай, он даже ни разу не шелохнулся, прятался вместе со мной... Он...

Господи, что там еще? Топот какой-то. Бегают. Что, рассвело уже? Но щели темны, ничего не видать. Или мне это мерещится? Встревоженно поднялась корова. Топот бегущих ног, отчаянные крики. Отчего всполошились немцы среди ночи?

Крики приближались, но слов было не разобрать. Стукнуло несколько выстрелов, они прозвучали мягко, как удары деревянного молотка. Шум уже был совсем рядом, выстрелы и крики зазвучали чаще. Зойка, взбунтовавшись, пыталась оборвать привязь, я так и застыла — неподвижно, с вытянутой шеей. Хлопнула дверь нашего дома. Кто-то вышел, весь двор запружинил под сплошной каруселью шагов.

— Обходи с той стороны! Обходи, говорю! — орал кто-то во всю глотку.

«По-русски... говорят. Господи, да это же наши!» — всплеснулось все во мне. Кто-то хлопал дверью, видимо, входил и выходил из дому, кто-то дергал дверь сарая, пытаюсь ее открыть. Из дома послышался приглушенный звук выстрела. Наконец они добрались до сарая, дверь распахнулась, кто-то влетел, испуганно заметалась корова, кто-то ударился о стенку. Затем — тишина. Казалось, вошло несколько человек... почему же стало так тихо? Кто-то вдоль стенки наощупь продвигался в мою сторону, я слышала его тяжелое, едва сдерживаемое, дыхание.

— Слышь, Иван, один убежал. Гляди, как ни в этот сарай заховался, подлюка.

— Осмотреть сарай! Быстро!

Кто-то обежал сарай вокруг и открыл дверь настежь.

— А ну, кто тут есть, выходи! — закричал он.

Я задыхалась и не могла шевельнуться.

«В сарае, видно, спрятался немец, сейчас начнут стрелять», — холодком стегнуло меня.

— Выходи, мать твою перемать, стрелять буду! — прокричали вновь.

Снова топот, потом голоса:

— Где? Где? Искать! Чтобы ни одна сволочь не ушла!

— Окружите сарай! Обыщите баню.

Тот, кто прятался в сарае, не выдержал, шагнул, споткнулся и упал справа от меня. Стоявшие у двери это услышали.

— Говорил я, здесь кто-то есть. Эй, Афоня, зайди-ка в сарай.

— Выходи!

— Рус... Рус... Сдаюсь...

— Выходи, тебе говорят, сука такая.

— Сдаюсь... Не убиват... Не надо.

Короткая возня — и немца увели. Кажется, вышла из дома тетя Дуня. Послышался ее голос:

— Повинят на нас. Хоть труп заберите!..

— Вину на нас валите, — сказал мужской голос. Какой-то очень знакомый голос, акцент вроде бы как у меня. — Не скажут же, что солдат фюрера убили бабы.

— Она правильно говорит. Вынесите трупы.

— А куда мы их денем, Степан Петрович?

— Отнесите в сарай. Фашисты сами потом похоронят. Доведите этот приказ до всех ребят...

Громкие, возбужденные голоса постепенно удалились. Где-то разгорелись выстрелы и крики, кипело ночное сражение. Стрельба то затихала, то усиливалась. Я прислушивалась к каждому звуку. По дороге пронеслись сани, пробежали люди, раздалось лошадиное фыркание — сражение нависло прямо надо мной. Я и боюсь, и радуюсь отчего-то. Хочется бежать со всеми в этой суматохе. В ней голос мелькнул, позвал за собой... Нет, это не голос Касымбека, я бы его сразу узнала. Но, наверное, голос казаха, и хочется выбежать, попросить этих людей забрать меня с собой, но я не могу сдвинуться с места, от неудобного положения у меня отяжелели руки и ноги. Сколько я просидела так, не знаю, не заметила даже, что стрельба прекратилась, суматоха улеглась и разлилась тяжелая тишина. Я вытянула ноги, пошевелила руками. Очнулся и младенец и тоже, видимо, стал расправляться, несколько раз толкнув меня в бок.

И замерла деревня в ожидании беды. На улице ни души. Каждый забился в доме своем, словно говорил: «Я ничего не видел, ни за что не отвечаю». Война обошла стороной эту деревню, словно огонь ее не смог одо-

леть лесные дебри, окружавшие горстку крестьянских дворов. И только вчера, спустя пять месяцев, сюда пришли немцы, ночью вспыхнул короткий, но кровопролитный бой, и вот теперь деревня переступила черту, которую всякому пришлось рано или поздно переступить в ту лихую годину — линию фронта. Пробил час и этой безобидной деревеньки...

— Замерзла небось? Оно в сене и тепло, а все же зима. Иди в дом, согрейся, а там как бог даст,— сказала тетя Дуня утром и увела меня.

Удивительной твердости характер у этой женщины. Она не потеряла голову от ночной кутерьмы, вымыла уже окровавленный пол, растопила печь. Я с ужасом всматриваюсь в почерневшие от времени половицы — они мне кажутся розоватыми: здесь убили кого-то. Я слышала, как тетя Дуня кричала: «Хоть труп-то уберите».

— Ну-к, поешь давай. Неизвестно, что еще будет. А сытое брюхо не подведет,— гудела тетя Дуня.— Может, дом мой спалят, а меня по миру пустят, кто его знает.

Кусок мне не шел в горло: теснились предчувствия, к тому же мне все казалось, что пахнет сырой кровью, сладкой пороховой гарью. Да и тетя Дуня, как ни крепилась, выглядела плохо, глаза ее запали, лицо осунулось, она то и дело тревожно поглядывала в окно. Вдруг она вскочила и бросилась к двери:

— Да это же Наташа моя!

Я тоже подалась к окну: к нашему дому бежала девочка лет восьми, с растрепанными волосами, без платка, в расстегнутом пальтишке. Старуха внесла ее в дом на руках.

— Наташенька... Да господи, да что ж это ты так, голомя? — суетилась тетя Дуня, растирая девочке уши.— Ай стряслось что? Такой холод, а ты без платка?

— Мамку... Маму убили-и.

— Что ты сказала? — тетя Дуня резко отодвинула от себя внучку и как-то жалобно, потерянно глянула ей в лицо.

— Я убежала. А в маму пуля попала.

Старуха не плакала, только лицо ее сделалось каким-то бескровным.

— Мы с мамой побежали. Пуля попала в нее. Но она не умерла. «Беги скорее к бабушке»,— говорит. А я

не хотела уходить. Тогда мама ругаться стала: «Тебя убьют! Беги скорее». Она и сама поднялась, но не смогла идти. Я стала ей помогать, мы прошли немного, и тут в маму попала еще одна пуля. И она умерла. А я убежала. В меня не попали.

Глаза девочки были сухи, говорила она с каким-то пугающим спокойствием, и голос у нее был ровный, сонный.

— За что, господи-и! За что же такое наказание? — в голос закричала тетя Дуня. Но и ее глаза были сухи, она с какой-то оторопелостью глядела на Наташу.

— Партизаны ночью перебили немцев. Они вчера в школе ночевали. А утром новые немцы пришли. Всех людей собрали. Всех, всех... — голос Наташи чуть дрогнул. — Всех с детьми собрали. Мы думали, нас не будут расстреливать. Говорили, что партизан ищут, а невинных не тронут. Потом некоторых увели за село. Говорят, их в овраге расстреляли. Мы слышали выстрелы. Все заплакали. И дети тоже заплакали. Тетя Паша сказала: «Все равно убьют, надо бежать». И мы с мамой побежали. Солдат нас не заметил. Мы свернули за дом. Спрятались за баней. Потом побежали огородами. Сначала пули не попадали в нас. — Наташа говорила без остановки, как заведенная. В глазах ее застыло удивление, смешанное с ужасом пережитого, которое никак не укладывалось в ее сознании. И смерть матери, похоже, она не осознала еще полностью. Я и сама ничего толком не понимала. Мы со старухой сидели как оглушенные. Первой пришла в себя тетя Дуня.

— Господи, чего же я сижу-то? — вскочила она с места. — Они же сейчас и сюда нагрянут.

— Они и сюда придут? — содрогнулась Наташа. — Ой, бабушка, я боюсь! Я их боюсь! Они снова убивать станут!

И Наташа, прижавшись к груди бабушки, наконец расплакалась. Ужас и страх, льдом застывшие в ней, внезапно растаяли, и она забилась в рыданиях — безудержно, по-детски.

— Голубушка ты моя, ласточка моя, не бойся. Бабушка никому тебя не отдаст, — целовала и утешала как могла тетя Дуня внучку.

— Ой, бабушка, их много. У них ружья. И тебя застрелят.

— Сейчас.., Сейчас. В лес уйдем. Не бойся, малень-

кая. Ох, да что же тебе на голову-то повязать? — совсем растерялась тетя Дуня. Затем, повернувшись, взглянула на меня отчужденно, с удивлением, словно подумала: «А эта еще откуда взялась?» — Ну чего ты застыла столбом. Повяжи платок девочке. Застегни ей пуговики. А я чего-нибудь соберу. В лесу для нас никто столы не накрывал.

И заметалась, забегала старуха по комнате, сорвала толстый платок, которым ночью завешивала окно, и бросила его мне. Сама же спешно нырнула в сени. Я дрожащими руками стала завязывать платок девочке, слезы оживили ее мертвенно-бледное личико. Я никак не могла завязать огромный толстый платок на ее маленькой голове. Вошла тетя Дуня с наполовину набитым мешком.

— Ну-ка, подсоби, на спину взвалить надо, — сказала она и присела на скамейку, перебросив через плечо концы бечевки.

Я завозилась, не зная, как пропустить бечевки.

— Да что ж ты непонятливая какая, господи прости! Привяжи концы к углам мешка.

В суете мы и не заметили, что в деревне поднялась суматоха. В избу вбежала какая-то баба и закричала с порога:

— Страх какой, Герасимовна, ужас господен! Немцы сожгли Хомяково. Всех людей побили. Теперь, говорят, к нам идут. Что делать, что же нам теперь делать?!

Вдруг, увидев меня, она поперхнулась и вытаращила глаза.

— Да знаю, — закричала басом тетя Дуня. — Наташенька вот оттуда прибегла.

Баба, забыв, зачем пришла, не сводила с меня удивленных глаз.

— А-а это кто, Герасимовна? Откудова взялась? — вымолвила она наконец, затравленно озираясь.

— Да какое тебе дело до нее? Бежать надо шибче, в лес бежать надо.

— Ну, уж и спросить грех. Незнакомый человек, вот и интересно. Видно, издалека пришла?

— Ты, Дарья, наверное, и в могиле балаболить будешь. Помолчи, Христа ради, — сказала тетя Дуня и с мешком за спиной вышла из дома с Наташей.

— И слова у них спросить нельзя, — в досаде треснула Дарья дверью, выходя следом за нами.

До сих пор, прячась сперва по лесам, потом на печке, я как-то не думала, что опасность может грозить и другим, как будто враг выслеживал только меня. Но сегодня на улице я увидела: страшная весть о Хомяково всполошила всю деревню, кто на санях, а большинство же пешком, с узлами за спиной торопливо уходили из деревни. Кое-кто даже корову тащил за налыгач, а то и свинью гнал.

— Гляди-к ты, народ коров уводит. Надо и нам Зойку захватить,— бросилась к сараю тетя Дуня.

— Бабушка, бабушка, бежим скорее. Они сейчас придут,— заплакала, затопала ножками Наташа.

— Сейчас, солнышко мое, сейчас. И в лесу молочка захочешь.

Но тут мягко прозвучали далекие выстрелы, и быстро, почти мгновенно стрельба разрослась, усилилась, раздались истошные крики и вопли. Те, кто уже вышел за деревню, со всех ног бежали назад.

— Не ходи туда — немцы!

— Немцы пришли!

— Деревню окружили-и!

Тетя Дуня как взялась за ручку, так и застыла у двери сарая. Наташа вырвалась из моих рук и вцепилась в бабушку.

— Бежим! Бежим скорее, бабушка! — заверещала она в ужасе.

Я растерянно смотрела на них, не зная, в какую сторону бежать. Какие-то сани свернули с дороги к лесу. Лошадь по брюхо увязла в глубоком снегу. Свалившись с саней, какой-то мужик стал нещадно нахлестывать ее. Те, кто сыпанул от немцев обратно, прятались по домам. Что делать? Куда теперь? Может, и нам дома спрятаться? Тетя Дуня растерянно оглядывалась. Во все горло орала Наташа.

— Герасимовна, на Погорелое дорога открыта. Бежим туды! — крикнула какая-то баба, пробегая мимо нас в распахнутом полушубке и сбившемся с головы платке.

Вдоль деревни протянулся овраг, противоположный склон его зарос березняком. Я еще в первый раз его заметила. Тетя Дуня, схватив Наташу за руку, кинулась к центру деревни. За ними поковыляла и я. Мы бежали вдоль крытых соломой старых изб с почерневшими, местами осевшими срубами, мимо сараев и курятников. Одни уже наглухо заперлись в своих домах, другие,

вроде нас, заполошно метались по деревне. Я снова взглянула в сторону леса. Мужик все еще нахлестывал лошадь. Наконец она выбилась из сугроба, затрусила рысцей и вдруг грохнулась на дорогу, как подкошенная. Из саней метнулись три человеческие фигурки и, спотыкаясь и падая, побежали к лесу. Одна из них женщина, а те двое, кажется, дети. Мужчина подхватил одного ребенка на руки, но тут же ткнулся в снег.

— Беги сюда! Не отставай! — крикнула тетя Дуня, тяжело, хрипло дыша раскрытым ртом. Мы обогнули старенькую избушку с заколоченными окнами и очутились за деревней. Наташа кулем висела на руке старухи, концы ее большого черного платка волочились по снегу. Я снова оглянулась: мужчина, который упал, все-таки остался жив. Он упрямо полз к лесу, две темные фигурки неотступно следовали за ним. Лошадь билась в агонии и взрывала копытами снег.

Справа сухо захлопали выстрелы, и в уши вонзился крикливый фальцет:

— Хальт! Цурюк!

— Назад!

Я догнала тетю Дуню и остановилась: увидела за тремя избами немецких солдат в зеленых шинелях и тут же заметила и людей в белых халатах. Они прочесывали деревню. У меня подкосились ноги: хотелось сесть на снег, все равно не знала, куда бежать, где прятаться.

— Все: теперя — не убежим, — устало сказала тетя Дуня.

— Бабушка, они убьют нас. Я боюсь! — захныкала бессильно уже Наташа.

Старуха схватила внучку за руку и побежала к покосившемуся сарайчику шагах в десяти от нас, я без раздумий бросилась за ними. Мы вбежали в темный сарай, в нем испуганно затоптались и захрюкали свиньи. Но это дошло до меня только потом, когда я немного пришла в себя.

— Сидите тихо! — прошептала старуха.

Мы сидели тихо, но свиньи продолжали испуганно повизгивать и хрюкать. Какая-то большая свинья ткнула меня в бок, и я невольно взвизгнула.

— Тиха! — зло прошептала старуха.

Шум приближался к нам: в ближайших избах отлетали двери, слышались тревожные голоса, детский плач.

— На собрание! Живо! На собрание!

Эти с детства знакомые слова на миг было прогнали мой страх, но тут же, точно шипящий свист хлыста, прозвучали немецкие слова:

— Шнель! Шнель!

Кое-что я понимала. В школе мы два года проходили немецкий язык. «Шнель» — значит «быстро», а остальное трудно было разобрать. Опять скрип снега, опять шаги! Немцы громко переговаривались между собой. Кто-то грохнул прикладом по стене сарая. Посыпалась труха. Свиньи заматались с визгом и хрюканьем.

Я закрыла глаза, а когда открыла их, в сарае было светло. В распахнутую дверь просунулась голова в зеленой фуражке, на груди висел автомат с пальцем на курке. Свиньи бросились к выходу, немец пнул одну из них. Он что-то крикнул своим товарищам. Я поняла слово «швайн». Шаги стали удаляться. К счастью, немцы нас не заметили. Свиньи, сгрудившиеся у двери, задержали солдата. Он привычным движением хозяина загнал их обратно в сарай и закрыл дверь, забыв, наверное, зачем ее открывал. Значит, на этот раз жизнь нам спасли эти голодные свиньи.

Мы затаились. Свиньи что-то ищут в темноте, тычутся в землю носами, похрюкивают, густо и тепло пахнет навозом, сырой соломой.

А шум все усиливался. Кричали на немецком и русском, тархтел мотоцикл, пронзительно кричали женщины, визжали и плакали дети. Мне казалось, что упиравшуюся изо всех сил деревню ударами прикладов гнали к краю бездонной пропасти, и выстрелы то и дело заставляли меня вздрагивать.

Болезненно ныло внутри, я обеими руками сжала живот, чтобы унять и свое и его дыхание. А он как будто рассердился на меня, стал пинаться. Ах ты, несчастный...

Но вот и нас обнаружили. Немцы снова пришли к сараю, выгнали свиней, колотя их прикладами и сапогами, и один из солдат вошел в сарай. Я подумала, что он даст очередь из автомата... закрыла глаза и подалась к стене, чтобы хоть на пядь быть дальше от тех пуль, которые сейчас вонзятся в мое тело. Не смерти боялась я, а боли.

Меня пнули в бедро, я вскрикнула и раскрыла глаза. Солдат снова пнул меня, заорал: «Пошел! Пошел!» В дверях меня ударили меж лопаток. Я упала и с огром-

ным трудом поднялась. Потом услышала отчаянный крик Наташи:

— Дяденька... дяденька! Не убивайте нас! Не убивайте.

— Не бойся, миленькая... Не бойся...— это голос тети Дуни гудел надтреснутым колоколом.

11

Не я одна, все вокруг были охвачены тяжелой тревогой. Жителей деревни загоняли во двор какого-то большого здания, то ли бывшей конторы, то ли школы, не знаю. Ни дряхлых стариков, ни грудных младенцев — никого не оставляли. Мужчин было немного, в основном старики, женщины и дети. Может быть, их, ребятишек, пощадят?

— Не тронут, поди, баб и детишек-то, а?

— В чем же они виноваты?

— Будут они искать тебе виновных.

Говорят, бормочут, чтобы успокоить себя, поддержать слабеющие силы. Иные похожи на сумасшедших: не понимают уже, что лепечут.

Во дворе становилось тесно, а людей все пригоняли. Шли одетые по-зимнему, неуклюжие бабы, с узлами и котомками. Пригнали женщину с шестью детьми. Одного малыша она несла сама, другого — ее десятилетний сынишка.

Нас охраняли часовые с автоматами наизготовку. Среди них были не только немцы, но и русские в формах полицаев. К одному из них обратилась какая-то женщина:

— Лука Саввич, скажи правду, бога ради, что же теперь с нами будет?

Но полицай заорал, грубо оборвал ее:

— Молчать! Не велено разговаривать!

Голос его показался мне знакомым.

— Нашли, у кого спрашивать. Это же гад ползучий, Усачев. Он хуже фашиста, — буркнул кто-то.

Каждый был занят собой, никто не обращал на меня внимания, лишь порой я ловила на себе быстрые удивленные взгляды. И только одна синеглазая бабенка с курносом носом прилипла вдруг ко мне.

— Ты откуда пришла?

Я промолчала.

— Ты же не из нашей деревни, не с этих мест. Кто тебя сюда пригнал?

— А я ее недавно у Герасимовны углядела. Вишь, нерусская она,— задрезжал поблизости женский голос.

Я узнала Дарью, которая прибежала сегодня к старухе.

— Видно, не понимает по-нашему. Молчит, как истукан. Чего ты, не можешь сказать, кто ты и откуда? — опять пристала ко мне Дарья.

Мне было не до разговоров. Я упрямо молчала.

— Глянь, молчит! Немая или языка нашего не знаешь? И брюхо у нее выпирает,— сказала курносая.

Кто-то из мужчин сердито оборвал ее:

— Ну чего вы к ней пристали, шалавы! Всех в одну яму зароят. Там и познакомитесь поближе.

Привели еще одну группу, тоже в основном стариков, детишек и баб. Нас прижали к самому забору в конце двора. Вдруг опять наперебой загремели выстрелы. Люди вытянули шеи, загалдели:

— Ваня Шестаков убежал.

— Подстрелили его.

— Нет, живой.

— Вот упал. Ой, убили!

— Нет, живой. Снова вон побежал.

— Эх, добрался бы до оврага...

Я ничего не видела, поняла только, что кто-то в отчаянии бросился бежать. Я бы не решилась на такой шаг, мне казалось, что спастись можно лишь здесь, в людской гуще.

— Эх, упал!..

— Убили бедолагу. Зачем было бежать дураку!

— Может, это мы дураки, а не он. Ждем, когда нас перебьют, как скот.

— Да что вы, Иван Федорович. Безвинных-то людей...

— Слободку вон дотла спалили, людей всех перебили. А мы чем лучше их?

Страшный смысл этих слов как-то не доходил до моего сознания. Я растерянно озиралась вокруг, потеряв из виду в многолюдной толпе тетю Дуню и от этого чувствуя себя совсем одинокой. Потихоньку начала протискиваться, искать мою старуху — не могла без нее.

— Наташка! Наташка! А я тебя сразу узнала, вот! Голос девочки показался мне знакомым. Да это же певунья Парашка! Она беззаботно «гуляла» в толпе и, подойдя к Наташе, схватила ее за подол.

— Ты когда пришла, Наташка? — Наташка угрюмо молчала, но Парашка не оставляла ее.— Наташка, ты почему перестала приходить к бабушке? Я приходила к бабушке Дуне. Часто приходила. А ты не приходила. Давай играть в прятки? — дергала она Наташку за рукав.

Осунувшееся, застывшее от горя личико Наташи не оживилось.

— Не надо. Не хочу я,— вяло отмахнулась она.

— Чуть-чуть поиграем, а, Наташка. Давай, я спрячусь? А ты ищи. Ну, закрывай глаза. Ну же! — не отставала Парашка.

Всегда вызывала радость во мне эта девчушка, но теперь меня всю передернуло от ее беспечности. Играть в прятки в толпе этих мрачных людей, каждый из которых с минуты на минуту ждет смерти... все равно что резвиться в комнате, где лежит покойник...

Мать Парашки, видно, почувствовала то же самое.

— Ты будешь стоять спокойно или нет? — злобно сказала она и шлепнула девочку.

Парашка разревелась, мать испуганно подхватила на руки, забормотала что-то ей на ухо, жадно и торопливо целуя. Вскоре раздалась команда:

— Пятьдесят человек — вперед!

Но вместо того чтобы выйти вперед, люди стали пятиться, панически теснить задних. Никто не слушал сердитых окриков часовых. Мне в толпе не было видно, но слышно было, как солдаты и полиция стали ударами прикладов выгонять людей вперед. Один из них считал.

— Дурачье! Скорее выходите! Кто первым выйдет, того раньше отпустят. Ну! — закричал грубо и весело Усачев.

Многие хлынули вперед. Я тоже подалась было за ними, но тетя Дуня схватила меня за рукав:

— Не лезь! Ты что — совсем спятила?

Отобранных увели куда-то солдаты с автоматами. Во дворе оставалось еще около сотни человек. Теперь они гадали об участи первых.

— Куда это их?

— За деревню вышли.

— Может, на работу какую?

— А грудных детей — тоже на работу?

— Может, просто проверить будут?

Я не видела ничего перед собой, кроме плеч и затылков. Со всех сторон на меня давили, я чувствовала дыхание людей — тяжелое, задавленное, точно они не стояли, а работали изо всех сил.

Невысокое зимнее солнце уже клонилось к закату. Откуда-то наплыли лиловые тучи. Края их кроваво рдели. Нас держали здесь уже больше часа. Ноги затекли, набрякли, стали мерзнуть и неметь пальцы. Вдруг кто-то закричал истошно, и в вопле этом слышалась смертельная тоска.

— Их повели к Кривому оврагу!

Все замерло. Пар перестал струиться. Потом пошел гул, стал шириться, толпа зашаталась, точно под ветром трава.

— Верно, бабоньки, к Кривому оврагу их погнали, туда!

— Точно. Расстреливать ведут!

— Не иначе как!

— Неужто и в самом деле расстреляют?

Вдруг все притихло: раздались сухие и мягкие хлопки. Выстрелы. Где-то стреляли.

— Да это же их стреляют! — заложил мне уши пронзительный крик, и я узнала голос говорливой Дарьи.

Толпа, запертая во дворе, загудела и заколыхалась, забила. До сих пор все тешили себя надеждой, что все обойдется, а теперь дохнула холодом смерть прямо в лицо каждому.

Вопили и рыдали женщины, плакали испуганно дети. Крестились, обнажив седые головы, старики. Толпа показалось мне единым телом. Оно стонало, выло, колыхалось из стороны в сторону, и я была крохотной частью его, не имела собственной воли — в один узел завязано все было.

Как никогда мне нужен был близкий человек, чтобы стоять с ним рядом. Где тетя Дуня? В этой суматохе я опять потеряла ее из виду. Но найти ее было не легче, чем иголку в сене. Меня отнесло к тому месту забора, где доски были поуже и пореже, услышала треск и обернулась — тетя Дуня выломала доску и выталкивала в пролом Наташу.

— Беги, пока не заметили. Добирайся до огорода,— шепотом велела она.

Девочка выскользнула в щель и побежала со всех ног. Полы ее пальто развевались и бились, как крылышки воробья. Вот она добежала до стога сена у чьей-то избы. Но тут солдат, обходивший забор снаружи, заметил ее, поднял автомат и только было начал стрелять, как тетя Дуня пробралась в узкую щель и вцепилась в руку солдата. Солдат чуть не выронил оружие, вырвал руку, толкнул автоматом тетю Дуню в грудь и прошил ее очередью. Тетя Дуня беззвучно осела, и тело ее мягко завалялось в снег.

На миг мой взгляд упал на лицо солдата. Лицо его было бледным. Он заорал злобно, будто не он убил человека, а мы:

— Цурюк! Цурюк!

Толпа отпрянула от забора, увлекла за собой и меня. Я уже совсем ничего не понимала. Голова шла кругом. Я видела, что тетю Дуню убили, но ничего не чувствовала, даже страх куда-то улетучился, только немец с безжизненными глазами все стоял передо мной.

На другой стороне двора тоже, видно, кто-то пытался бежать, там прогремел выстрел, и толпа всей массой своей качнулась в нашу сторону. Снова стали отсчитывать людей. Плач усилился, понеслись прощальные крики. Но вскоре все улеглось, и толпой овладело тяжелое уныние. Нас стало меньше. Толпа, которая недавно еще казалась мне единым телом, теперь вдруг распалась на мелкие части. Матери прижимали к себе детей, близкие люди сгрудились и как могли успокаивали друг друга. Жены, прижавшись к мужьям, плакали, обнимая их. И только я оказалась совершенно одна. С кем мне прощаться? Кому сказать последнее слово, глянуть в глаза? Увидеть в них жалость, прочесть сострадание. Утешиться тем, что вместе встречаем смертный час. Я здесь никого не знаю. Как это страшно...

Со следующей партией увели и меня. Вначале я вроде стояла в самой глубине, но каждый хотел хоть на миг отдалить свою участь, и меня постепенно вытолкали вперед. Единственно, что мы еще могли, это упираться и пятиться, как овцы, которых ведут на убой. Но нас выгоняли ударами прикладов. Вопили бабы, плакали дети, гортанно орали солдаты. Меня тоже ударили по спине прикладом, но я даже не почувствовала удара, что-то

только хрустнуло в груди. Я потерянно брела в толпе незнакомых людей.

За воротами наша партия пошла ровней. Теперь никто не переговаривался, не кричал, тягостная тишина навалилась на нас, и мы несли ее груз на своих понурых плечах. Скоро смерть оборвет это безмолвие... Как вдруг зазвенел женский крик.

— Не могу я на свою смерть глядеть. Не могу!

Какая-то женщина вырвалась из толпы. Запрокинув голову, она обхватила ее руками, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Не могу-у! Не могу-у!

Я узнала словоохотливую Дарью. От отчаянного крика ее растерялись даже солдаты. Через некоторое время один из них крикнул:

— Хальт! Цурюк!

Но женщина даже не обернулась и, шатаясь, продолжала идти прочь. Застрочили автоматы. Толпа ожила, расслышались голоса:

— Упала.

— Царствие ей небесное, Дарья.

— Не убили. Снова побежала.

— Чем умирать покорно... правильно сделала.

— А мы что же, так и пойдем на убой?

Люди всколыхнулись. Строй смешался. Конвоиры заорали на немецком и русском языках. Стали стрелять поверх голов и кое-как угомонили нас. Мы шли по снегу, утопанному теми, кто проследовал тут прежде нас. Нас ждала такая же участь. Каждый понимал, что идет на расстрел, но никто не пытался бежать, как Дарья. То ли желание прожить хоть на одну минуту дольше, то ли слепая надежда, которая теплится до последнего мгновенья, держали нас.

Все опять разбились на кучки, хоть и двигались в строю. Каждая семья шла отдельно, дети в середине. Матери по-прежнему крепко прижимали к груди малышей. Чем дальше мы шли, тем тяжелее становились ноги, в голове мутилось, тишина давила, обволакивала. Скрип снега под ногами, шум дыхания как-то не воспринимались: подвальная, подземельная тишина стояла у каждого в душе.

Вечерело, снег отливал сумеречным светом. Справа от нас угрюмо чернел лес. Морозный закат покрывался сизым пеплом, и весь этот мир, вся эта незнакомая

окрестность остывала и отделялась от обреченной толпы. Меня не станет.. Не станет... От этой мысли леденела кровь...

Наконец привели к оврагу. Солдаты, их было около десяти, сбились в кучку и курили. Они замерзли, пританцовывали и хлопали себя руками по бокам. Не верилось, что именно они будут расстреливать. В сторонке стоят два длинношеих пулемета. Возле них — никого. От солдат отделился долговязый худой немец. Видно, он был командиром, один из наших конвоиров начал ему что-то докладывать. Долговязый выслушал его спокойно; его осунувшееся лицо было сурово, но это ведь не лицо убийцы? Скорее, оно кажется лицом человека, который устал и хочет отдохнуть, и в глазах его совсем нет ненависти к нам. Он негромко приказал что-то, солдаты быстро и послушно взяли автоматы наизготовку, двое поспешили к пулеметам.

«Айн, цвай, драй, фиер, фюнф»... Знакомые со школы слова. Нас пересчитывали деловито, как скот! Спокойно, не спеша, видно, хотят доподлинно знать, сколько человек они убьют. Пересчитанных аккуратно ставили в шеренгу над оврагом. Лица у всех незрячие, бескровные, как живые трупы, идут туда, куда им укажут... И вдруг:

— Дяденьки... Дяденьки!

Умоляющий детский голосок — тонкий, чистый, отчаянный.

— Дяденьки! Не убивайте меня! Я вам песенку спою. Я хорошо пою!..

Пятилетняя Парашка, крепко обхватив ручонками шею матери, умоляла солдата, который гнал их к обрыву.

— Не убивайте меня! Мамку не убивайте! Дяденьки, я вам песенку спою. Я их много знаю:

«Сначала заплакал Андриашка,

А потом заревела Парашка...»

Со звуками этого голоска, бьющегося в страхе и недоумении, лопнула какая-то пелена, непроницаемо окружавшая меня. Я услышала, как пахнет снегом, простором вечеряющий зимний воздух, увидела густые синие тени на сугробах, пестроту леса — черную зелень хвои, рябые стволы берез, — все видела я отчетливо и резко. Но отчетливее, острее всего видела лицо Парашки: слезы градом катились по ее раскрасневшимся щечкам, а она пела, очень старательно пела солдату,

который, не обращая внимание на ее крики, на песню ее, продолжал гнать ее маму к обрыву. И Парашка таращи́лась на него, она никак не могла понять, что песни, которым так радовалась вся деревня, не трогают солдат, будто они ее не слышат...

Передний ряд, выстроенный над обрывом, уже как бы перешагнул черту, отделяющую жизнь от смерти. Это видно, это чувствуется необыкновенно остро, ибо это не жизнь, а небытие, которое выпало нам увидеть. Только голосок Парашки продолжал еще тянуться серебряной ниточкой, звенеть, и вдруг я увидела, как ее мать медленным-медленным движением подняла руку и ладонью закрыла дочери рот, и глазки ее тоскливо округлились, слезы полились еще гуще и сбегали теперь по материнским пальцам...

Мне казалось, что душа моя отделилась от меня и смотрит на все со стороны. «Айн, цвай, драй...» Каждая цифра вместе с указательным пальцем долговязого, точно пуля, бьет в грудь обреченного. Эта пуля летит уже ко мне... «фьер»... Я испуганно вздрогнула.

Меня вытолкнули из строя, слово «фьер» застряло в ушах... сейчас во мне застрянет пуля. Сердце упало, колени подкосились. Ноги как будто стали ватными — не знаю, как я пошла, как присоединилась к другим, не помню, как подошел к нам долговязый немец. С брезгливым прищуром вглядевшись в мое лицо, он что-то сказал своим солдатам. Один из них выволок меня из шеренги — расстреляют отдельно? А может, не расстреляют?.. Ну, хоть не сейчас...

Долговязый удивленно осмотрел меня и что-то сказал полному рыжему немцу. Тот владел русским языком хуже меня, спросил, ткнув в меня пальцем:

— Ты кто есть? Откуда?

— Не знай... Не знай... далеко...

Долговязый что-то буркнул переводчику.

— Ты монгол?? Джапан?

— Монгол... Джапан... — закивала я торопливо.

Рыжий немец дернул подбородком на огромного уса-того полица:

— Ты знает, откуда эта?

— Она не наша, господин начальник. Не из этих мест она. Лицо у нее, осмелюсь заметить, вовсе не русское, — залезбил тот.



Знакомый голос... Усачев, который приходил к старухе. Ужимает голову в плечи, сутулится, стесняясь перед немцами своего огромного роста.

Долговязый буркнул еще что-то, отвернулся. Переводчик ткнул в меня пальцем и сказал Усачеву:

— Его с собой возит.

Раздалась отрывистая команда, навели автоматы на людей, они молча стояли на краю обрыва... Но увидев, что в них собираются стрелять, зашумели. Вопли, плач, крики... У некоторых подкашивались ноги, падали до выстрелов. Захлебываясь, застрочили автоматы, гулко застучали пулеметы.

Не знаю, почему я не отвернулась, не закрыла глаза. Тела падали в овраг, некоторые валились вперед. Одна женщина развернулась и рухнула с обрыва, запеленатый ребенок выпал у нее из рук и покатился в сторону солдат. Корчился от боли седой старик. Сквозь треск выстрелов доносились стоны, проклятья. Большинство свалилось в овраг, оставшиеся бились в агонии. Снег покрылся новыми розовыми пятнами крови. Они казались страшными, зловещими цветами под лучами кроваво-красного заходящего солнца. Весь мир застилало сплошное красное море.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Лицо судьбы начинаешь узнавать с наступлением осени в жизни своей, когда прозрачны минувшие годы и что-то печальное и волнующее открывается в задумчивой их глубине, открываются черты твоей судьбы.

Мне всего только двадцать. Не осень, не лето, пожалуй, самый разгар весны, когда наливаются соком и сияет, блещет под солнцем молодая яркая зелень. Мне только двадцать, но я уже вижу черты моей судьбы: они просты и суровы, а порой искажены страшным напряжением — мне нужно уцелеть, сохранить моего сына, который родился на снегу, закрыть ладонями ту свечечку, тот огонек, который затеплился и светит на ураганных, беспощадных ветрах военного времени.

Судьба мне прятаться. Это так часто приходилось делать, таких трудов и лишений стоило мне это, что не узнать или отмахнуться от предназначения своего в те годы я не могла. Где только не приходилось искать мне убежище! В лесах, сожженных деревнях, на печке у тети Дуни, в сарае на сеновале — всего не вспомнишь. И вот теперь я снова сижу в норе, крепко прижимая к себе двух ребятишек.

Яма, в которую я забралась, снаружи совсем незаметна. Она вырыта под огромной разлапистой елью, настоящий партизанский тайник. Абан, который привел меня сюда и помог забраться, прогудел над моей головой:

— Сиди тихо, здесь тебя ни одна живая душа не сыщет. Буду жив, вернусь после боя. Потом, когда немцы уйдут. А до этого — никуда! — он стал заделывать, маскировать лаз и сквозь настил бросил мне еще раз: — Буду жив, вернусь.

В яме было черно, погребный воздух ложился на лицо и руки. Когда глаза освоились, я заметила, как в узкую щель пробивается свет. Землянка оказалась довольно-таки просторной, можно выпрямиться во весь рост. За

два года партизанской жизни мне не раз приходилось отсиживаться в таких вот тайниках. Я радовалась, когда попадала в них. Здесь было надежно.

Абан говорил, что наши войска уже близко, поэтому немцы, чтобы очистить свои тылы, направили огромные силы на уничтожение партизан. И двинулись по проселочным дорогам тупорылые грузовики, загудели самоходки, пошли прочесывать поляны и чащи цепи немецких солдат. Оставив меня с двумя детьми здесь, в потаенной землянке, наш отряд изготовился к бою. Он должен вырваться из окружения, ну, а если не сумеет... Мне нужно ждать исхода этого боя, ждать, и надеяться, и верить в свою судьбу.

Сын мой совсем уже большой — ему два года. С пеленок он не знает тепла, и болезни обходят его стороной, крепкий растет парень. И говорит он уже неплохо — и по-русски, и по-казахски.

Не хочу теперь умирать, не имею на это право. Были минуты, когда я хотела смерти, чтобы избавиться от мук. Много стерлось в памяти, притупилось, зарубцевалось в душе. Но одно кровавое событие не забыть до самой последней моей минуты. Его словно каленым железом выжгли в сердце. Это поголовное избиение деревни, где пригрела меня одна старая и бесконечно добрая женщина, говорившая то басовито, то высоким сорванным голосом. Нет ее теперь, нету...

Я думаю, мучительно напрягаясь, и никак не могу понять причину этого кровавого побоища, этой нечеловеческой жестокости.

В детстве я слышала историю об убийстве одного человека. Она заставила содрогнуться мое неокрепшее сердце. Теперь эта история почему-то все чаще приходит мне на ум, вместо того чтобы помочь разобраться во всем, она только запутывает меня.

Вот она, эта история.

В аул наш переселилась небольшая семья — издалека она приехала. Ее кормильцем был чернобородый мужчина по имени Оразалы. Бабушка Камка сказала, что им пришлось перенести беду, и жалела их. Как-то она пригласила их в гости, сама к ним навещалась, семьи наши сдружились. И вот однажды за чаем Оразалы и рассказал нам историю, которую не могу забыть вот уже столько лет.

— Наш род Тобыкты из племени аргынов, — начал

свой рассказ Оразалы.— Немало славных людей дал он миру. Нашим дальним предком был бий Кенгирбай, до сих пор уважительно мы его величаем Кабеке. Во времена нашего Кабеке вышел из тобыктинского колена Жуантаяк достойный муж Кебек.

Я впервые услышала такое имя, оно показалось мне странным.

«Кебек» означает «шелуха».

— Человека звали Кебек? — рассмеялась я.

— Да, голубушка, Кебек,— ответил Оразалы, покосившись на меня сурово.— Хоть и звали его Кебеком, но джигитом он был благороднейшим. Несмотря на свою молодость, был человеком знатным. Весь род его уважал и ценил. И вот этот Кебек увидел однажды красавицу Енлик из рода Найман и всем сердцем полюбил ее. Девушка на выданье, она с малых лет была засватана за джигита из племени Сибан. Но она тоже полюбила Кебека. Тогда они решили нарушить родительскую волю. Кебек договорился с девушкой, увез ее и спрятался в ущельях горы Хан в глубине родовых земель. Вы-то знаете, матушка, к каким тяжелым распрям приводило умыкание просватанных девушек,— обратился Оразалы к бабушке Камке.— Но сильнее сибанов, упустивших невесту, разгневались найманы — сородичи девушки. Был у найманов своенравный и жестокий бий по имени Еспембет. «Выдайте нам бесстыжих, осрамивших нас, или назовите место боя»,— заявил он.

«Да, но как же мы будем людям в глаза смотреть, если выдадим вам своего сородича? Нет, мы будем биться до последнего»,— решили было тобыктинцы, но Кабеке осадил их. «Найманов много, нас мало, нам их не одолеть».

— О боже! Неужто предок ваш решил выдать на казнь молодых людей? — не выдержала бабушка Камка.

— Нет, наш Кабеке не сам выдал их.

— Выходит, хотел сказать: своими руками не передам, если сумеете, поймаете сами,— вздохнула бабушка Камка.

— Выходит так, матушка,— усмехнулся печально Оразалы.— Нашему Кабеке тоже нелегко было. Сила ведь солому ломит. Приходилось уступать. Не я прячу беглецов,— сказал он,— если сумеют, пусть их найдут сами найманы. Но слушайте дальше, и тогда поймете, насколько дальновидным был наш Кабеке. Еспембет заслал к тобыктинцам лазутчиков и выведал, где нахо-

дится пещера, в которой шесть месяцев прятались Енлик и Кебек. У них к тому времени родился ребенок, и они не смогли сбежать. Не зря прозвали Еспембета «бессердечным», он приговорил к смертной казни молодых. Сибаны, которым невеста принадлежала по праву, уехали прочь, заявив, что не хотят они быть виновниками гибели молодых. На шею Енлик и Кебека набросили волосяные арканы и привязали к хвостам коней.

— Астапыралла! ¹ — ужаснулась бабушка Камка, и я испуганно прижалась к ней.

— Но Кебеке наш был таким сдержанным, спокойным человеком, что не шелохнулся бы, если бы даже вздрогнула земля. Он молчал. Десять лет ни словом он не перемолвился с найманами, не требовал куна — платы за убитого джигита.

— Ну и терпение, — покачала головой бабушка Камка. — А найманы что?

— Прежде они выдавали тобыктинцам своих дочерей, брали их дочерей, роднились, жили рядышком и скот вместе пасли, а после смерти Енлик и Кебека они избегали встреч с ними. Каждое лето при выезде на джайляу они селились на целое кочевье дальше от тобыктинцев. Зато наш Кебеке каждый год ставил свои юрты все ближе к ним и оттеснял понемногу их с тучных пастбищ. Есть у нас священные уголья Чингистау, так вот, наш Кебеке отобрал у найманов большую часть тех угодий!

— Значит, сумел без крови взять плату за смерть джигита, — поджала губы бабушка Камка. — Понимаю, понимаю.

— Да, но это была еще не вся плата за джигита, матушка! — воскликнул Оразалы. — Спустя десять лет Кебеке пригласил трех биев из трех казахских джузов. «Вот что случилось с нами, братья, — сказал он. — Найманы, пользуясь своей многочисленностью, убили достойного нашего мужа. Можно на собратьев таить обиду, но можно ли их убивать? Я решил не проливать крови, потому что нам рядом жить, а не потому, что у тобыктинцев нет сыновей, готовых умереть за честь рода. Я молчал десять лет. Что же вы скажете об этом убийстве теперь, братья?» После долгого совета бии трех джузов решили: «Обида твоя правильная, Кенгирбай,

¹ Астапыралла — восклицание.

если войдут в обычай подобные случаи, мы перестанем быть единым народом. Что бы ты ни потребовал, все будет справедливо. Поэтому решение выноси сам. Мы его одобрим».

— Вот мое решение,— сказал наш Кабеке.— Я прошу кун за трех человек. За джигита моего, за сноху мою и за младенца — потомка моего.

— Решил заставить найманов платить кун за их собственную девушку,— одобрительно перебила рассказчица бабушка Камка.

— К тому же, братья, я терпел десять лет, поэтому пусть уплатят кун десятикратно,— сказал наш Кабеке.

Так закончил свой рассказ Оразалы...

Позже я читала книгу о Енлик и Кебеке, видела пьесу о них, даже плакала, когда их играли раскрашенные актеры районного театра, но первый тот рассказ глубоко врезался в память. Особенно горько было за людей племени, убивших молодых. Они не могли поднять глаз на своих соседей и вынуждены были бросать исконные свои земли. Виновной в гибели Енлик и Кебека была всего лишь горсточка людей во главе с бессердечным бием Еспембетом, позор за их жестокость лег на все племя. Я как будто своими глазами видела, как они подавлены, как не смеют поднять глаза, хотя никто не упрекал их и не стыдил. Смерть молодых, словно глубокий ров, разделила два племени. Лишь потеряв большую часть земель, с трудом набрав десятикратный кун, воспрянули они несколько духом, почувствовали облегчение.

Зачастую детское воображение преувеличивает. Может быть, поэтому, когда вспоминала эту историю, мне виделось многотысячное племя, кочующее с опущенными глазами. Когда-то картина эта рисовалась мне так ярко и так жутковаты были люди, которые не могут взглянуть на небо, а смотрят только себе под ноги, что стала частицей и моего прошлого. И теперь она возникла передо мной, ожила и заговорила.

О немецком народе я кое-что знала по урокам истории в школе. Нам говорили, что этот великий народ дал миру немало гениальных ученых, писателей, композиторов, поэтов. Но пришло какое-то окаянное время и — вот они, свои еспембеты взяли верх в этом народе, но надолго ли? Наступит час, когда немцу страшно станет глянуть в глаза человечеству. И тот позор, который жег

найманов, станет жечь немцев, только в тысячу раз сильнее.

Как понять, оправдать и простить то, что я своими глазами видела: истребление грудных младенцев, согбенных старцев, жителей целой деревни... Не укладывается это у меня в голове. Более двух лет минуло, но стоит мне вспомнить этот кашмар, и чуть с ума не схожу.

Это теперь. А тогда, забыв, что в моем положении нужно беречься, щадить свои и без того потрепанные нервы, с безумной завороченностью я смотрела и смотрела. Время от времени их заволакивало тьмой, потом все прояснялось, становилось до рези в глазах отчетливым. Только вот смысл всего происходящего терялся. Бился судорожно о землю седой старик, на белых его волосах вскипела алая кровь, вот он сильно вытянул ноги, дернулся и затих. Кровь стекала по лицу на белую легкую бороду и дробилась на ней в какую-то красную ягоду. Полная женщина в телогрейке грузно подалась вперед и плашмя упала лицом в снег, запеленатый младенец вылетел из рук матери, покатился. Сквозь его белесую пеленку на груди у него распускалось кровавое пятно. Солдаты неистово прижимали к себе трясущиеся автоматы, словно те были живыми зверями, готовыми вырваться из рук и броситься на людей рвать мясо. Многоголосую, воющую толпу над обрывом словно косою снесло в мгновенье ока. Потом начали подчищать это место. Два солдата подхватили скорчившуюся в посмертной молитве женщину, отволокли к обрыву и бросили вниз. Еще один солдат тащил за ногу тело седого старика. Все действовали старательно, как будто приводили в порядок собственный двор. Один из солдат подхватил оставшееся незамеченным тельце ребенка, как куклу отнес к оврагу и швырнул его туда. Долговязый подал команду, солдаты выстроились в ряд над обрывом, направили дула автоматов вниз и старательно стали стрелять — теперь уже в трупы.

Я тоже умерла, ничего не чувствовала, не испытывала. Только видела. У меня были только глаза. И страх, и жалость, и ужас — все угасло во мне, все человеческие ощущения пропали куда-то, и как я не сошла с ума — не знаю.

О, если б я могла вырвать свои глаза, ослепить себя навек! Вбирая все до мельчайших подробностей, они с тщательностью и бережением скупца откладывали

в кладовые, сундуки, чуланы все это зло, а теперь то и дело оно всплывает, и я цепенею, стыну вся... Маленькая девчущечка вцепилась в отца и кричала истошно: «Папа, не хочу умирать! Папа, спрячь, меня!» Слышала я сквозь выстрелы и голос Парашки: «Мама, мне больно!» Я вижу крик, визг, стоны — именно вижу, и слышу предсмертные голоса заломленных рук. Вижу опрокидывающихся навзничь или падающих виновато на колени — без вины виноватых, в последнем своем земном прощении. Снег, утопанный солдатскими сапогами, раскис от крови, стал таять, слякотиться. А разверстая пасть оврага, из которой поднималась сероватая тьма, — забыть ли мне ее?!

Палачи завершили свою страшную работу и отправились назад в деревню. Красноватый свет узкого заката сливался с пламенем пожара, и низкие, лилово-пепельные тучи безмолвно били какие-то нервические всполохи, словно и на небе шла торопливая, воровская работа. Я шла в окружении шестерых русских полицаев.

— Что, деревню всю до трынки сожгут? — спросил один, помоложе который.

— Так приказали же.

— Она и так горит.

— Горит, да не так, еще придется поработать. Зимой дома нехотя загораются.

— Керасином бы.

— Тоже скажешь, так тебе сюда его и привезли, керасина этого.

С трудом тащу я свое тяжелое тело следом за ними. Нет во мне ничего, кроме тупой покорности, готовности идти, куда гонят. Я слышу слова, которыми перебрасываются полицаи, но не в состоянии их осмыслить. Я отстала. Один из полицаев толкнул меня прикладом, я чуть не упала лицом на дорогу.

— А ну, шагай! — заорал он и добавил несколько грязных слов.

— Чего с ней чикаться-то... укокошить и все тут, — сказал молодой белобрысый полицаи.

— Нет, это непорядок, — осадил его Усачев.

Не сразу я догадалась, что значит «укокошить». Судя по тому, как преданный немцам Усачев одернул белобрысого, тот, кажется, предложил меня пристрелить. Стреляйте! Мне все равно, и, может быть, даже с облегчением умерла бы я сейчас.

— А-а-а!.. Не могу видеть!.. Не могу-у!.. Пропади оно пропадом! — надрывный крик вывел меня из тупого равнодушия. Мы стояли на краю деревни возле уцелевшей от пожара маленькой избушки. Двое полицаев, нагнувшись, входили в двери. Кричал белобрысый, тот самый полицай, который предлагал меня «укокошить», лицо его налилось кровью. Он рвал рубаху на груди и вопил: «Не могу!» Бился и задыхался, словно ему не хватало воздуха.

— Ну, будет! Не дури! — подошел к нему полицай старше и схватил его за руку, белобрысый оттолкнул его, вырвал винтовку, выстрелил не целясь в сторону и, отшвырнув оружие, обмяк, бессильно опустился на корточки и вдруг заколотил себя по голове и снова закричал хрипло:

— О-ох, не могу! Да зачем же меня мать родила?!

Усачев надвинулся на него всем своим крупным телом.

— Не дури. Если немцы заметят — не дай бог!

— Надо водки ему хлебнуть. Водка есть? — спросил полицай старше. — Без спиртного нельзя никак, — грустно вздохнул он.

— Самогону хватает, — сказал Усачев. — Пей — не хочу, ублажай душу грешную: лей в нее, чтоб порядок был.

В это время один из проходивших мимо четверых немцев приостановился, похлопал по плечу какого-то полицая и сказал, коверкая слова:

— Отдыхай, немного отдыхай. Гуляй...

Белобрысый все еще не пришел в себя. Сотрясаясь всем телом, он прижимался к Усачеву, дрожало его лицо, рот скривился, точно у ребенка, готового заплакать, в расширенных остекленевших глазах застыл ужас. Он был похож на сумасшедшего, или нет, на мальчишку, случайно уронившего младенца, которого ему поручили нянчить... Вид его и пугал, и вызывал какую-то жалость.

— За что? За что же их... Чем они виноватые? — шепелил одеревеневшими губами этот малый.

— Как «за что?» Они... весь немецкий гарнизон перебили, — неуверенно отвечал Усачев. — Немцы беспорядков не допускают.

— Гарнизон-то перебили партизаны, — заметил поли-

цай постарше. Он тоже не решался до конца высказаться.

— А партизанам кто сообщил?.. Кто держал тайную связь, как не они? — Усачев, кажется, обрадовался найденному доводу и заговорил решительнее, крепче.— Все это дела Носовца. Сюды его след вел, я это видел, да не смог ухватить его. Не-ет, это дело его рук, даже и не думайте! Так что это он довел всех до такой беды.

— Разве не мы перебили всю деревню? — просипел малый. Он уцепился за Усачева, его пошатывало, водило пьяно, он плакал, то и дело судорожно переводя дыхание.

— Почему мы? — нахмурился полицай постарше.— Врешь, мы не расстреливали. Не мы их расстреливали, понял?

— Да, расстреливали не мы,— жестоко сказал крижистый, пожилой уже полицай, выходящий из низкой двери избы. Глаза его под рыжими бровями были светлы, пронзительны и холодны.— Мы только руки и ноги вязали, а расстреляли немцы.

— Ну, конечно, мы же не того, а это...— стал вилять полицай.

— Ладно, оправдываться будешь перед партизанами,— оборвал его рыжебровый.— Передо мной нечего тут... Все мы теперь одного поля ягодка. Что бы ни было, отвечать головой... Самогону вы принесли, а закусь чем? Ноздрями воздух нюхать?

— Так погреб же есть, погреб,— прогудел Усачев.— Поворошите в погребе. Может, что сыщется. Это же хата Герасимовны. А она была старуха непоседливая, трудящая, запасец какой-никакой должен от нее остаться.

Герасимовна... меня так и ударило. Герасимовна... Господи! Да это же ее избенка, в ней я прожила два месяца. Я была настолько не в себе, что не узнала дом тети Дуни. Теперь я вглядывалась в просевшую от старости крышу, в потрескавшийся и почерневший от времени сруб. И знаю, и не знаю я этой избы. Войдя в нее осенью, я покинула ее уже среди зимы, и не представляла себе толком, как она выглядит снаружи. Теперь я снова стою возле нее, только на этот раз не своей волей пришла сюда, а пригнана прикладом автомата.

Господи, до сих пор не могу понять, за что так возненавидел меня тот белобрысый малый, так жалко обли-

вавшийся слезами. Он вдруг набросился на меня, точно я была его заклятым врагом. Усачев, заботливо обняв его за плечи и участливо заглядывая ему в сырые глаза — как же, натерпелся, настрадался парнишка с непривычки-то,— повел его к дому.

— Айда, Тереха.

Тот шагнул было за ним, но вдруг уставился на меня. Сначала он глядел с удивлением, словно недоумевая: «Это что еще за зверь такой?» Потом стал наливать злостью. Дрожащими руками он вцепился в винтовку Усачева, клокоча пеной на губах:

— Щас... щас.. на минутку только... з-застрелю.

— Не балуй,— оттолкнул Усачев его, но того это разгорячило еще сильнее. Он мертвой хваткой вцепился в винтовку Усачева. Казалось, вот-вот ее вырвет.

Дикая, внезапная эта злоба заставила меня очнуться и снова ощутить в себе донный холодок страха. Я испуганно отпрянула, всей спиной вжалась в деревянную стену избышки. Они возились уже всерьез, матерясь сквозь стиснутые зубы и задыхаясь, давясь воздухом. Через минуту, а может и через год, таким бесконечным показался мне этот миг,— борьба ослабела. Усачев осилил, молодой полицай опять обмяк, умолял по-детски плачущим голосом:

— Ну, дядя Лука... Дядя Лука, дай винтовку. На минутку... Только на минутку. Наших-то всех... все-ех перестреляли. Ну, на одну минутку... Я быстро... Я ее враз, суку косоглазую.

— Она тут не при чем. Что она — немка? — сказал кряжистый полицай.

— Да какая разница! Все одно не наша. Видали, рожа какая? Не наша! Наших-то постреляли. Не так, что ль? А эта чем лучше? Своих не пожалели, так... Ну почему? Почему? Винтовки жалете мне, собаки!

— Не балуй, Тереха, непорядок это. Пойдем-ка лучше в избу.— Усачев обхватил молодого полицая и потащил его в дом, но у входа тот опять с силой рванулся назад и потащил за собой громадного Усачева, ощерился весь, обжигая меня лютым взглядом:

— Ух, стерва брюхатая! Все равно прикончу тебя.

Мне было страшно, изнуренная, я едва держалась на ногах, но странно, я не чувствовала к этому полицая ненависти. Как ни бесился он, как ни бушевал, смотреть на него было жалко. Я чувствовала, что ему плохо,

совсем плохо, что жизнь ему не мила, что он панически боится ее и от этого неистовствует. Страх мой был испугом человека, которому острым ножом угрожает взбалмошный мальчишка, а он дышать боялся, смотреть, ходить, слышать — всего!

В дом набилось человек шесть, все в черной одежде с белыми повязками на рукавах, по-чужому аккуратные, бритые. Знакомый стол, за которым не раз молчаливо обедали мы с тетей Дуней. В доме всего три табуретки и один стул, поэтому стол придвинули к кровати. Усевшись, они как-то вдруг замолчали, точно внесли сюда покойника. Утих и белобрысый. Он ни разу не взглянул в мою сторону, застыл, уставясь в одну точку.

Пожилой полицаи, с большим носом, смуглый и сухощавый, осторожно внес огромную, как ведро, бутылку с мучнисто-зеленоватым самогоном и водрузил ее на стол. Другой, в цыплячем каком-то пуху вместо волос, с изогнутым носом и подбородком, накрывал на стол и делал это с нарочитой, заимствованной у кого-то степенностью. Они сидели грузно, расслабленно, точно кули с зерном. Говорили они скупо, тихо, урывками, словно что-то украли.

— Нарезь сала.

— Хлеб руками ломай, ножей не хватает.

— Посуды маловато.

— По очереди выпьете.

Солоноватый запах сала и черного кислого хлеба дошел до меня, засосало под ложечкой, с самого утра ни крошки во рту не было. Казахи считают одним из трех чувств, не признающих стыда, голод, вот он-то и стал меня теперь мучить. Но я не прошу, молчу. Буду сидеть тихо и смотреть, как они готовятся к своей проклятой вечеринке.

Рыжеватый поднял бутылку, ухватив ее под мышку, и с бульканьем разлил в жестяные кружки мутноватое пойло. Кряжистый полицаи взял в руки полную кружку, медленно оглядел остальных, те застыли в ожидании.

— Ну... что ж,— хрипло сказал он.— Теперь.. так уж... пусть земля им будет пухом. Царствие им небесное... да.

И он, вытянув шею, долго сосал самогон, опрокинул порожнюю посудину, и не закусывая, дважды крепко утер губы кулаком. Выпили и остальные со словами «аминь» и «царствие небесное».

— На-ка, Тереха, выпей. Легче станет.

Громадный Усачев обнял рукой молодого полиция, взял большую кружку и поднес ее к губам белобрысого. Молодой, как литья, подчинился ему и, дергая кадыком, стал пить, один раз он поперхнулся, но Усачев продолжал давить ему на плечи, успокаивая: «Ничего, ничего, давай, тяни».

Захмелел на удивление быстро.

— Давай, Тереха! Пей, не бойсь!

— На душе станет легче,— заговорили они.

— Ты, сынок, еще жидковат, оказывается,— сказал кряжистый полиция.— Не окреп еще. Терпи. Это еще цветочки.

— Оно, конечно,— молодозелено. Даже мы и то... Как мы не взрослые, а коленки тряслись. Кто же раньше видывал такое? — Рыжеватого, все время томившегося невысказанным, накопившимся в нем до края, теперь словно прорвало.— Конечно, они вроде как виноватые: столько немецких солдат постреляли. Все они тут партизаны. Но убивать баб и детей... грудных младенцев...

— Цыц! — ударил кулаком по столу кряжистый полиция.

То ли он главный над ними, то ли самый авторитетный, все вздрогнули и затихли, только рыжеватый не сразу остановился, бормотал что-то, сбивался и путался:

— Конечно, коли так... Я что? Я же к слову просто,— оглядел он с притворным недоумением своих товарищей.

— Не болтай зря, трепло чертово!.. Налейте еще,— велел кряжистый.— Много будешь трепаться, добра не будет. Сейчас не время нюни распускать. В кулаке держи сердце, вот так его, вот так!.. Наливай давай, кто там? Ты, Васька, что ли? Лей!

— Этого добра хватает, можно налить.

— Эхма?.. Где наша не пропадала!

Водка свое взяла: хмель пошел гулять по жилам, глаза заблестели каким-то слизистым блеском, лица сально запотели. Распрямившись духом, они загудели вразнобой и набили небольшую комнатенку хриплыми голосами, криком, стуком.

— Ну-ка, наливай еще.

— Эх, завьем горе веревочкой!.. Чур, по полной, говорю, да?

— Душа горит, налей еще. Запеклось сердце дочерна.

Сизыми пластами стлался табачный дым. Слабенько светила семилинейная керосиновая лампа тети Дуни.

В избу вошло шесть человек, а теперь, казалось, их стало вдвое больше. Все пришло в движение: вскидываются руки, вертятся взлохмаченные головы, тарачатся или щурятся глаза, ходят по потолку тени. За спинами сидящих мечется рыжеватый. Схватив кого-нибудь за плечи, он припадает губами к уху, словно боится, что не успеет сказать что-то важное. Его отталкивают, и крючковатый нос, и выгнутый, как дно роговой табакерки, подбородок прилипают к уху другого. Голоса звучат все громче, вскоре разговор превратился в сплошной гул. Я стала подремывать, клейко смежались веки, и вдруг — пронзительный вопль: «Ой, мама!»

— Ой, мама! Мамочка! Что я наделал? Что натворил!.. Спаси меня, мамочка.

Опять белобрысый полицейский. Рыдает, как ребенок. Разгулявшиеся были полицейские умолкли, все повернулись к нему, стали успокаивать, отчитывать, советовать.

— Ах, дурень, да ты что, сопливый, все за мамин подол цепляешься?

— Ладно, не глупи, выпей лучше.

— Перестань, говорю, ну? Перестань! Что ты?

— Хе-хе!.. Кишка тонка. Где ему выдержать такое!

Из густого, тяжелого гула опять пронзительно вырвался крик:

— Ах, мамочка ты моя родная! Что же я наделал?! — зарыдал и упал головой на стол этот малый.

— Заткнись, дурак! Без тебя тошно! — закричал на него кряжистый. — Что ты душу нам травмишь, маму сюда зовешь? Ты куда ее зовешь — думаешь ты или нет?! Налейте ему, — хрипло сказал он, успокаиваясь.

— Да, да налейте.

— Ох и добрячий самогон. Штука! — одобрительно подхватили полицейские. — Лучше лекарства нет. Все лечит, гад такой, все!

Казалось, время остановилось. Я снова начала было впадать в тупое забытие, когда заломило в животе. О, господи, так он еще жив, оказывается?! За целый день ни разу не напомнил о себе, а теперь вдруг забушевал. А может быть, это начались проклятые схватки? Ну — нашла время рожать! Прикусив палец, я долго сидела, не дыша от страшной, разрывающей боли. Но вот она стала расходиться, ледяной пот выступил на лбу.

Придя в себя, я увидела громадного Усачева, он качался и еле стоял на ногах — русский самогон, навер-

ное, способен свалить даже слона. Он пытался обнять молодого полицаю, сидевшего теперь с безжизненно повисшей головой.

— Тереха... Эй, Тереха... Ты меня уважаешь, да? Я же тебя, как брата родного... Нет, ты меня уважаешь, а? Ты скажи мне... Скажи... ты меня в-важаешь?

В полку у нас женщины говаривали: если мужики, выпив, заговорили об «уважении», все, недалеко и до драки. А тут уже шел разгул на сломную голову, и бог знает, чем все кончится. А если драка... Вот уж точно: верблюды дерутся и давят мух... Я понимала, что спасение одинокой беженки, когда погибло множество людей, живших в своих родных местах, было чудом, и оно, это чудо, произошло: я получила подарок — жизнь, но надолго ли? Чего же я еще сижу, какой еще милости жду? Или, может быть, того, что в комендатуре меня поми- луют? А пьяные эти полицаи не попытаются пристрелить еще по дороге? Меня опять стала заламывать боль, но, сцепив зубы, я пересилила ее, загнала куда-то вглубь своего тела.

Я сидела у самого порога, один из полицаев, выходя наружу, споткнулся о мои ноги и пнул их размашисто.

— Путаешься тут, стерва... Иди в сени!

Шагнув следом за мной, он ткнул в темный угол сеней:

— Сиди тут и гляди не шебуршись.

Через минуту он вернулся и, стуча сапогами, прошел мимо меня. Из щели кое-как прикрытой двери несло ча- дом, кислым перегаром и, покрывая галдеж, рокотал бас Усачева. Теперь ему было мало «уважения», и он плак- сиво жаловался, что его «никто не любит». И тут меня точно вихрем подхватило, я легко, не замечая тяжести своего тела, выбежала на улицу.

Яркий всплеск пламени ослепил меня, я испуганно прижалась спиной к стене. Горели деревенские дома. Я постояла, не решаясь оторваться от стены. Что же это я стою? Быстрее!..

Медленно, точно во сне, добежала я до сарая. На ошупь открыла двери, кто-то зашевелился внутри. Ох, господи, это же Зойка, корова тети Дуни! Она, тяжело вздохнув, тихо замычала. Я стала гладить ей морду и шею. Она изнывала от накопившегося в вымени моло- ка — в этой деревне не осталось рук, которые бы подоили ее. Чем больше гладила я, тем сильнее мучилось живот-

ное и толкало меня мордой в бок. Когда же ее доили в последний раз? Утром тетя Дуня... Неужели сегодня утром. Мне казалось, с тех пор прошла целая вечность, а выходит, этот страшный день все еще не окончился, нескончаемо длится, тянет и тянет жилы. Прошлую ночь провела в этом сарае и вот, пройдя сквозь ад, возвратилась опять сюда. Ощупью отыскивала свою нору в сене, влезла в нее и упала бессильно. Но тотчас шевельнулось: «Если начнут искать, то здесь им найти меня проще всего, или подожгут сарай», но сон, навалившийся на меня, заглушил предостерегающий этот голос и неудержимо повлек в какую-то бездну.

Я спала, меня не было... Спала? Или лежала мертво, с открытыми, ничего не видящими глазами. Поясницу разламывало, и все сильнее, все ближе боль, мрак то светлеет, то сгущается, и я уже не могу припомнить, где я лежу и зачем. Какая-то сила раскачивает меня, и кто-то стонет изнеможенно... Это мой стон, это я шуршу сеном. «Раньше так никогда не болело... неужто началось?» — жгла меня тревожная мысль. Началось — и где? В сарае, возле коровы, в горящей, безлюдной деревне под боком у полицаев, по-черному глушащих самогон! О создатель, повремени же немножечко. Дай же мне спокойствия, дай спокойствия. Помоги, спаси, помилуй!..

Я мучилась так сильно, что до меня запоздало донесся шум какого-то переполоха, стрельба. Я ничего не понимала, чувствовала только, что на дворе какая-то перемена. Вдруг раздались крики: «Партизаны! Партизаны налетели!»

— Сволочи, нажрались как свиньи. А теперь расхлебывайте! — зло прокричал чей-то хриплый голос. Он мне показался знакомым.

— Где сани? Мать вашу... Гоните сани!

— На запад дорога свободна. Надо тикать у Ерши! — распоряжался поспешно кто-то.

— Быстро запрягайте сани. Какая скотина распрягла коня?

— Станут партизаны ждать, пока ты сани заложишь.

— Ну, гони! Нехай догонят, собаки!..

Слышится топот, хруст снега и шумное дыхание бегущих. Стреляли уже совсем близко. Поясницу ломило по-прежнему, боль все усиливалась. Приступы ее шли волнами, и когда отпускало, я урывками улавливала то, что творилось снаружи. Но опасности мне казались да-

лекими и какими-то несущественными. Все мои силы уходили на сопротивление страшной, терзающей мое тело боли, и я не услышала людей, приблизившихся к сараю.

— Слышь? В сарае кто-то есть.

— Тсс! Осторожно...

— Наверное, раненый... Слышь, стонет,— доносятся до меня голоса, но я как бы не понимаю их, звуковая оболочка только доносится до меня — бу, бу, бу. Топчется и мычит корова.

— Тихо!.. В сене вроде кто-то стонет.

— Как будто женский голос, а?

— Эй, кто тут есть? А ну — выходи!

«Кто тут?» Этот вопрос повторялся то и дело. Один раз, придя в себя, я собралась было откликнуться, но вместо слов опять вырвался громкий стон.

— Вот здесь, вот. Здесь.

Чьи-то руки нашарили в темноте мое плечо, я раскрыла глаза и увидела темнеющую фигуру.

— Видать, тяжелораненый. Подойти к ногам, слышь, Васька?

Они неуклюже вытащили меня из норы, я завопила от нестерпимой боли.

— Осторожно, Вася, осторожно. Легче, легче.

— Потерпите, потерпите малость. Сейчас врач окажет помощь.— Пока выносили наружу, во мне все чуть не оборвалось. Они растерялись. Откуда-то накатила гул голосов, скрипнули по снегу шаги.

— Эй, подгоняй сани. Здесь тяжелораненый.

— Где Сергей Сергеевич? Здесь раненый. Сюда его скорей!

Меня положили боком на снег. Боль в пояснице не давала мне встать, и я лишь приподняла голову. Высокий партизан бегом подогнал ко мне лошадь с санями: «Тбрр!» Он остановил коня этим чисто казахским звуком, продрожавшим в сжатых губах и никакими буквами непередаваемый.

— Дабай, пагружай быстро.

И русский язык его в точь, как у меня, и голос, чистый и жестковатый, где-то я уже слышала. Господи, где же я его слышала?.. Ох, как скрутило проклятый живот! Кто это ощупывает мое тело?

— Куда ранен? В какое место?

Я не в силах была отвечать, стоном разве что одним. Сильные мужские руки быстро прощупали мое тело и вдруг испуганно застыли, дойдя до живота.

— Да это... Да это же беременная баба, женщина! Да у нее никак схватки. Надо бы в дом ее занести.

— Нет! В дом нельзя. Командир приказал уходить.— Голос того, с конем. Какой знакомый... О, как мне больно!

— Вы потерпите.— Это доктор уже надо мной.— Сможете часа два потерпеть? Подержите...

Я громко застонала в ответ, он приподнял мою голову и застыл, вглядываясь в лицо.

— Вот те на! Она нерусская.

— Кто же, немка, что ли?

— Нет. Не немка. Похожа на ваших земляков. Как же она попала в эти края? Не местная она.

Какая разница, на кого я похожа, мне же больно невыносимо, и прежняя боль казалась уже не болью, теперь из меня как будто вырывали все внутренности. Кто-то долговязый склонился над моим лицом.

— Кто ты такой? А?

И, не получив ответа, спросил по-казахски.

— Ты не казашка?

Господи, казах спрашивает, казашка ли я! Да, да, хочу закричать, казашка я! Да, я казашка! Но голос пропал, только вырывалось сиплое, частое дыхание, перемежаемое стоном. Внутренности с силой вытаскивало из меня. О, как больно! Придет ли успокоение хоть на миг? Отпусти на миг, не могу больше, отпусти!

В глаза мне сверкнуло, я зажмурилась. Кто-то зажег фонарик, склоняясь к моему лицу, и — застыл с раскрытым ртом.

— Вы не жена Едильбаева?

Я только и смогла выдохнуть: «Да».

— Так я и подумал. Я же Абан. Абан Букашев.

«Какой Абан? Где я его видела? Лицо вроде знакомое...»

— На станции мы виделись... Помните, когда мост разбомбило?

«Какой мост? Какая бомба?»

— То-то я боялся тогда, что не удастся вам выбраться.

«Мост... бомба...» Рядом со сгоревшим вагоном... Смутные картины возникают перед моими глазами, но

сейчас я далека от них. Совсем далека. Страшная боль отгородила меня ото всего.

— Товарищ доктор! Товарищ врач! Это знаете кто? Это жена нашего Едильбаева... Нашего командира!

— Да ну?! Какая встреча! А правда? Ты не того, не ошибаешься?

— Правда! Я видел ее раньше. Знаю. Я пойду позову командира! Женгей, Касеке жив! Здесь он.

«Касеке... Касымбек... жив... здесь...» Кто-то говорит... Зачем? Бред какой-то! Как Касымбек оказался здесь? Неужто и вправду отыскал меня? Неужто кончились все мои беды? Так далеко разметала нас эта кровавая и бесконечная война, что я просто не верила словам Абана. У меня еще хватило сил простонать:

— Касымбек? Где он?

Долговязый джигит склонился еще ниже.

— Да, да Касымбек. Здесь он, здесь!

Дальнейшее помню смутно. Доктор и долговязый заспорили о чем-то, разругались даже, не обращая внимания на вновь вспыхнувшую перестрелку. Сани тронулись, понеслись по ухабам. Я потеряла сознание. Придя в себя, я заметила, что сани легко скользят по заснеженной дороге. Я ощутила смешанный запах лошадиного пота и чистого снега. Мне стало несколько легче. Присутпы отошли, боль стала ровной и ноющей. Я взмокла, вытерла глаза и накрылась шалью, стараясь не думать о том, что схватки вернутся еще. «Не надо возвращаться, не надо, пусть повременят»,— молила я.

— Кажется, немец теперь далеко... как она, доктор?

— Первые схватки как будто прошли...

Голос джигита стал ближе. Кажется, Абаном его зовут? Где я слышала это несколько необычное для казаха имя? «Когда станцию бомбили...» А-а, вон где: у горевшего вагона. Долговязый солдат, на тощих ногах которого болтались, как переметные сумы на верблюжонке, штанины галифе. Он еще спросил, кто я. Не забыл, значит. А не он ли сказал, что Касымбек здесь? Да, он. Так и сказал! Как же я могла забыть это? Но неужто правду сказал?! Ведь если он жив, то должен быть по ту сторону фронта, там воевать с немцами. Что ему здесь делать?

Хочу спросить о Касымбеке, но боюсь. Одинаково тяжело мне будет услышать, что Касымбек здесь, и что этот джигит напутал что-то или сказал неправду. Даже

если и поверю, что Касымбек среди участников этого ночного налета, все равно он так далеко, что мне до него никогда не добраться. К тому же, кажется, это не сам он, а какое-то видение. Потянусь к нему, а оно исчезнет. Потому что и эта темная ночь, и сани кажутся мне сейчас просто сном.

А единственная реальность — моя боль. Было во мне давнее, затаенное в глубине души желание, в возможность которого я не верила, но очень хотела верить. Я боялась часа, когда младенец во мне попросится наружу, молила, чтобы он лежал там до тех пор, пока доберусь в родные края. Пустое желание, а поди ж ты, ухватила за него, как за спасительный талисман, обманывала, утешала и подбадривала себя им. Теперь все, конец и этому обману...

Снова стало ломить поясницу. Боль вошла в кости. Нет, слово «боль» здесь слишком слабое, чтобы передать то, что испытывала я. Начало скручивать, а затем сразу же выворачивать наизнанку. Я, видимо, заметалась в корчах. «Сейчас! Сейчас! Потерпите!» — услышала я растерянный мужской голос. Он дрожащими руками стал раздирать мое нижнее белье. Руки обоих мужчин не стыдятся. Но мне это абсолютно безразлично, силую выпростать все внутренности из себя, кто-то тянет, стараясь вывернуть меня наизнанку, но ничего не получается. Все горит, рвется что-то во мне, кровь ударила в голову, вены набухли так, что готовы лопнуть, и кажется, я умру сейчас от этих мук. Я так уперлась ногами в стенки саней, что, казалось, вот-вот сломаю их... Челюсти мои сомкнулись намертво, а пальцы, твердые как железо, вонзаются в бока. Я тужусь, хочу выбраться из собственной кожи... Тужусь... Вдруг я почувствовала, что с треском разрываюсь надвое. Наверное, я осталась живой только для того, чтобы перенести это мучительное наказание! За что?! Перед кем же я так виновата?..

4

Думает ли человек о том, что каждое живое существо является на свет в таких материнских муках? Нет, не задумываются об этом. Иначе бы не ценили так дешево человеческую жизнь... Побойще в деревне открытой раной дышало во мне. Много слышала я впоследствии о жестокости врага, о фашизме, но видеть первый страх в

застывших зрачках маленькой улыбчивой Парашки... Эти заплывшие страхом детские глаза возникают передо мной, обрывают мою мысль. Балованная девчонка, певунья. Озорная, со смешной своей независимостью и самостоятельностью, с улыбкой глядевшая и на друзей, и на врагов, она впервые зашла от ужаса: «Дяденьки, дяденьки, я вам спою...» Слезы покатались из ее глазок, и она громко запела, надеясь, что любимые всеми песни спасут ее от смерти... «Ой, мама, больно»... недоуменный, слабенький голосок снова звучит в моих ушах.

Нет, не понимаю я этого зверства. И, наверное, никто не сумеет мне его объяснить. Я выжила чудом, но половину души своей схоронила там, в глубоком овраге.

Оставшуюся половину заполняет теперь маленький мой Дулат. Он сделал вдвое тяжелее мое и без того трудное положение, но зато удесятерил мои силы. Сколько мук я из-за тебя вытерпела, но ты отплатил мне за это радостью, маленький мой.

Несказанную отраду испытала я в тот миг, когда ты появился на свет. Освобождение — небывалое, всеобъемлющее! Каждая клетка, которая чуть не разорвалась перед этим, расслабилась. Тихо и сладко спали помертвевшие от напряжения нервы, и мной стал овладевать вселенский какой-то покой, и я узнала, что человека может лелеять и нежить скрип санных полозьев, и студеные звезды на ночном небе, и запах мороза, снега... И погрузилась я в глубокий и счастливый сон...

Сладковато-горький запах дыма, треск сосновых дров, лицо мне овекает жар пламени. Сладкие эти мгновения, предтечи и обещания глубокого, целебной силы сна. У огня о чем-то шепчутся какие-то люди... Я пробуждаюсь и лежу, с легкой печалью ощущая избавление от долгого тяжкого пути. Вот так бы лежать и лежать. И шепот у печурки, хоть и неразборчивый, мягок и приятен слуху. Но вот эту сонную тишину нарушил плач младенца. Сердце мое сладко екнуло. Начал он негромко, но тут же стал кричать, наполняя криком всю землянку.

Вслед за ним вскрикнула и я. Сухощавый человек у печки поднялся, подошел, склонился надо мной.

— Проснулись? Долго же вы спали,— сказал он тихо.— Ну как мы себя чувствуем?

— Ребенок... ребенок плачет.

— Ну, раз думаете о ребенке, значит, чувствуете себя неплохо. Поздравляю с сыном. Чудесный мальчик, настоящий солдат. Взвесить я его не смог. Но парень крепкий.

Какой еще «вес»? Меня охватила жалость к захлебывающемуся в плаче ребенку. Захотелось увидеть его. Человек с продолговатым носом, выдающимися, как у лошади, скулами, с налетом усталости на лице был похож на колхозника — на сторожа или конюха, но это был врач, принимавший ночью мои роды. Ребенок был уже запеленат. Впервые в жизни кормить было как-то неловко и зуд охватил все тело... Крохотное существо, завернутое в тряпицу, казалось сначала и моим, и не моим, а когда оно жадно присосалось к груди, по ней словно ток прошел. Грудь сначала напряглась, потом доверчиво расслабилась: все мое существо наполнилось какой-то сладостной истомой, хотелось еще теснее прижать малыша к груди. Но он прилип крепенько, насытился не сразу.

— Сани не совсем удобное место для родов, — говорил между тем доктор, ласково поглядывая на меня. — Но все прошло удачно. И я благодаря вам впервые прошел акушерскую практику.

Я вся была захвачена ребенком и забыла поблагодарить доктора. Когда я покормила, он взял у меня малыша и передал молодой русской женщине, стоявшей позади него.

— Это Шура. Наша санитарка. Она присмотрит за вами, — сказал доктор. — Так как же вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Если хорошо, то сообщу вам еще одну радостную весть. Ваш муж здесь. Он заходил, когда вы спали. Шура, позови-ка старшего лейтенанта Едильбаева. Вас-то он видел, а сына еще нет. Теперь все радости отпразднуете разом.

Касымбек!.. Господи, что-то говорил о нем тот джигит... Абан, кажется, но я в муках ничего не разобрала. Надо было бы вскочить от прихлынувшей радости, броситься с криком наружу, а я едва могу шевельнуться, и даже теперь боюсь поверить этой вести. Столько счастья мне привалило в один день... Сердце стучит, бьется. Трудно выдержать не только большое горе, но и большую радость. Боже мой, что же я разлеглась, лежу себе

преспокойненько. Я подняла было голову, но доктор остановил меня.

— Вам нельзя двигаться, — сказал он. — Вредно вам волноваться, никак нельзя. Кажется, оплошал я. Мне следовало малость повременить. Моя вина. Виноват.

Я уронила голову, но тотчас же снова подняла ее в нетерпении. Что ж, и лежать вот так, когда придет Касымбек?.. Неподвижна навешенная у входа мешковина, не слышно топота ног, громко-громко бьется мое сердце. Сейчас, когда войдет Касымбек... Нет, никак не могу заставить себя поверить в то, что прямо сейчас увижу Касымбека. Честно говоря, я уже и забывать его стала: всего три месяца прожили мы вместе и шесть месяцев была я с ним в разлуке. Полгода! За эти полгода прошла половина моей жизни. Восемнадцать предыдущих моих лет стояли отдельно и над ними возвышалось такое короткое и такое огромное время, время моих мытарств и страданий. Потому что Касымбек, бабушка Камка, весь мой аул, казалось, остались на другом берегу моей жизни, таком далеком, что во мне поселилось отчуждение и к прошлой моей жизни, и к Касымбеку. А может быть, и Касымбек за эти кровавые месяцы, когда только «черной козе жизнь и дорога», охладел ко мне?

Радость и сомнения смешались, я запуталась от нахлынувших дум и не заметила, как пришел Касымбек. Я обернулась — у двери стоял молодой военный в шинели и шапке: Касымбек! В землянке было сумрачно, но я видела, как осунулся он, потемнел и посуровел лицом, во всем его облике ощущалась какая-то сухость. Чуть пригнувшись из-за низкого жердяного потолка, он молча приближается ко мне. И молча гляжу на него я и тянусь вся к нему. Вот они, те же выпуклые глаза, что глядели на меня с надеждой и робостью... Не знаю, кажется, закричала, прижалась к нему крепко, уткнулась лицом в ворот шинели и затряслась в плаче, не могу никак остановиться и хоть слово сказать. И Касымбек, видно, хочет, чтобы я выплакалась, молчит и только осторожно прижимает к груди, гладит мои волосы, затылок. И долго мы оба ничего не говорили друг другу, боясь опустевших вдруг слов. Наконец, Касымбек оторвал меня от груди, заглянул мне в лицо.

— Я думал, война только разлучает людей. Выходит, и сводить она умеет, — говорит кто-то по-русски.



Я совсем забыла о докторе, о санитарке Шуре, на какую-то минуту даже о сыне своем забыла.

— Ну, товарищ старший лейтенант, поздравляю! Сразу два поздравления вам. Первое, нашлась пропавшая супруга, а второе — отец вы теперь. Как ни косит война людей, а жизнь делает свое дело. Вот оно как, — сказал доктор, пожимая обеими руками руку Касымбека. — Супругу вашу я уже поздравил. Ну, а с вас причитается.

— С-спасибо! Спасибо вам! — говорил Касымбек, он не находил других слов и только растягивал губы в улыбке.

Он возмужал, но все та же детская улыбка светилась на его лице, словно мы с ним не разлучались ни на миг.

— А все-таки встреча ваша — поразительнейшее событие, — покачал головой доктор. — В самом деле... Гляди-ка, ты а?..

— Я думал, Назира уже давно в родных краях.

— И я думала, ты воюешь на фронте.

В это время вошел Абан.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите войти, — сказал он весело и громко, и Касымбек весело махнул ему рукой.

— Ну, Назира-женгей, поздравляю вас с мальчиком. Пусть он растет крепким. Пуповину мальчику резал я, значит, я его, так сказать, крестный отец. По обычаю мне полагается чапан.

— Не чапан, а шубу тебе подарю, — засмеялся Касымбек.

— Да? Тогда эту шубу я дарю вам обратно за одну свою вину.

— Какую еще вину? — удивился Касымбек.

— Я до сих пор скрывал от вас один случай. Теперь о нем можно рассказать. Я видел Назиру-женгей на станции — бомбы рвались, поезда горели... Мост разрушили, и ей с другими еще там женщинами пришлось уйти пешком. А потом мы сами угодили в окружение. Ну я и подумал, ох, вряд ли они пройдут. От нее я узнал вашу фамилию. Потом встретился с вами. У меня, знаете, даже сердце екнуло, когда услышал ваше имя. Чуть не проговорился, да вовремя прикусил язык. Решил не прибавлять горя, когда и без того тяжко.

— Ну и терпение, брат, у тебя, — удивился Касымбек.

— А как же тут не терпеть? Вы бы и не поверили, что женщины смогут выбраться оттуда, да еще пешком. Давайте лучше радоваться, что встретились, что не вредимы.

— Когда я узнал, что она села на поезд...— Касымбек не договорил, закачал головой.

— Слушайте, вы жили в той, сожженной деревне? — спросил Абан.— Вот так да!.. Совсем рядышком были... и не знали ни мы, ни вы. Позапрошлой ночью мы же там побывали, уничтожили немецкий гарнизон. Как же вы нам не встретились?

— Я пряталась в том же сарае.

Мы возбужденно, радостно говорили на казахском, и доктор, чтобы не мешать, вышел из землянки. Радость Абана была не меньшей, чем наша с Касымбеком. Бывают же такие открытые сердцем, добрые люди! Они умеют радоваться счастьем других больше, чем виновники его. Абан... опять он оживает перед моими глазами таким же, каким увидела я его на пылающей станции: широкие ноздри, вытянутый вперед подбородок. Запомнились почему-то его длинные, тонкие ниже оттопыренных галифе ноги. Есть в облике его идущая ему самому несуразность. И имя у него какое-то несуразное. Насколько я знаю, у казахов нет имени Букаш, а есть Мукаш, нет имени Абан, а есть Абен. Похоже, отец, которому дали такое корявое имя, и сына своего назвал так нелепо. Дважды всего я встречалась с ним, и оба раза в страшной суматохе, но кажется он мне человеком давно знакомым и близким. Как хорошо, что живут на земле такие веселые, добрые люди, они распахивают душу настежь и всех впускают туда.

— Я как будто слышала тогда ваш голос,— припомнила я.

— Неужто? — удивился Абан.— Вы узнали мой голос?

— Вроде и узнала. Но вспомнить сразу не смогла. Все думала, где я раньше слышала этот казахский голос.

— Вот те на! Что же вы тогда не окликнули меня? И Касеке же там был.

— Откуда мне было знать? Да и как бы я пошла с партизанами в таком виде.

— Н-да...— почесал затылок Абан.— Но, слава богу, все кончилось хорошо. Я знал, что вы останетесь в окру-

жении. А... не мог сказать об этом Касеке. Даже вчера, знаете, доктор не позволил позвать Касеке.

Простодушный Абан долго не замечал, что мешал нам с Касымбеком досыта наговориться. Наконец, догадавшись, вдруг засуетился.

— Все говорю, говорю, а разговорами сыт не будешь, пойду я к своим котлам,— сказал он.— Надо бы вам барана зарезать на вашу калжу,¹ но я вам сварю курицу, которая не хуже барана. С картошечкой, с лучком — сделаем первый сорт!

Он вышел.

Стало тихо, только потрескивали сосновые поленья в печурке, да буйно гудело пламя. Мы долго сидели молча, привыкая друг к другу.

— Ты... расскажи обо всем, что с тобой было, что пережила,— покашляв в кулак, попросил Касымбек.

У меня нет желания ворошить прошлое. Тяжелое оно. Что же было с тобой, Касымбек? Но и ему возвращение назад радости не доставляет, и скупно он говорит о себе. Они в тот же день на рассвете вступили в бой. Враг был намного сильнее, но полк Касымбека не отступил, до вечера держал оборону. С наступлением темноты они узнали, что немецкие части обошли их и вклинились в тыл. С боями, с потерями они отступали. Полк поредел, рассыпался. Пробриться к своим не удалось, с остатком своей роты Касымбеку пришлось скрываться в лесу. Здесь они соединились с местными партизанами и превратились в весьма ощутимую силу. Командиром одного из отрядов и был Касымбек. Жив, оказывается, и Николай Топорков.

— Николай жив? — переспросила я испуганно.

— Да, жив,— ответил Касымбек, не совсем меня понимая.— А где Света? Ты не знаешь? Когда вы с ней расстались? — засыпал он меня вопросами.

И мысли мои заметались, вихрем пронеслись в голове. Что я ему скажу? Правду? Всю, какая она есть? Или, может, сказать только, что она в этих краях на подпольной работе? А может быть, сделать вид, что ничего не знаю и не вмешиваться в их жизнь? Судьба сама развяжет этот узел.

Заметив мое смятение, Касымбек тоже испугался:

¹ К а л ж а — казахский ритул, во время которого женщину после родов кормят свежей бараниной и бульоном.

— Почему ты молчишь? Жива ли хоть Света? Скажи правду!

— Жива...— ответила я.— Когда я ее видела, была жива.

— Ты видела, видела ее? Когда?

— Когда расстались, я хотела сказать. Мы же разбрелись кто куда. Помнишь Мусю-Строптивную? Какой хороший был человек. Погибла бедняжка. Дочь ее оставили у одного лесника.

— А остальные?

— Остальные были живы, когда я их видела. Потом мы разбрелись.

— Николай обрадовался, когда услышал, что ты нашлась. Очень хотел к тебе прийти, но решил подождать, пока тебе станет немного лучше. Все поглядывает на меня: «А где же остальные женщины?» О Свете рвется спросить. Его можно понять,— сказал Қасымбек.— Как придет, ты расскажи ему о Свете все, что знаешь, он не успокоится, пока не выпытает у тебя все до капли.

— Поддай мне малыша.

Қасымбек встал, подошел в младенцу, склонился над ним и застыл, не решаясь к нему прикоснуться. Он растерянно, беспомощно глянул на меня, я кивнула: «Не бойся, бери». Қасымбек взял малыша кончиками пальцев, словно боялся его сломать, и осторожно, как полную чашу, понес его ко мне. Со сноровкой, которой сама радостно поразилась, я взяла малыша на руки и открыла его лицо, чтобы Қасымбек мог на него взглянуть. Малыш спал, сморщив маленькое красненькое личико.

Қасымбек, вытянув шею, стал вглядываться в лицо сына. Было видно, что пока в этом красненьком человеке он ни с кем не находил никакого сходства, но, чтобы сделать приятное мне, спросил:

— На кого же он похож? На тебя как будто?

— Лоб и овал лица твои,— сказала я, мне действительно так казалось.

Қасымбек, конечно, ждал от меня именно этого ответа, верхняя губа его приподнялась и лицо озарила довольная улыбка.

Малыш, будто ощутив взгляды родителей, всхлипнул во сне, сморщился, зашевелил жалобно губами, занял тоненько и вдруг перешел на громкий крик. Қасымбек растерянно уставился на меня.

— Проголодался, наверно, сейчас покормлю.

Қасымбек потоптался в нерешительности, сказал:

— Сейчас я Шуру пришлю,— и, осторожно пятясь, вышел из землянки.

Б

Я благополучно родила и встретила с Қасымбеком,— две радости сошлись и заставили меня забыть обо всех печалях. Абан и Қасымбек принесли вкусную курятину с дымящимся бульоном, заботливо накормили. Я чувствовала, как силы мои прибывали, точно открылись неведомые какие-то роднички и наполняли свежей водой иссохшиеся русла.

Партизаны дней пять не предпринимали вылазок, все было спокойно. Қасымбек часто приходил, мы разговаривали, вспоминали. Абан тоже радовался мне, словно нашел жену родного брата, то и дело шумно забегал в землянку, суетился вокруг меня и, как нянька, ухаживал за мной. На второй день я подняла голову, а на третий встала на ноги. Теперь я могла не беспокоить Шуру, у которой дел хватало и без меня, грела воду на железной печурке, сама стирала пеленки малыша и делала все необходимое.

Вначале Шура показалась мне неуклюжей толстой теткой, но когда она разделась, сняла стеганку, размотала платок, я увидела тоненькую стройную девушку с продолговатым лицом под светленькими кудряшками. Работала она много, проворно и, по большей части, молча, но все-таки я успела разузнать кое-что о ней. Шура уже за двадцать пять, но замуж еще не выходила. Она окончила медицинский техникум и была призвана в армию. Их подразделение попало в окружение, наткнулось при отступлении на немцев, произошла жестокая скоротечная схватка. Четверо из санчасти отбились, потеряли своих, с ними был тяжелораненый капитан — командир санчасти. Его несли на носилках, но он скончался по дороге в лесу. Долго скитались они, пока не наткнулись на отряд Қасымбека.

Я не видела еще лагерь, о жизни партизан судила по тому, что окружало нашу землянку. Казаху она не кажется чем-то особенным — как будто кочевье остановилось на зимовье, наставило, нарыло кругом временных землянок вместо летних юрт. А нашу даже «временной»

трудно назвать. Только у входа мешковина вместо двери, все остальное сделано добротнo, кровля накатана из подогнанных сосновых бревен, стены обиты тесом. В медпункте одна я лежала со своим сыном. Впрочем, было еще несколько легкораненых, которые время от времени приходили на перевязку.

На следующий день Абан в одной руке принес в котелке кипяченое молоко, от которого валил пар, а в другой — пустую бутылку.

— Назыра-женгей, бутылка есть, а соску найти не могу. Может, у этих врачей отыщется?

— А зачем она? — спросила я.

— Как зачем? — удивился Абан.— А малыша кормить?

— Да разве кормят новорожденного коровьим молоком? Ни в коем случае этого нельзя делать.

— Да ну? — удивился Абан.— Совсем я этого не знал. Я думал, был бы сытым ребенок всегда, а какое там молоко, значения не имеет.

— Ему до четырех месяцев нельзя давать коровьего молока,— весело объяснила Шура.— Только материнское годится, другого он не выдержит.

— А по-моему, все это пустяки,— важно сказал Абан.— Дите, которое родилось зимой на снях, выдержит не только коровье, но и верблюжье молоко.

Мы посмеялись.

— Ладно, молоко вы сами пейте, Назыра-женгей,— сказал Абан,— все равно через вас ребенку пойдет. Без молока вас не оставлю.

— Вы так говорите, как будто корову доите каждый день.

— А как же не доить! — воскликнул Абан.— Мы вчера захватили с собой рябую корову из того самого сарая, где вы прятались. Молочная такая коровушка, умница, смиренная, добрая... Молоко теперь будет.

Зойка тети Дуни... Да, от этой коровы хозяйка моя надаивала утром и вечером по целому ведру. Из всего живого в деревне избежали смерти, наверное, только мы с Зойкой. Я снова увидела, как рослая старуха вцепилась в автомат немецкого солдата, рванула его к себе и вдруг, безжизненно сломившись, мягко повалилась на снег. Наташа ее бежит изо всех сил, и полы ее пальто раздуваются и бьются, как крылышки воробышка... Спаслась ли бедная девочка?

На другой день с Касымбеком пришел незнакомый мне мужчина. В подпоясанном ремнем полушубке, в шапке-ушанке, в ладных валенках чувствовалась собранность человека, часто бывающего на глазах у народа. Он вошел, чуть пригибаясь, и с властно-дружелюбными нотками в голосе спросил у Касымбека:

— Ну-ка, показывай свою женушку.

Опять знакомый голос! Вот она, моя потаенная жизнь: не лица узнаю, а голоса. Попросив Касымбека показать меня, он не стал дожидаться, когда тот «покажет», а устремил на меня серые яркие глаза. Взгляд его был жестким, я смущенно потупилась, и он снова обернулся к Касымбеку.

— Я сказал «жену», а надо было попросить показать всю твою семью. Вы же теперь целая семья, а?

— Да вот, неожиданно стали семьей, товарищ комиссар,— смущенно отозвался Касымбек.— Знакомьтесь. Моя жена Назира.

Моя рука утонула в сильной ладони незнакомца.

— Ну, будем знакомы, Носовец Степан Петрович.

Я так и раскрыла рот. Так вот оно что, вот чей это голос! Это же тот самый Носовец, которого я слышала, лежа на печке у тети Дуни. Густые брови, крупный с горбинкой нос, широкие плечи,— таким я и представляла себе этого человека. И теперь у меня возникло такое ощущение, будто мы знакомы с ним с давних времен и даже как будто вчера только виделись. Я не сводила с него глаз, он бросил на меня пару раз быстрый пронизательный взгляд.

— Да вы садитесь, садитесь, голубушка,— мягко произнес он.

Бывают люди, властность которых подчиняет помимо твоей воли, и я даже сама не заметила, как послушно села.

— Вы долго прожили в той деревне? — спросил он, опускаясь на лавку.

— Два... нет около двух месяцев.

— У кого же вы жили?

— У Евдокии Герасимовны.

— У Евдокии Герасимовны? — удивленно вскинул брови Носовец.

— Да, у нее я жила,— ответила я и не вытерпела,— И вас видела у нее.

— Меня? Та-ак, интересно... А я почему вас не видел?

— Я... тоже не видела вас: когда вы пришли, я пряталась на печке. Слышала весь ваш разговор.

— Та-ак! Встретились, значит,— рассмеялся Носовец, смеяться начинал он внезапно и громко, и также внезапно оборвал смех.— Я-то считал себя великим конспиратором. А не заметил, что меня подслушивают прямо за спиной,— и спросил неожиданно: — Связную в том доме видела?

— Смуглянку? — вырвалось у меня, и я запоздало прикусила язык.

Я хотела скрыть эту тайну, ничего не сказала даже Касымбеку, а теперь еле увернулась от насторожившихся пронзительных глаз Носовца.

— Знаю, что приходила, слышала, но не видела, как и вас.

Я чувствовала, что голос мой выдает меня, но Носовец не стал допытываться, помолчал только, какую-то минутку словно колебался, спросить меня о связной или нет.

— А Евдокия Герасимовна...— голос его сгустился.— Что вы знаете о ней? Погибла... вместе с деревенскими?

— На моих глазах погибла. Внучку пыталась защитить... Вцепилась в автомат немца...

Носовец какое-то время молчал, опустив голову.

— Пусть покоится в мире. Настоящим гражданином была. Мы с ее сыном Павлом вместе росли.— Он проговорил это тихо, как будто одному себе.— А внучка Наташа?

— Пока в тетю Дуню немец... строчил из автомата, Наташа убежала. Как будто спаслась. При мне в нее не попали.

— Если жива... найду,— сказал Носовец.

Какую-то минуту он сидел, размягченно опустив плечи, лицо его тоже обмякло, как во сне, но он быстро взял себя в руки и стал опять внимательным и жестким и принялся дотошно расспрашивать о случившемся в деревне. Запинаясь, непослушным своим языком я рассказывала о том, что видела, знала, пережила. Он слушал внимательно, не торопил, порой помогал мне вопросами. О некоторых деталях он расспрашивал особенно подробно. Я даже растерялась, почувствовала вдруг, что знаю не так уж много, даром что была в самой гуще событий, и не смогла на многие вопросы Носовца ответить. Откуда пришли немцы? Сколько их было? Кто ими командовал?

Сколько человек спаслось? Всего этого я не знала. Не помню, сколько было полицаев, пятеро или шестеро их пило водку в доме тети Дуни, запомнила только одного — «старого знакомого» Усачева.

— Значит, видела Усачева? — нахмурился Носовец, услышав его имя.

— Да, видела.

— Полицаи в расстреле участвовали?

— Нет. Они помогали подгонять. Потом, кажется, поджигали дома.

— Все равно... их руки тоже в крови.

Мне вспомнились слова кряжистого полицака. Кто-то из них, глуша свою совесть, кричал: «Мы-то не стреляли», а кряжистый усмехнулся: «Да, мы не стреляли, мы им только связывали руки и ноги, а немцы резали». Я передала эти слова Носовцу, он остался ими как будто доволен.

— Очень верно сказал. За это они и получают свое... Да, немало ты тоже перенесла. Вот... родила теперь в таком месте... — Он помолчал. — Ладно, отдыхай, набирайся сил.

У тети Дуни я только и делала, что спала и привыкла, стала сонливой, и теперь в этой землянке, едва освободившись от дел, начинала дремать. Но сон не крепкий у меня, птичий; непрерывные какие-то обязанности, вечные заботы ни на минуту не оставляют меня. Просыпаясь от малейшего шороха, я испуганно думаю о том, что еще я забыла или опоздала сделать. «Что же это?» — торопливо ищу я и тут же вспоминаю о малыше. И сердце тотчас же горячо охватывает радость. И еще удивление: я стала матерью! Трудно сразу поверить, что существо, которое еще вчера распирало тебя, породило тысячи страхов, теперь, появившись на свет, живет — ест, спит, плачет и смеется, как и ты, и — новое, совсем иное существо, начавшее уже отдельную от тебя жизнь. Он растет, мой ребенок, я вижу этот рост, как разглаживается лицо, как наливается его тело.

Проснувшись, я услышала, как о чем-то негромко беседовали мужчины. Они сидели перед печкой. Пламя гудело в трубе. Я невольно прислушалась к разговору.

— Если сказать честно, товарищ Едильбаев, — говорил Носовец, — лично я не совсем верил, что ваша операция будет столь удачной.

— Почему же, Степан Петрович? — это голос Касымбека.

— Ну... Не думал, что немцы так опростоволосятся. К тому же и вы все сработали прекрасно. Ни одна живая душа не заметила, что вы вошли в деревню. И часовых сняли быстро, без шума. По моим сведениям, гарнизон уничтожен полностью.

— Все это так, но оружия мы захватили меньше, чем было немецких солдат, — сказал Касымбек.

— Они же не по списку сдавали оружие, — засмеялся Носовец. — Бросали в панике, небось. А боеприпасы? Тут нам повезло. Без патронов винтовка всего-навсего дубинка.

— Согласен, операция удачная. Только жителей деревни не спасли. — Касымбек говорил отрывисто. — Ведь из-за нас гады эти уничтожили всю деревню. О, сволочи! Воех подряд... Даже младенцев грудных...

— Это страшный урок, страшный... Но — это урок, — сказал Носовец, сквозь стиснутые зубы. — Не-ет, народ постоит еще за себя! Мы не смогли полностью выполнить задание, — оставить на пути врага выжженную землю, но будет она гореть у них под ногами. Уже горит, поднимаются народные мстители, и начинается беспощадная война в тылу врага.

Носовец говорил тихо, но твердо, весомо, потом увлекся, и голос его зазвучал громко, но тотчас, заметив это, взглянув на меня, — не разбудил ли? Лежа неподвижно, я следила за ним из-под ресниц. Он подумал, что я сплю.

— Вот так, товарищ Едильбаев, — добавил он. — А подлецам и предателям пощады не будет. Пусть они страшатся не немцев, а нас. Знаю, это больно, но... вот вчера он был активист, выступал на собраниях, бил себя в грудь, а сегодня сидит, затаился, выжидает. Ну ничего, ничего... В этой войне не будет нейтральных. Или с нами, или с врагами. Сам знаешь, немцы партизан в плен не берут. Нам с тобой отступать некуда. Победим — будем живы, а не победим... — Носовец замолчал, задумался: — Знаешь, эту истину надо донести до каждого партизана. Пусть не ждут от врага ни малейшей пощады.

— После вчерашнего, наверное, ни один партизан не обманется уже, — тихо сказал Касымбек.

Мужчины говорили все жестче, злее, суровее. Мне повезло, я встретила с мужем и вообразила себе не-

возможное: будто вернулись былые дни. Но по мере того, как говорили Носовец и Касымбек, все отчетливее понимала, что очутилась в самой середине пылающего огня. А я теперь не одна, мне еще тяжелее будет. Как пронесу живым сквозь этот пожар крохотное существо?.. На свертке из пеленок, скатившемся в снег, выткалась алая кровь... Я резко подняла голову. Мужчины встревоженно глянули на меня.

— Тебя что-то испугало? — Касымбек стал подниматься с корточек.

— Поддай мне малыша.

— Успокойся... Он же спит.

Касымбек на цыпочках подошел к малышу, бережно поднял его и подал мне. Руки его не были уже неумелыми, как в первый раз. Поднялся и Носовец.

— Ну, скорого выздоровления супруге.— Он остановил Касымбека, который хотел было последовать за ним.— Ты можешь не торопиться. Не буду мешать семейным разговорам.

Носовец вышел. Касымбек стал подкладывать дрова в печурку.

— Жарко стало. Не надо топить,— сказала я.

Касымбек постоял нерешительно у печки с поленьями в руках, затем бросил их на пол и присел на краешек нар, не зная, что сказать, только поглядывал на запеленатого младенца, лежащего у меня на руках, как будто мы с ним в первые же дни исчерпали себя, рассказав друг другу свои истории. А вспоминать родные края, близких людей?.. Нет, мы не решаемся произносить далекие теперь имена. Что зря бедить истосковавшиеся сердца, говорить о нашем будущем... Мы оба чувствуем, что будущее сложнее, дальше от нас, чем прошлое. Как оно, настанет ли вообще?

Минута, час, день — вот мерки нашей жизни, мы были рады неожиданной встрече и дня три только этим и жили. Но с глухой тоской я стала замечать, что первая слепящая радость пошла на убыль. Что-то вставало между нами — не прежние, собой только занятые супруги были мы. Счастье наше, личное счастье, казавшееся в июньские дни таким огромным, безмерным, чуть ли не для всех обязательным, теперь как-то ужалось, собачонкой изголодавшейся, забитой укладывалось в ногах. И было стыдно его и жалко в то же время это счастье прогнать. Я уже поняла, что отряд будет воевать до по-

следнего, насмерть. Мольбою смерть не остановишь, говорят казахи. А значит, и горя, страданий, мук.

Здесь не фронт, у которого за спиной надежный тыл. Здесь воюют, прячась в лесу, таясь в ночи, скрываясь в оврагах, тут всюду враг. Сегодня партизаны напали, перебили немецкий гарнизон, а завтра уходят, растворяются в дебрях, отступают в непроходимые болота. И я, встретившись с Касымбеком, не только радость ему принесла, но и лишним грузом у него на шее стала, и не одна — нас двое теперь. Разве Касымбек этого не понимает? Даже оба это прекрасно понимаем, но он не подает виду. Даже в эти на редкость спокойные дни мы с сыном связываем ему руки. Касымбек смущен: ему нужно оставлять своих бойцов, чтобы побыть со мной, а я же знаю, как сильно задевает молодых джигитов прозвище «подкаблучник» или как там они называют человека, который держится за бабью юбку. Комиссар сказал ему «не торопись». Я тоже ему каждый раз это мысленно говорю и каждый раз подталкиваю его к двери: иди, иди, там тебя ждут...

— Даже и не думает просыпаться,— бормочет Касымбек.

— Я же покормила его недавно.

— То-то спит так крепко. Даже отцу не рад, не хочет даже на него посмотреть. Дай-ка, на место положу, пусть спит, сил набирается.

Касымбек положил малыша на место и сел рядом со мной. Сел на самый краешек моей постели... Скажи что-нибудь, Касымбек! Почему ты все молчишь? Помнишь, как мы договаривались ехать в Брест?.. Брось ты эту березовую щепку, что ты ее терзаешь? От тебя пахнет хвоей, горечью костров, ружейным маслом — чужой для меня запах. Помню, как однажды на лесной поляне какая-то травка запахла родным — запахом кумыса. Родные степные запахи покинули тебя — их развел дым, сожгло пламя пожарищ... Касымбек, брось эту щепку, я скажу тебе, ты знаешь, лучше, когда приходит Абан, смехом, восклицаниями своими он нарушает наше затянувшееся молчание, отвлекает нас от раздумий, а? Не так разве? Но Касымбек молчит, и я сама высказываю ему свои сомнения:

— Наверное, я вам всем спутала ноги.

— Почему? — вздрогнул Касымбек и выбросил щепку.

— А потому. Где ты видел, чтобы воин на боевом скакуне вел в поводу кобылу с жеребенком.

Я и сама не заметила, как сорвались у меня эти давно созревшие в душе слова, и смутилась, но неожиданно для меня Касымбек рассмеялся. Мне стало легко, и я тоже рассмеялась вместе с ним. Касымбек обнял меня и поцеловал в щеку.

— Конечно, я не говорю, что будет легко. Мы же люди походные,— сказал он, поглаживая мои волосы.— Спрятать тебя негде, сейчас в деревнях стало беспокойно. Пока будем вместе. Степану Петровичу я говорил. Он не очень-то одобрил, но и возражать не стал. А дальше... поглядим, что судьбой предназначено.

6

«Человек через три дня и к могиле привыкает»,— говорила бабушка Камка. Еще глаза моего младенца как следует не раскрылись, а я уже как-то втянулась в походную партизанскую жизнь. Потуже опоясалась шалью, как делали женщины наших аулов, и принялась за работу.

От долгого безделья я истосковалась по хлопотам и теперь чувствовала в себе бодрость.

Меня радовала возможность спокойно глядеть по сторонам, не таиться, не прятаться — удивительное это счастье, спокойное и тихое. Мы стояли в лесу, где росли вперемешку сосны и березы. Встречались здесь ели и еще какие-то неизвестные мне деревья. На склоне ложбины, как норки сусликов, бугрилось множество землянок; снег скрадывал их настолько, что вначале я приняла их за сугробы. Но в безлюдном на первый взгляд этом лесном углу было много народу, и жизнь тут кипела.

За излучиной оврага расположилось целое хозяйство: стояли несколько распряженных саней, кони хрумкали сеном. Аккуратно были сложены какие-то узлы и тюки. Дальше под навесом из еловых ветвей пожевывала свою жвачку корова. Это была Зойка. Перестав жевать, корова посмотрела на меня, будто узнала и вспомнила что-то. Я невольно протянула руку, она, широко раздув ноздри, понюхала ладонь и лизнула пальцы.

Здесь было хорошо, пахло сеном, парным коровьим теплом. Под большими деревьями, вершинным, задумчи-

вым их шумом образовался затишек с зимним солнцепеком, который свежо, тонко пахнет снегом, смолистой корой, хвоей.

Придя сюда в следующий раз, я увидела долговязого солдата, он сидел на корточках и доил корову, неумело дергая ее за соски. Струи молока порой со свистом пролетали мимо ведра. Услышав мои шаги, он резко обернулся: я узнала Абана, и мы смутились почему-то оба.

— А вы тоже тут? — растерялся Абан, словно был застигнут за нехорошим делом.— А я вот... корова смиренная... только все равно...

— Давай ведро. Я подою.

— Сколько дою эту корову,— почесал затылок Абан,— а руки ну никак не приспособятся.

— Что верно, то верно. Дояр ты неважный. Вот, даже вымя у коровы подобралось, я помню, какое оно у нее было.

Я подоила корову, вспомнив старую науку, которую прошла еще в детстве, и с тех пор доила ее сама, и животное, почувствовав женские руки, доверчиво расслабилось, больше стало давать молока. С малых лет я любила скотину, но к этой корове появилась у меня особая привязанность. Мы с нею были в одном сарае, она меня даже выручила однажды, когда в него заглянули немцы, стали хлопать ее по спине, мять вымя — «о, карош партизан!» И теперь она казалась мне товарищем, делившим со мной минуты опасности. Была дорога она мне и как память... да, память о тете Дуне. Может, я обманывала себя, но, мне казалось, понимала это и Зойка, когда я приходила к ней, она глубоко и грустно вздыхала.

А жизнь шла своим чередом, взваливая на человека повседневные заботы, от которых ему нельзя было уйти даже здесь, в партизанском лесу, под боком у врага. Общего котла не было, люди сходились по двое, по трое и варили пищу в котелках, нашлась одна большая кастрюля, и я стала готовить в ней похлебку, и теперь командиры собирались вместе за едой. Продуктов было немного, но пока не голодали. Ребята, бывая на заданиях, все время запасались чем-нибудь в деревнях и никогда не доходило до того, чтобы не было ни куска. Касымбек все мечтал захватить походную кухню. «Партизанская война продлится не один день, тыла у нас нет, доставлять нам боеприпасы и питание некому. Поэтому мы сами должны создать солидную базу»,— го-

ворил Носовец. Пока же приходилось довольствоваться немногим.

Через неделю мы с Касымбеком перешли в отдельную землянку. Раньше он жил здесь с бойцами, теперь мы зажили семьей. Как-то в медпункт пришел Абан и позвал меня: «Назира-женгей, мы вам юрту семейную поставили, идемте». И сердце у меня вдруг сильно и сладко забилося. Ребята, дожить бы им до тысячи лет, поработали на славу, стены и потолок аккуратно обшили сосновым тесом, где-то железную печурку раздобыли. В ней буйно горели дрова. Чистота, тепло, пьянящий запах хвои заставили меня забыть о тревожном времени, и я радовалась, как ребенок. Восторженно оглядела я новое наше жилье и бегом перенесла сюда моего малыша.

И стало для нас это новоселье настоящим праздником. Фитиль, заправленный в гильзу из-под снаряда, немного чадит, но золотистый свет его наполняет землянку теплым уютom, на печурке булькает варево, и вкусный запах его так и щекочет ноздри. Сидят у огня Носовец, Абан, Николай, Касымбек, радостно хлопочу я, словно аульская женщина, муж которой вернулся с гостинцами из города, и будто есть у меня не только муж и ребенок, но и свой очаг, и свой дом, и своя мирная, добрая жизнь. Как мало нужно для счастья: вот сидят у меня гости и коротают время за спокойной беседой, и кажется мне, что этим отрадным минутам не будет конца. Все крепче, самостоятельнее становится и мой малыш, и все ближе он мне и роднее, но в этой родственности появляется особое содержание — близость и понимание. Женщины в нашем ауле, целуя своих детей, приговаривали: «Ты же смягчил мои окаменевшие груди». Я начала понимать смысл этих слов только теперь, только теперь я стала семейной женщиной: со мной мой муж, мой ребенок. Я сознаю быстротечность и зыбкость этих ощущений, но не хочу расставаться с радостным обманом своим. Он у меня есть сегодня, а завтра его может и не быть, что, если бы я погибла и не дожила даже до этой радости? Совсем немного нужно для счастья...

К ночи партизаны, разбившись на большие и малые группы, куда-то уходят, возвращаясь, приносят с собой раненых, а некоторые не возвращаются совсем. Часто во главе большой группы отправляется и Касымбек, и каждый раз он пытается успокоить меня: «Ты не волнуйся, спи, мы к утру вернемся». Все это он говорит так,

словно уходит на мирное ночное дежурство, но я не могу спать спокойно. Настороженно прислушиваюсь к каждому шороху, встаю, выхожу на мороз, вглядываясь в ночную темень. Возвратившись, Касымбек, как бы между прочим, роняет: все прошло хорошо, задание выполнили. И не было будто никакой опасности, ночной суматошной стрельбы, рукопашной, раненых и убитых. Все это я узнаю из другого источника: приходит Абан, и, все еще разгоряченный боем, рисуя самые яркие картины, рассказывает обо всем. Порой он, увлекшись, обращается за подтверждением к Касымбеку, и его невольно заставляя принимать участие в разговоре. И с восхищением я слушаю, и со страхом, и по жилам струятся одновременно холодные и горячие токи.

Мне страшно отпускать от себя Касымбека. Такой волшебной-неправдоподобной была наша с ним встреча в минуту самого моего безнадежного отчаяния, что потерять его еще раз было бы для меня равносильно смерти. Но дел у него выше головы, и он не так уж часто бывает со мною рядом. За столько людей он в ответе! И, главное, нужно превратить наспех сколоченный отряд в боевое подразделение, обучить всерьез тех, кто никогда в жизни не держал оружия в руках. Даже в те дни, когда не ходит на задание, он не знает ни минуты покоя. А тут еще ночью ему не дает толком выспаться плач ребенка. Как только он начнет возиться, кряхтеть, а потом плакать, Касымбек просыпается и первым бросается к самодельной люльке. «Ты спи, я сама его перепеленаю», — сержусь на него я, начинаю подмывать ребенка в выставшей землянке, а у того от плача и дрожи губки кривятся и делаются синими. И пока он не согреется и не насытится, не засыпает и Касымбек.

Я прижимаюсь к Касымбеку продрогшим телом. В землянке холодно, он спит одетым, и одежда как бы разделяет нас, но я чувствую его тепло. Уткнувшись носом ему в грудь, долго и с наслаждением вдыхаю я горьковатый запах мужчины. И я боюсь потерять это сильное надежное тело, крепко сжимаю его в объятиях. Порой во мне просыпается желание, но его глушит страх, и меня охватывает особенное чувство близости, более сильное, чем желание.

Касымбек встает рано. Иногда он уходит и ночью, проверяет караулы. И прежде мой муж был собранным, энергичным, в точности выполнял воинские требования,

но если прежде он следовал приказам, полученным свыше, то теперь стал похож на беспокойного хозяина: сам все обдумывает, отдает распоряжения, сам следит за выполнением. Единственный человек, которому он подчиняется,— это Носовец. Наверное, потому, что тот уже прожил более сорока лет, а еще потому, что в Носовце есть нечто властное, способное подчинить человека и повыше него чином, и отчего так происходит, я пока не сумела понять. На первый взгляд права у них одинаковые. Остатки роты Касымбека и собравшиеся в лесу партизаны объединились в отряд. Касымбек — командир, Носовец — комиссар. И все же властность Носовца чувствуют все в отряде. Зато в делах чисто военных последнее слово за мужем моим. Авторитет его завоеван собственным трудом и командирскими качествами. Я поняла вскоре — здесь не обращают особого внимания на чины, поскольку нет начальства, которое бы понижало или повышало в должности, и люди не оглядываются на верха, ценят лишь тех, кто себя не щадит. Скуп на слова мой Касымбек, но в деле умел. Мысли его скрыты, начатое завершает он молча, без всякого шума. И как бы заново я стала открывать его для себя, взглянув на мужа глазами партизан. Они ошибиться в командире не могут, потому что ошибка эта может стоить жизни каждому...

Чтобы не заглядывать в будущее, не забредать в него слабодушно, я все больше и больше вовлекалась в повседневную жизнь и перестала чувствовать себя нахлебницей. Вошла в многочисленные заботы, не брезгуя никакой работой, а ее было немало в этом партизанском стане. В хлопотах я и не заметила, как пролетело около трех месяцев. Зима, свалилась с морозной крепью своей, обмякла, подобрела, и уже тонко, сердцем еще только одним ощущалось приближение весны.

Предвестие весеннего тепла наливалось радостью всех нас, но и огорчало: с наступлением весны убывала одна пламенная надежда. В декабре прошлого года до нас долетела радостная весть о том, что наши войска под Москвой перешли в большое наступление, и предполагали все, что месяца через три Красная Армия дойдет до нас. Даже осторожный на слово Касымбек говорил: «Как только наши придут, отправлю тебя домой». В отряд стало прибывать народу. Появились партизанские отряды и в других местах. И наши ребята стали действовать

активней. А как воодушевлял нас Степан Петрович! Он все чаще собирал партизан и говорил с особой, проникновенной силой:

— Красная Армия нанесла фашистам под Москвой сокрушительный удар. Разбила их отборные дивизии и перешла в наступление. Бесноватый Гитлер сейчас мечется, грызет себе кулаки. Как же, ведь он хотел седьмого ноября принимать парад на Красной площади. Товарищи, друзья! День освобождения недалек. Нам нельзя сидеть сложа руки, мы должны беспощадно громить вражеский тыл и своими победами встретить славную рабоче-крестьянскую Красную Армию.

Несколько раз я бывала на таких собраниях. Они обычно проводились перед выходом бойцов на задание. И каждый раз, заканчивая, Степан Петрович бросал клич: «Кровь за кровь! Смерть за смерть! За Родину! За Сталина!» Мне передавалось общее возбуждение, и хотелось самой взять в руки оружие.

Лагерь разрастался, нарыли новых землянок, с утра до вечера проводились учения — из новичков готовили партизан, бойцов. Солдаты вроде Абана, отслужившие два года до войны, стали теперь младшими командирами.

Как-то, уже после Нового года, попал к нам в отряд молоденький паренек. Звали его Прохором, мы называли его проще — Прошкой, он казался совсем еще мальчишкой, самое большее было лет пятнадцать ему. Худое лицо, чуть вздернутый нос, верхняя губа толстой нащепкой сидит на нижней, глаза смотрят вприщур, — все это делало его похожим на мальчика, удивленно и сонно взирающего на мир. Прошку определили ко мне, работать у котлов, он колол дрова, носил воду, разводил огонь, чистил картошку. Что не поручишь, все выполнял безропотно. Но я чувствую, он сторонится меня, молчит нелюдимо, а на детском лице его видны следы какой-то глубокой обиды. Но какой? Может быть, он недоволен тем, что не берут его в ночные рейды, а поставили у котлов? Не знаю. Я пыталась узнать, но он открываться не стал. Тогда я зашла с другого бока.

— Прощ, родители-то есть у тебя?

— Есть.

— А где они?

— Там, — махнул он рукой куда-то, потом пояснил: — В деревне.

— Как же они тебя отпустили?

— Больно я у них спрашивался. Взял и ушел.

Он замолчал. Мальчишка совсем, а такой скрытный, но я все приглядывалась к нему, чем-то нравился он мне. Дней через десять Прошка сам завел разговор.

— Теть Надь, почему меня не посылают на задание? Как вы думаете?

— Ты же еще маленький...— начала было я, но, боясь его обидеть, тут же поправилась.— Ты еще молодой.

— Почему это молодой?— обиженно сказал Прошка.— Мне нынче шестнадцать будет.

— Но... до восемнадцати же не берут в армию.

— Нет, тетя Надя, у партизан порядки другие. Здесь воюют и старики, и дети, у партизан совсем по-другому,— стал он пояснять мне по-взрослому, обстоятельно.— Нет такого закона, чтоб молодой не воевал с врагом. А дело тут в другом, совсем, тетя Надь, причина тут другая.

— Что ты, какая другая причина тут может быть? Просто сейчас хватает и взрослых,— попыталась я его успокоить, но Прошка покачал недоверчиво головой.

— Они мне не верят,— вдруг зашептал он, словно делился тайной своей со мною.

— Почему... не верят?

— Теть Надь, что я хочу вас попросить... Исполните?— с удивлением сонным глядя на меня попросил он.

— Какая просьба?

— А вы исполните, тетя Надь?— продолжал стоять на своем Прошка.

— Ладно, исполню, если смогу... Говори.

— Ваш муж ведь командир, вы скажите ему: пусть поверят мне, вот. Я не обману. Я честный, тетя Надь. Честный я, вот и все.

— А кто говорит, что ты нечестный? Ты что?— удивилась я.

— Никто не говорит. Да я чувствую... Они — не верят мне.

— Погоди, погоди, почему не верят? Объясни ты толком,— сказала я.

Прошка молчал. Я ничего не понимала, много тут было недосказанного, но решила не приставать к пареньку и тоже молчала. Он вздыхал, пошмыгивал, поглядывал на меня с мукой, в каком-то тяжелом томлении и, не выдержав, выдал из себя:

— Мой отец... служит немцам. Может, слышали? Усачев.

— Усачев?— вскрикнула я.

— Дурак он, совсем ума у него нет, тетя Надя,— ожесточенно сказал Прошка.— И всегда он таким был. Он бил нас, сильно бил. Да ладно, я не обижаюсь на него за те побои. Но зачем он немцам служить пошел? Не прощу! Почему он это сделал, а? Почему он это сделал, тетя Надя?!

Я ничего не смогла ему ответить. Мы сидели в землянке, чистили картошку на обед. Вдруг я заметила, что наполовину очищенная картошка в его руках порозовела.

— Господи, Прошка, ты же палец порезал, смотри!

Прошка удивленно поднял на меня глаза, затем глянул на свой палец, встал, швырнул на землю нож. Он прикусил нижнюю губу, чтобы не заплакать, но, не в силах побороть слезы, всхлипнул. Потом взглянул на большой палец, из которого сочилась кровь, как бы не понимая, откуда она течет.

— Давай перевяжу,— потянулась я к нему.

Прошка опять удивленно взглянул на меня, затем на палец.

— Я палец порезал,— сказал он тихо.

Я перевязывала ему палец, а перед глазами стоял Усачев — громадный, черный, с медлительной неуклюжестью в движениях, припомнились мне слова его о порядке, который теперь наведут немцы на нашей земле. Навели... начисто обезлюдил и выжгли деревню тети Дуни. Увидела эту страшную, чумную пьянку, устроенную на крови людской да на пожаре, пепле, головнях. Усачев и... Прошка? Нет, я не могла их поставить рядом.

Но все-таки вдруг скользнуло откуда-то настороженное: все-таки сын, маленький Усачев, от этого никуда тоже не денешься... Не знаю, что ему сказать, и успокаивать боялась, чтобы ненароком не задеть еще какую-нибудь рану. А он, подавленный моим молчанием, совсем упал духом.

— Проша... ты зря сомневаешься... Ты не томись...— и тут меня озарило.— Верят тебе! Если бы не верили, не приняли бы в отряд.

— Ага, а Носовец сказал: «Мы тебя еще испытаем», он-то как раз мне и не верит,— Прошка опустил голову.— Потому и послал на кухню, что не верит.

— Кто тебе сказал, что не верит тем, кто на кухне? А я? Я тоже на кухне.

— Вы что... вы женщина,— печально сказал Прошка. Потом, подумав, добавил:— У вас же маленький ребенок.

Я как могла успокаивала Прошку, обещала поговорить о нем с Қасымбеком. Конечно, я скажу Қасымбеку. Пусть успокоит парнишку, пусть хоть позволит ему участвовать в занятиях, стрелять научат. Я верила Прошке, слезам его, текущим из сонно-удивленных глаз. Мне стыдно было за скользкую ту мыслишку, за минутное недоверие.

7

...Колени затекли. Я долго сидела неподвижно, обегая сон двух малышей, и не заметила, как вся погрузилась в раздумья, в эти бесконечные разговоры со своим прошлым. Мне вспомнилось, как бабушка Камка одергивала заболтавшихся невесток: «Когда бабы языками чешут, телята у коров молоко высосут. Идите, делами занимайтесь». Вот и я, перебирая в памяти минувшее, как бы отодвинула в сторону дела нынешние. А пора было уже за них приниматься. Тихо, чтобы не разбудить детей, я сняла их с колен и уложила на пол.

Глаза привыкли к темноте. В предрассветных сумерках обозначилась вся внутренность землянки. Повсюду роящимися комьями темнели какие-то вещи, я встала с места, чтобы ощупать их. Ну да, здесь же был раньше склад: старые ящики, какие-то железки. Я нашла два старых мешка и кусок брезента, наткнулась на дробовик, видно, какой-то партизан добыл себе немецкий автомат, а ружьецо оставил здесь, рассчитывает забрать его потом. Много здесь собралось разного хлама, а вот съестного — ни крошечки, а искала я долго, старательно.

Но напрасно. Уже в прошлую зиму бывали перебои с продуктами, но особой нужды мы все-таки не испытывали еще — в близлежащих деревнях у людей имелись кое-какие припасы, и партизаны приносили муку, картошку, кое-что еще, а иной раз и скот на забой пригоняли. Но отряд увеличивался, а запасы деревенские истощались. Однажды Қасымбек вернулся почерневшим, осунувшимся и рассказал, как в одном домишке встретила его хозяйка. Она сидела за пустым столом в нетопле-

ной избе. На голове ее был толстый на вид, какой-то драный платок, и оттуда, с бледного лица, спокойно и страшно смотрели блестящие от голода глаза.

— Хлебушка? Хлебушка нетути. Вы придете — мы вам все свое, отъемное несем, понимаем. Немец, тот сам все под метелку гребет, не остановится никак, пока все не уташит. Дак... как же мы сами-то живы еще? А, сынок?

— У людей в деревнях совсем ничего не осталось, — говорил тогда Касымбек. — А в дальние рейды идти — тогда за каждую буханку пришлось бы платить ценой жизни, и то если хлеб этот донесешь...

Хлеба нет, плохо с едой, и об этом лучше не думать. В землянке стоял нежилой, могильный какой-то холод, и прилечь было негде: в одном углу когда-то набросали еловых ветвей, но хвоя осыпалась, и голые сучья вдавливались в тело. Я решила настелить на них брезент, уложить малышей и укутать их мешками. Дулат проснулся, когда я подняла его. Он было захныкал, собираясь заплакать, но почувствовал меня, быстро успокоился и стал тыкаться лицом в мою грудь. Я расстегнула пуговицы толстого пальто.

Дулат... Родной мой Дулат. Имя ему дал отец. В землянке — медпункте, где я тогда лежала, как-то собрались пять или шесть человек, они о чем-то возбужденно говорили, потом спор затих, пошли шутки, смех, кто-то спросил: да, а как же малыша назвали? Все смотрели друг на друга с веселым недоумением, потом ожидающе глянули на Носовца, и тот сказал:

— Малыша кто родил? Мать! Вот пусть мать и даст ему имя.

Я растерялась, не думала еще как-то об этом.

— Раз мальчик, пусть отец ему имя даст, — сказала я.

Касымбек, видимо, заранее все уже решил.

— Мне хочется назвать его Дулатом, — сказал он и объяснил русское значение имени своим товарищам: — Дуыл — по казахски «буйство» и «веселье». Сын родился в бушующую войну. Так пусть всюду, где появится он, вместо буйства огня и разбоя наступит веселье. Есть у казахов и хороший поэт — Дулат. И еще у меня был старший брат по имени Дулат.

И пошло в землянке веселье. Абан отвинтил пробку от своей фляжки, безмолжно тараторя, стал разливать по кружкам пахучую жидкость.

— Специально для этого события хранил. Это вам не какой-то там дохлый немецкий шнапс, а настоящий русский самогон,— смеялся он, лукаво и живо блестя глазами своими.

— Тогда выпьем за Дулата,— поднял кружку Носовец.— Мы будем его по-русски звать, Димкой, привычной чтобы. Так вот, пусть будет он настоящим воином, как его отец!

Поднятые кружки сдвинулись, глухо, размыто как-то звякнули, плеснулся в них крепчайший и чистый, как детская слеза, самогон. Все с веселой торжественностью и особым каким-то откровением смотрели друг другу в глаза, на дне которых приоткрылось в эту минуту что-то коренное — чувство братства, наверное. Выпили, шумно, долго нюхали хлеб с закрытыми глазами, пошел быстрый и легкий говор. Абан, подойдя к малышу, прокричал ему на ухо: «Дулат, Дулат, Дулат!» И, подняв от него сияющие глаза, проговорил счастливо:

— Есть такой обычай у казахов. Кричу, чтобы мальчик крепко запомнил свое имя.

Так был наречен мой сын, и над головой его как бы сошлись и соединились казахские и русские обычаи. Оглянувшись, я посмотрела на детей — они спали пока еще, мой сын и дочь Светы, маленькая Света.

Все эти годы меня подспудно тревожило: как уберечь сына, как уцелеть нам? Но оказалось, этого мало. Судьба решила утяжелить ношу, которую я как могу вот уже столько лет несу, стискивая зубы и никому ни на что не жалуясь. И на другую руку она положила еще одного ребенка, русскую девочку, дочь моей подруги Светы, родившейся несколько позже Дулата моего.

Он еще не завозился, только открыл глазки и пялил их в этот серый сумрак, как я подняла его к груди. Кормить его теперь не хотелось, и я подняла Дулата повыше и чмокнула в макушку, и как бы из этого звука появился, стал нарастать другой. Я прислушалась. Вот еще один — издали слабо донеслось мягкое, грудное какое-то — гух, гух, точно вздохи великана или покашливания его со сна. Стреляли пушки. Началось, значит. И сильно прижала я к себе Дулата.

...Вот так же сжимала я сына, когда бежала по глубокому снегу, и сердце мое стучало громче, чем частые выстрелы. Я не чувствовала его веса, тогда ему было три с половиной месяца, и плечами, спиной, головой своею пыталась загородить его от пуль, тонко и беспечно посвистывавших вокруг меня. Крепко-крепко прижимала я сына к груди, как будто пуля не могла пробить эти судорожные объятия.

Бой этот начался неожиданно. Командиры проявили неосторожность, по привычке, наверное, к тому, что немцы еще ни разу не беспокоили партизанский лагерь. Мы спохватились только тогда, когда немецкий карательный отряд подошел совсем уже близко, к самому почти порогу.

И время-то было спокойное, полуденное. Я доила корову и не обратила особого внимания на стрельбу: иногда партизаны устраивали учебную перепалку, но Прошка, который в одной руке держал Дулата, а другой поглаживал, почесывал шею корове, вдруг испугался, стал озираться вокруг округлившимися глазами.

— Тетя Надя, это... немцы, кажись.

— Да нет, наши это, упражняются.

— Нет, немцы стреляют, много их... Слышите? Автоматы! А вот наши — реже они стреляют.

Лагерь всколыхнула тревога. Партизаны, отдохавшие перед ночным заданием, выскакивали, торопливо подхватив оружие и на бегу одевая шинели и телогрейки. Крики команды всплескивались над общим шумом. Я растерянно отставила ведро на снег и выхватила из рук Прошки своего малыша.

— Вы не беспокойтесь, я понесу его, — возразил было Прошка, но я не слушала его, крепко прижала Дулата к себе.

Стрельба сначала захлебывалась, шла беспорядочно, металась по лесу, потом стала сплошной. В лагере ничего не осталось — все ввязались в бой, только мы с Прошкой все еще топтались в растерянности. Наконец, опомнившись, я бросилась прочь от грохота, яростной пальбы, поглотившей все другие звуки. Только стук сердца глушил стрельбу. Пробежав несколько десятков метров, я опомнилась, победила в себе желание забиться куда-нибудь подальше. Куда же это я? А партизаны? А Касымбек, Абан, Носовец? Что с ними, как там они? Нельзя мне от них отрываться!.. Я еле остановилась.

Прошка вначале храбрился: эх, жаль, мне оружия не дали, я бы! Но когда стрельба стала ближе, злее, с кошачьим жутким мяуканьем стали рваться мины, он притих, совсем по-мальчишески жался ко мне. Взрывы мин мгновенно вырастали черными кустами и подкошенно рассыпались, но взметывались новые, пятнился снег воронками, качался над их рваными земляными краями синий дымок, ломались и медленно, беззвучно падали обломки деревьев. Не раз была я под бомбежкой, под дождем пуль,— привыкнуть к этому невозможно, ничем не унять ту холодную расслабляющую тело и душу дрожь, которая охватывает в минуты смертельной опасности. И все же опыт мой тут сказался. Как только посыпались мины совсем близко от нас, я закричала Прошке — ложись! И сама упала в снег, а потом, в короткую паузу между взрывами, понеслась назад и нырнула в сарай. Кровля тут слабенькая, но яма давала хоть какое-то укрытие.

Отдышавшись немного, я принялась осторожно растаскивать одеяльце, в которое был укутан мой Дулат, открыла ему лицо, он молча тарашил на меня свои глазенки. Я хотела улыбнуться ему, но не смогла, лицо не слушалось меня, покрылось непокорной коркой, пробить которую улыбка была не в силах. Тяжело, со всхлипами дышал Прошка. Он лежал рядом со мной, втянув голову в плечи, лицо его было белее снега. Немедленно открыв глаза, ровным и бесцветным каким-то голосом, почти не шевеля губами, он проговорил:

— Те... Тетя Надя... Я живой?

Кажется, он и теперь еще не совсем понимал, что вокруг происходит. Взгляд его был чем-то плотно заслонен. Мне хотелось помочь ему, хотя у самой сил почти не осталось. Тронула Прошку за рукав, потеревила его:

— Ты жив? Живой, говорю, слышишь? Тут нас теперь осколком не достать.

Я успокаивала Прошку, но и себя тоже, и сама я слушала свои слова, чувствуя, как успокаивается и моя душа, унимается колотье в груди, и лицо отпустило — разлилось по нему что-то горячее. Звуки минометных выстрелов удалялись, но зато ружейная и автоматная стрельба подкатывала все ближе. Мне вдруг пришла страшная мысль: если мы будем отсиживаться здесь, то немцы могут выйти прямо на нас.

— Прощка, подними голову, погляди, что там делается, а?

Прощка лежал лицом ко мне, тесно прижавшись к земляной стенке. Услышав, что нужно опять выходить наружу, он какое-то время бессмысленно смотрел на меня, потом в глазах его что-то надломилось, он сглотнул.

— Шибко я испугался давеча,— шепотом сказал он.

— Да и я от страха, как заяц: туда кинулась, сюда. Голову потеряла совсем.

— И вы тоже... испугались?— не улыбаясь, он смотрел на меня и глубоко, облегченно как-то вздохнул.— Как они кричат, мины-то. Как зарезанные... Жутко даже.

Мы выбрались из нашего укрытия. Весь пологий склон оврага, на котором теснились, горбились под снежными шубами наши землянки, был изрыт минами. Кое-где из ям торчали расщепленные бревна. Горело, шкварилось что-то неподалеку. Стрельба шла совсем рядом, пули смачно гвоздились в стволы деревьев, летела кора, щепки, падали еловые и березовые ветки и втыкались в снег. Вдруг откуда-то выскочили двое парней с красными потными лицами и ошалелыми какими-то глазами. Торопясь, точно на пожар, они бросились запрягать лошадей, потом один из них нырнул в какую-то землянку, тотчас же выбежал оттуда с вещами, швырнул их в сани.

— Ну, чего рты раззявили?! Помогайте скорее! — кричал он.

Прощка подбежал и стал помогать запрягать лошадь, я растерянно заозиралась, не зная куда положить ребенка.

— А ты чего — кол проглотила?! — заорал он бешено на меня, но, заметив на моих руках ребенка, осадил немного голос с крика, добавил по-прежнему сердито и раздраженно:— Положи давай пацана куда-нибудь, а сама шевелись, помогай. Приказано увезти лагерь — немец насел, мать бы его... Будем тут копать, как раз в окружение угодим... Быстрее давай!

Я положила малыша на снег и побежала к кухне, там были кое-какие продукты. Бешеный, грубый азарт боя, который принесли сюда двое этих парней, подхватил и меня, да страх к тому же подхлестывал — я вдруг с удивительной ловкостью и легкостью взвалила на себя мешок картошки и почти что бегом потащила его к саням, туда же принесла полмешка муки, какие-то кухонные причиндалы — кастрюлю, котелки, черпак тоже понесла

к саням, громыхая ими, точно шаманиха. Один из парней с Прошкой запрягали уже вторые сани. В ложбину, бороздя и вздымая снег, скатились еще пять или шесть человек со злыми, сосредоточенными лицами.

— Медпункт загрузите! Шура где?

— Там она, тама! — махнули в лес рукой. — Тут ее нет.

— Быстрее выносите медикаменты! Чего вы тут поварешки грузите? На хрена они нужны? Медикаменты!

Первые сани, загруженные доверху, уехали, вторые теперь навьючивали. Гул шел по лесу, а тут сквозь суматошные крики вырвался тоненький крик, похожий на бляение заплутавшегося ягненка. Я что-то несла в это время, бросила и кинулась к своему лежащему на снегу, в стороночке, сыну. Подхватив его, я виновато что-то забормотала. Пот заливал мне глаза, и концом шали я вытерла распаренное лицо. Сани уже были загружены. Парень в надвинутой на самые брови ушанке взял уже в руки вожжи и оглядывался по сторонам.

— Н-ну, жили не тужили, — со злым каким-то весельем закричал он, — теперь дай бог ноги! — и деловито кинул мне: — Садитесь в сани, чего вы? Быстрой!

Я повалилась неловко на поклажу, сани тотчас же дернулись, заскользили по ложбине. Я крикнула Прошке, чтобы и он садился, но возница, обернувшись, закричал:

— Выводи корову и гони ее за нами. Война еще кончится не сегодня. И завтра молочка захочется! Понял?

Выбравшись из ложбины, мы двинулись по накатанному следу, но тут справа застрекотали автоматы, опять пошли щепить деревья, чмокать в стволы, и над головой посвистывали они. Каким-то краем своим нас коснулся бой. Парень ожесточенно настегивал лошаденку, матерясь сквозь зубы.

— Сволочи, а? — повернул он ко мне красное, с белыми бровями лицо. — Справа обходят, в кольцо берут, а? Нет, брешешь, не возьмешь, не возьмешь!..

И он, повернув лошадь, пустил ее по бездорожью. Снег был глубок, сыпуч, лошадь сразу же увязла по самое брюхо. Парень соскочил с саней и вытянул лошаденку кнутом под самое брюхо.

— Не поднимай голову! Пригнись, пригнись, говорю! — закричал он, настегивая лошадь и прыгая за нею, барахтаясь в снегу.

Сидеть мне было неудобно, вещи, в спешке наваленные в сани, колотили меня со всех сторон. Лошадь теперь двигалась рывками, сани кренились то в одну, то в другую сторону, и я каким-то чудом удерживалась на ерзающем возу. Пули по-прежнему посвистывали над головой, и, согнувшись, накрыв собою сына, я все крепче и крепче прижимала его одной рукой, а другой отпихивала или удерживала то, что лезло на меня или летело с саней. Парень уже охрип от понуканий, ругани, тех тяжелых, надсадных русских слов, которыми он крыл и глубокий снег, и лошаденку, и немцев.

Вдруг сани остановились, точно смаху наткнулись на стену и стали затем как-то неправдоподобно медленно подниматься, крениться, переворачиваться. Я подняла голову — лошадь заваливалась на бок, судорожно и вместе с тем как-то связано двигая подламывающимися ногами, пытаюсь все еще двигаться и не понимая, что же с нею произошло. Какие-то секунды она дрыгалась, не сдвинувшись ни на шаг с места, ее шатало, водило в оглоблях, но устоять ей не удалось, она повалилась, рухнула вдруг, сани опрокинулись, и я покатилась в снег.

Я покатилась в снег, но сына из рук не выпустила. Одной рукой прижав его к себе и опершись другой о какой-то сук под снегом, я поднялась на ноги, залепленная снегом так, что еле смогла раскрыть глаза, и увидела, как из раны у пегой лошаденки тугим ключом бьет кровь. В предсмертных корчах бедное животное выпростало из себя навоз. Парень стоял над лошадью, не зная что делать, но услышав плач моего сына, закричал вдруг на меня:

— Чего стоишь дура чертова? Беги скорее!

— Куда бежать?

— Туда, туда вон дуй,— махнул он рукой.— В лес беги, поняла?!

Я побежала в ту сторону, куда указывал он, ребенок плакал взхлеб, но мне некогда было его успокаивать. Я задыхалась, утопая в сугробах и набирая доверху снега в валенки, жгуче-холодные обручи охватили икры. Спотыкаясь, падая на одну руку — в другой держу Дулата,— бегу изо всех сил, точно в пьяном танце. Время от времени оглядываюсь на свои следы, сверяя по ним направление, указанное парнем. Сам он давно уже пропал куда-то.

Стозвучное эхо металось по лесу, выстрелы гремели всюду — сверху сыпалась железная дробь, спереди вставал вибрирующий гул, грохотало сбоку, сзади трещали, громоздились друг на друга выстрелы. Сердце подступило к горлу, билось в нем с какой-то саднящей болью. Сын плачет надрывно, безутешно, у меня самой слезы льются по щекам, но я радуюсь: плачет — значит жив еще пока. Деревья щетинятся свежей щепой. Иногда изнеможенно опираюсь спиной о ствол, давая себе короткую передышку.

Не знаю, сколько уже прошло, час или пять минут, кажется, я бегу вот так всю свою жизнь... Постепенно перестрелка стала редеть, отдаляться. Мне было нечем дышать, долго бежала и только теперь заметила это. Горячее, плотное удушье свалило меня под какое-то дерево. Я съехала спиной по шершавой, крошащейся коре и уткнулась лицом в сверточек на моих коленях, мучительно глотая воздух широко раскрытым ртом и не в силах проглотить его, дать этот глоток обезумевшему, судорожно колотящемуся сердцу.

Наконец я подняла голову. Громадные, бронзоволистые стволы сосен столпились вокруг меня, высоко вверху широкие их кроны сомкнулись, словно купол у юрты, оттуда, с ветвей, как из щели, сыпался сухой снежный бисер и с колючей нежностью касался разгоряченного моего лица. Я опустила его вниз, глянула на малыша — прямо на груди у него адела кровь. Мне стало дурно, качнулась подо мною земля — как у того малыша в пеленках, который покатился у обрыва... Такое же кровавое пятно на груди. Господи, боже ты мой! Когда же у него попала пуля?! Я не решалась распеленать его, оттягивала страшную эту минуту, тупо сидела, и все во мне дрожало. Как вдруг из ноздрей моих скользнуло что-то теплое и скатилось на губы. Я поморщилась от солоноватого привкуса и машинально вытерла губы рукой. Кровь?.. Из носа моего текла кровь! Дрожащими руками открыла я малышу лицо, он был жив: сморщил личико, обиженно поджал губы и завелся своим обычным криком. Руки мои ослабели, с трудом удалось растегнуть пальто. Малыш проголодался, жадно присосался к груди, порой он сердито ворчал, ныл — много ли молока будет в такой жизни?

Отдышавшись, придя в себя немного, я осмотрелась по сторонам. Выстрелы утихли, лес устало молчал, сгу-



щались сумерки. Когда малыш поел, я прикрыла ему лицо и еще какое-то время отдыхала, расслабив усталое тело. И было хорошо так сидеть, я даже забылась на какое-то время, до тех пор по крайней мере, пока не стал пощипывать, покусывать мелко крепчающий к ночи мороз. Я была одна. Где же тот парень — возница? Где Прошка с коровой? Где мне их искать?

А сумерки густо, настуженно синели. Куда мне идти? Поднявшись, я пошла наугад, вернее, по тому размытому направлению, которое указал мне ожесточенным взмахом руки пропавший куда-то партизан.

Вот уже погасли синие проемы между стволами. Мрак сгущался, усиливая мой страх. Нагонял отчаяние и разыгравшийся нешуточно мороз. То иду я, то стою. Вдруг ладони мои тепло увлажнились: малыш промочил пеленки. Что же мне теперь делать? Где эти пеленки, и как его перепеленать на таком морозе? Расстегнув пальто, я спрятала малыша на груди.

...Казалось, не кончится ночь никогда! То и дело останавливаясь, бессильно опускаюсь на корточки, или привалившись спиной к стволу, отдыхаю, теснее укутывая малыша, но полуночный мороз не дает расслаживаться, и я опять устало бреду куда-то. Я давно потеряла направление, давно мне уже кажется, что я иду в обратную сторону. Где север, где юг — я не знаю. Звезды холодно, чисто плещут сквозь черные кроны. Ни одной я узнать не могу. В степи весь небосвод открыт и звезды горят открыто, а тут как-то зло выглядывают из-за ветвей, поодиночке. И я иду и сажусь, посижу и снова иду. Порой проваливаюсь в дремоту, но холод будит меня, нужно двигаться, мороз сидеть не дает. Дважды кормила ребенка. Мороз обжигал обнаженную грудь. Маленькое личико Дулата становится холодным. Я наглухо закрывала его в пальто и ждала, пока он торопливо насыщался, а усталое тело мое наливалось в это время мучительной истомой, и я забывалась в дреме.

Часов у меня нет, сколько времени прошло, сколько осталось до рассвета, я не знаю. Но мне кажется, и три рассвета могли бы уже наступить. Сынишка трижды еще мочил пеленки, и теперь тепла моего уже не хватает. Пеленки на нем заледенели. Нет, не выжить ему теперь, замерзнет... Я совсем выбилась из сил, сердце как-то очерствело, и мысль, что не выжить ему, не затронула отупевшую душу мою. Бреду, бреду, прижимая к себе

холодный панцирь пеленок. Вдруг, растопив мой обледеневший рукав, на руку стекает что-то теплое, значит, дышит еще.

Я совсем потеряла надежду на рассвет, и не заметила, когда он наступил. Вскоре мне почудился запах дыма, и я заозиралась по сторонам. Шагах в трехстах сквозь деревья виднелся легкий молочно-синий дымок... Пошла на него... Наткнулась на землянки... Передо мной стоял откуда-то взявшийся мужчина в полушубке.

— Ты... что? Откуда ты здесь?— вытаращился он.

Я промычала что-то нечленораздельное.

Дальше все было в каком-то тумане. Меня окружили, спрашивали, кто-то долго выдирает из окостеневших рук Дулата... Какая-то женщина, растирая меня всю снегом, говорила безмолвно:

— Господи, я когда тебя увидела, думала — ну, сумасшедшая, наверное. Вся белая, и льдом покрылась. Я сначала даже не поняла, что у тебя в руках. Хочу взять, а они у тебя не гнутся, как прикипели к нему, не выпускают.— И она смотрит на меня добрыми, ласковыми глазами.— Похоже вроде на запеленатого ребенка. А пеленки — ну все, все обледенели, так и гремят. Я их прямо с треском разматывала. Прямо лед. Думала и дите, того... уснуло... нет. Гляжу, шевелится, живое, значит...

Так я попала в другой партизанский отряд.

Бои. Кругом идут бои. Издали слышна канонада, глухо рокочет, ворочается рассерженно, и к звукам этим постоянно обращен мой слух. Мина нудит, долго тянет за душу, пока с металлическим мяуканьем не лопнет на земле. Снаряд летит с гулом, а мина заранее отпеваает тебя. Когда сойдешь в землянку, отдаленная какофония стыдливо стихает; становится даже приятной. Но будь она проклята, музыка эта! Я знаю, каково сейчас тем, кто лежит на сырой земле под этими снарядами, кто наступает, пробивая телом своим завесу огня... Гул сплошной и мягкий, как войлок... устилает наш тыл — земляночный, зыбкий, партизанский.

Положение нашего отряда было тяжелым. На этот раз немцы бросили на партизан силы не меньше, чем нынче весной. Месяцев пять-шесть назад они прочесали весь лес, бросили против нас авиацию, артиллерию и другую военную технику. В тот раз из железных сетей вырвалось около двухсот человек — все, что осталось от

полуторатысячной бригады. Теперь немцы снова вышли против окрепших партизанских отрядов. Удастся ли еще раз вырваться из этого кольца? Похоже, наступил тот момент, о котором Носовец говорил: «Нам с вами отступить некуда, победим — будем живы, нас победят — умрем». В прошлый раз выжила лишь горсточка, а в этот раз... Раскатистый и тяжелый гул артиллерии отдается в ушах... он смешивает небо с землей, все переворачивает вверх дном, и страшно думать о том, что будет дальше.

Не думают о том, что будет дальше, только эти двое малышей: Дулат и дочь Светы маленькая Света. Им лишь бы выспаться, насытиться, да играть в мирные свои игры, они не бегают, не шалят, молча возятся с тем, что попадет в руки. Маленькая Света хрупкая с виду, но и она почти на снегу родилась, на морозе пеленалась, поэтому, наверное, никогда не болеет. И такое же будто прозрачное, лицо у нее, как у матери, и волосы шелковистые и светлые. Если Дулат вырывает иногда у нее из рук то, чем она забавляется, она не плачет, а тут же начинает искать вокруг что-нибудь другое. Только что возились вдвоем у двух концов дробовика, теперь Дулат единолично завладел им. Света ковыряется в стенке и ищет там что-то. Месяцев на пять она младше Дулата, но разговаривать начала одновременно с ним. Может отдельным словом, а то и двумя-тремя выразить свою мысль, многие слова она не договаривает, или изменяет их так, что только я ее лепет и понимаю. Глядя на Дулата, и она называет меня «мама».

Света...

После того как увидела я ее последний раз у тети Дуни, след ее потерялся. Я узнала, что работает она в немецкой комендатуре и связана с партизанами. Больше она мне ничего о себе не рассказала. У человека, занятого секретной работой, вырабатывается особый характер, он становится скрытным, и даже Носовец мало что знал о ней. Ему известен был надежный агент по имени «Смуглянка», которого он никогда не видел, и Света тоже не знала, кто такой Носовец. Иногда мне кажется, что все они играют в прятки, а я словно стою в сторонке и вижу кто куда спрятался. «Говорю же, ты сидишь на печи, а многое знаешь», — усмехалась, помню, Света.

В первые дни Николай не решался зайти ко мне. И вот как-то раз Николай пришел наконец под вечер.

Было видно: он рад встрече со мной, стал расспрашивать о здоровье, о самочувствии, и, поражаясь тому, что я словно с неба свалилась, все покачивал и покачивал головой, и все никак не решался подступить к главному — задать мне один вопрос. Он то и дело поглядывал на меня вопросительно, с надеждой изболевшейся какой-то. Я не хотела испытывать терпение Николая и мучить его, а мучилась сама, не зная, что сказать. Раз говорить, то обо всем, полуправда Николая не удовлетворит. Он не вытерпел, заломил елочкой брови.

— Как там у вас было-то? Что вам известно о других женщинах?

— Особого ничего. Поезд разбомбило, не могли идти все вместе, ну и разбрелись,— уклонилась я от прямого ответа.

— Когда со Светой расстались? Я же ей сказал, не оставляй Надю, она в положении, что бы ни случилось, будь с ней.

Он весь напрягся, на его лице ходили, менялись тени надежды и тревоги, и под пристальным взглядом его я не нашлась, как увильнуть от ответа, и что сказать ему.

— Мы... долго были вместе,— неуверенно начала я. И тут, к счастью, в голову мне пришла спасительная ложь...— Я же в положении была, не могла идти с ней, потому она меня устроила в одном удобном доме. Не могла же она меня нести на себе.

— А сама куда ушла?— быстро спросил Николай.

— Сама?.. Сама... Ну, хотела пробраться на ту сторону... решила двигаться туда.

Николай не знал, верить мне или нет, что-то настораживало его в моих ответах, в тоне моем, в выражении лица, и долго он сидел удрученный. Потом заговорили о чем-то с Касымбеком, и я была оставлена в покое.

Но успокоиться я, конечно, не могла. Нет ничего труднее, чем лгать искреннему человеку. Я мучилась каждый раз, видя его вопрошающие глаза, часто ловила на себе полные надежды и ожидания взгляды Николая. Но правда, которую должна была открыть ему, могла покалечить, может быть, и убить. Я сдержала себя, как бы то ни было, жизнь рассудит все сама. Если суждено им встретиться, сами выяснят все, чужому человеку тут вмешиваться опасно. Все это было верно, разумно, и все-таки каждый раз при встрече с Николаем было такое ощущение, словно я совершила преступление.

После того как меня привезли из соседнего отряда, жизнь наша опять стала входить в свою колею. Мы обосновались на новом месте. Соорудили землянку. Она была не такой добротной, как прежняя, стены обложили жердями, железной печки тоже не стало, спасибо Абану, руки у него золотые — слепил из глины печурку, пробив в одном углу отверстие для дымохода, так что можно было развести огонь и согреть воду. Помаленьку конура наша набралась жилого духа. Когда мы устроились, как-то к вечеру пришел Носовец.

— Что — с новосельем вас? — сказал он, пригибаясь у входа, и шутливо спросил. — Ну как на новой квартире?

— Проходите, будете гостем, Степан Петрович. Хорошо, что пришли, как раз собирались sprыснуть новоселье, — с детской своей улыбкой ответил Касымбек.

Носовец присел на колоду у очага, огляделся. Потом повернулся ко мне.

— А где же твой богатырь, хозяйка? — спросил он.

— Спит.

— Вот это он молодец! Нашему брату, мужику, дисциплина ох как нужна. Без нее победа не придет, отвернется, — сказал он, нагибаясь всем коротким, плотным телом и вороша в печке огонь. — Не замерз он у вас? — Не дожидаясь ответа, он расхохотался. — Хотя что это я? Он родился на морозе. Такую ночь пережить... На войне крепкие дети рождаются.

— Это верно, Степан Петрович, когда Назира с ним блуждала в лесу, он даже не заболел, — подхватил Касымбек с радостью и гордостью в голосе. — Был небольшой жар, и все. Ну, думаю, воспаление легких обеспечено, а он — ничего, выдержал экзамен.

— Да-а... — неопределенно протянул Носовец.

Я не раз замечала, что этот человек резко обрывает житейские разговоры, придает лицу холодное выражение, оно становится суровым и задумчивым. И разгоряченный собеседник резко останавливается, будто спотыкается, теряется, не зная, что делать, и расплывается в глупой улыбке. Но Касымбек не улыбался. Носовец требовательно как-то взглянул на меня маленькими синими своими глазками. Я подумала, что мужчины хотят поговорить с глазу на глаз и собралась выйти.

— Ладно, сиди,— сказал Носовец мне и обернулся к Касымбеку.— Плохую весть я принес... Наша «Смуглянка» провалилась.

«Смуглянка» — это же Света! Я не поняла, что значило «провалилась», но почувствовала что-то недоброе и стала ждать, чем кончится этот разговор.

— Отличный был агент, польза от него была большая. Осторожная такая,— задумчиво проговорил Носовец,— а вот... не удержалась.

— Поймали ее, что ли?— спросил Касымбек.

— Нет, скрылась... успела. Но... в общем, плохо ее дело,— насупил брови Носовец.— Есть тут один.... Голову готов был отрезать, если поручали постричь волосы,— Усачев некий. Ищет ее днем и ночью. Здешний он, хорошо знает округу. А если поймают «Смуглянку», ну — тогда пиши пропало все наше подполье.

Касымбек понял, что Носовец пришел с созревшим уже решением, и слушал, молчал.

— Нам тянуть дальше некуда. Некуда! Рисковать тоже надо... с умом. Я вынужден забрать ее сюда. Люди готовы. Ты сам возглавь их. Это ответственная операция, очень,— сказал Носовец медленно и веско.

— Ну, что ж. И здесь найдется «Смуглянке» работа, вреда от нее не будет,— ответил Касымбек.

— Тут есть одна закавыка,— поднял густые свои брови Носовец, несколько затрудняясь.— Понимаешь, она, оказывается, того... в положении. Так что, ряды партизан будут расти,— он иронично хмыкнул.— Может, здесь детский садик откроем, а?

Когда ушел Носовец, Касымбек стал готовиться в дорогу. А меня охватило какое-то странное чувство: мы снова встретимся со Светой, я хочу ее увидеть, какое-то нетерпение жжет уже меня, но я не знаю, радоваться мне или печалиться. Неопределенность качает меня, и зыбь усиливает еще одно сомнение: сказать Касымбеку или нет? Мы же все равно встретимся с ней, так не лучше ли заранее ему все знать?

— Касым,— сказала я.

— Да?

— Касым, хочешь я тебе открою... одну тайну?

— Ну, что это за тайна?

— Ты пока никому не говори, ладно? Касым, «Смуглянка» — это наша Света.

— Что-что?— уставился на меня Касымбек, у него даже рот раскрылся.— Та самая Света, жена Николая? Ты... ты уверена? Что ж ты раньше об этом не сказала?

— Понимаешь? Не могла я.

Касымбек задумался.

— С одной стороны, ты правильно сделала, что не сказала, иначе бы Николай не вытерпел, наломал бы дров. Он страшно ее любит... Ты умница у меня, Назираш.

И, рассудив так, Касымбек не стал меня ни о чем дальше расспрашивать. Что ж, приведут Свету, а там поглядим, как обернется дело.

— Я тоже пока ничего Николаю не скажу. А то он.. словом, ты сама понимаешь. Нечего его тревожить заранее, придет Света, тогда и увидит ее. Кстати, Носовец сказал... она беременна? Николай не знает, что скоро станет отцом. Вот это ему сюрприз будет! Ах, черт побери, вот радость-то!

В ту ночь я не могла уснуть. Уже середина апреля, зимние холода отошли, но я не даю огню в печке погаснуть, то и дело подкладываю дрова, смотрю, как весело пляшет, летит куда-то огонь. Иногда просыпается Дулат и плачет, я меняю ему пеленки, но время тянется слишком медленно, и я, уложив сына, выхожу и слушаю глухую ночь. Черна она беспросветно, воздух апрельский тонок, пахнет рождающейся зеленью,— почками, травой, но душный запах холодной прели забивает дыхание. Озябнув, я возвращаюсь в землянку, к веселому лепету неугомонного огня и забываюсь здесь, куда-то уводит меня дрема, я долго неслышно иду в каком-то мягком, беспредметном мире и вдруг натываюсь на что-то твердое плечом. Открываю глаза — Касымбек.

— Утро уже, пора вставать,— тихо проговорил он.

Какие-то секунды я смотрела на него, ничего не понимая, протерла глаза. В землянке сумрачно. За Касымбеком кто-то еще застыл неуклюжий, в толстой черной шали, женщина, кажется, какая-то. И тут я вспомнила: это, должно быть, Света! Я растерялась!.. Как-то слишком уж растерялась, слишком захлопала глазами, показывая, что я со сна и ничего не могу понять, ничего.

— Здравствуй, Назира,— услышала я.

Услыхала, но с места так и не сдвинулась почему-то, и долго так я стояла.

— Что же ты не усадишь гостью?— это голос Касымбека. Он странно, недоверчиво смотрел на меня, и тут я как бы очнулась, бросилась к Свете.

— Садись, садись, Света. Давай, раздевайся,— засуетилась я, не в силах поднять на нее глаза.

Огонь в печурке почти погас, я стала хлопать, дуть на мутнеющие угли, совать в топку дровишки.

— Да не хлопочи ты так, Назира,— с улыбкой сказала Света.— Погоди, я хочу тебя поздравить. С сыном тебя, очень за тебя рада. Ты... веришь мне?

Касымбек нащипал лучинок и мигом разжег в печурке огонь. В землянке стало светлей, просторней, и мы могли теперь разглядеть друг друга, и я медленно подняла глаза и взглянула на Свету.

— Вы это... попейте чаю, да сготовьте что-нибудь, ладно? А я пойду Николая позову. Умрет от радости, а?— потирая красные с ночного свежего воздуха руки, сказал Касымбек и подошел к выходу.

Я бросилась было за ним, хотела крикнуть: погоди! Но слова застряли в горле. Света тоже вся напряглась, но наивный, глупый мой Касымбек не заметил нашего состояния, выбрался из землянки. Мы замолчали, с тревогой ожидая этой встречи. Мне бы тут с каким-нибудь легким, отвлекающим разговором подойти, но я так и не научилась этому, я неуклюжа в такие моменты, слова получаются фальшивыми, лучше уж молчать вот так, чем ханжески расспрашивать о здоровье, о погоде, когда человека гложет тревога, неопределенность, беда, и я, злясь на свою беспомощность, мучаюсь вместе с томящимся человеком.

Я опять взялась за топку, но, бросив ее, начала возиться с посудой.

— Почему молчишь, Назира?

Света сняла толстую телогрейку, закуталась в шаль. Вся она пополнела, раздалась, живот выступал, глаза запали, а на лице высыпали пятна. Как будто какой-нибудь злой мальчишка заляпал серой и коричневатожелтой краской фотографию, но даже сквозь пятна эти проступали черты прежней красоты, а глубоко запавшие, большие ее глаза делали это лицо с пятнами еще нежнее, трогательнее.

«Почему молчишь, Назира?» Я не нашла, что ответить ей и растерянно, боязливо даже как-то поглядывала на Свету.

— Ты счастливая, Назира, Касымбека встретила. Я рада за тебя,— Света помолчала немного.— А я так не хотела встретиться с Николаем!

Господи! Да что это я молчу, подлая, что же это я рву и без того натянутую до предела душу ее?! Какая же я... То бросаюсь, висну на шее у нее, слезами радости исхожу, то вот, ничем не могу пробить молчания своего и оправдываю себя жалким каким-то лепетом, что я ей скажу? Вот если бы она не была беременна, как-нибудь обошлось бы с ее ошибкой... Не знаю, чем все это кончится. Я не в силах быть примирительницей. Разве что Касымбек... Ему проще, он же мужчина все-таки...

— Касымбек поторопился,— Света присела ближе к огню и обняла меня за плечи. Кажется, она меня успокаивает? Меня, а не я ее!

— Ну да ладно, никуда теперь не денешься от этого разговора. Только у меня одна просьба к тебе, не оставь меня одну.

— Почему?

— От тебя мне скрывать нечего... Будь с нами, хорошо?

— Ладно,— с готовностью согласилась я, стремясь хоть тут ей угодить.

Николай влетел в землянку, в гимнастерке, без шапки. Вскинув голову, он заметался глазами по землянке, увидел Свету рядом со мной и бросился к ней. Я не успела пропустить его, он толкнул меня и крепко, отчаянно обнял Свету. У двери, растянув губы до ушей, стоял Касымбек. Я тоже поддавалась этой радости, забыв на миг о предстоящих сложностях.

— Жива! Ты жива... Жива, родная, солнышко мое,— бормотал Николай и осыпал поцелуями лицо, глаза и волосы Светы.— Светик мой, золотая моя, единственная!..

Света сидела, словно полумертвая, не противилась его объятиям, подчинялась им вяло, равнодушно, но Николай не замечал ее холодности, ласкал ее, гладил ей волосы и смотрел на нее с непереносимым, болезненным даже каким-то восторгом.

— Родная моя. Светик мой...— Продолжал он невнятно бормотать, его начало трясти, накатывала волнами дрожь, он поднимал брови и слепо оглядывал землянку. Смотреть на него было невозможно, я отвернулась.

Света все не поднималась с места, Николай целовал и обнимал ее, это было нетрудно с его маленьким ростом, но вдруг он точно ударился обо что-то, остановился, остро взгляделся в располневшую фигуру Светы, и лицо его помрачнело. Она сидела не поднимая глаз, была печальна какой-то далекой печалью, печалью чужого человека. Николай попытался улыбнуться, и я подумала: если сейчас Света разрыдается и бросится к нему, они расплачутся вместе, изольют душу, простят проклятую ошибку и вернутся друг к другу.

Но Света молчала, и Николай задыхался, лицо его побелело, точно перед смертью своею стоял он.

— Ну, что же...— начал было Касымбек и умолк.

До него, видно, только теперь дошел смысл происходящего. Казалось, сумрак в землянке ожил, он томил. Все мы словно залегли, затаились в ожидании взрыва бомбы. И даже Касымбек не в силах был разрядить обстановку.

— Нам надо поговорить,— хрипло и тихо-тихо сказал Николай.

Мы с Касымбеком осторожно направились к выходу, но Света остановила меня.

— Я же сказал, надо поговорить с глазу на глаз,— повысил голос Николай, угрюмо, исподлобья глядя на меня.

Я растерянно застыла у двери, не зная, уйти или остаться.

— Назира останется здесь. Она знает все мои секреты,— сказала Света решительно.

— Как это знает? Каким образом?— Николай быстро повернулся ко мне.

Я промолчала.

— Выходит, вы от меня что-то скрывали?! — быстро, словно задыхаясь, продолжал Николай.— Конечно, так и должно быть, раз у вас...

— Прошу тебя, оставь Назиру в покое,— сказала Света и вдруг перешла на «вы», как бы напрочь отрезав Николая от себя.— Прошу вас. Она к этому не имеет никакого отношения.

Мы замолчали, и долго опять звенела тишина, Николай, не выдержав, проговорил разбитым, хриплым голосом:

— Тогда сама все скажи. Ты же в немецкой комендатуре работала. От них, наверное...

Я раскрыла рот, впилась глазами в Свету: что она скажет? Света побледнела, ее качнуло, она закрыла глаза, ресницы ее дрожали.

— Да,— выдохнула она.

Николай ошарашенно смотрел на Свету.

— Чего уж тут врать,— сказала Света и вся обмякла, словно ослабла в ней напрягавшая ее пружина.

Нет, пропади она пропадом, правдивость такая! Лгать она не умеет! Я и то почувствовала себя оглушенной, но, бросив взгляд на Николая, испугалась: лицо его теперь побурело, казалось, он вот-вот задохнется.

— Сука!..— злобно выкрикнул он.— Сука! — он затряс над ее головой кулаками, черные губы его плясали.— Тварь, сука!

Всхлипнув, Николай заскрипел зубами и деревянной походкой вышел прочь. Мы остались вдвоем. Света даже не вздрогнула от крика Николая. Я чувствовала себя в чем-то виноватой, укоряла себя, что ни шагом своим, ни словом — ничем не помогла близким мне людям хоть как-то помириться, объяснить Николаю, в чем он не прав, а в чем — Света. В жестокость вылились откровения, исповеди ее — себя не щадила, не пощадила и мужа, и меня оставила когда-то, сломавшись от беспощадной правдивости своей. Родная, близкая, несчастная моя! Как ты мне сейчас нужна, как хочу обогреть тебя, окружить собою, дыханием своим заслонить от горя твоего, от страшных, нечеловеческих бед, свалившихся на наши незащищенные головы...

— Не надо было мне сюда приходить,— глухо сказала Света.

— Ну, а что же тебе делать оставалось? Носовец говорил, нельзя было тебя там оставлять, опасно.

— Опасно, да,— сказала Света.— Усачев проворонил тебя, ну и стал за каждым моим шагом следить. Раза два чуть не попалась.

— Вот видишь!

— А многие ли уцелеют в этой войне,— сказала Света безнадежно.— Все равно один раз умирать.

— Ты особенно не терзайся,— я положила руку свою на ее плечо.— Николай... он... беззлобный. Он поймет. Ну, чего не скажешь в сердцах, да? Отойдет он в конце концов, Света.

Сколько помню, до сих пор я не давала Свете советов, обычно она меня наставляла, потому, кажется, сло-

ва мои она восприняла как попытку ребенка успокоить взрослого. Подойдя к плите, она разворошила огонь, покрывшееся пятнами лицо ее покраснело от света пламени — то чисто, прозрачно, розово, то буроватыми плотными нашлепками. Она обернулась ко мне.

— Я знаю характер Николая. Не отойдет он, нет.

В двери, пригибаясь, появился Касымбек. Зря он пришел, не нужен он здесь сейчас, как он этого не понимает. Он суетился бессмысленно, не находил, что сказать, и не то чтобы успокоить Свету, он и смотреть в ее сторону не решался. Только его и хватило что сказать мне:

— Поторопись, накрой на стол.

Я разозлилась: один ушел в праведном мужском гневе, теперь этот смущенно хлопает глазами, словно увидел человека, заразно больного. И никто из них не думает о том, что горе этой несчастной женщины горше всех обид и печалей их.

— Да поди ты куда-нибудь! И без тебя тошно,— бросила я в сердцах.

Касымбек, словно впервые в жизни увидев меня, растерянно вытаращился, потом сник, как напроказивший ребенок, и тихо вышел из землянки. Впервые за время замужества я сказала ему резкое слово.

9

Гул артиллерии сотрясал воздух, долго перекатывалась, потом рыкнуло несколько одиночных выстрелов и затихло. Долго я вслушивалась, не начинается ли снова... Ни звука, как будто война кончилась и в мире воцарились покой и тишина. Но эта тишина не успокаивала, она пугала, холодный язык опасности трепетал в груди, и предчувствие, предупреждение тишиной не обмануло — началась атака. Самый опасный это момент — ожидание близкого удара, не у одного тут дрогнут нервы, тоскливо зайдет сердце.

Не раз мне приходилось убежать, прятаться. У матери-земли всегда находилось укрытие. Не говоря уж о густом лесе, оврагах и ямах, даже холмики и ложбинки не раз спасали нас от смерти. Я выросла на земле, вдыхала ее запах, валялась на траве, каждое лето спала в юрте, где пахло полынью и землей, и когда повзрослела,

заневестилась уже, меня по-прежнему тянуло на зеленые лужайки, хотелось прижаться лицом к зелени. Но только теперь, в войну, оценила я это счастье по-настоящему. Земля зовет, притягивает к себе, она живая, добрая, она дарила мне минуты редкостной радости в детстве и юности моей, не оставляет меня и сейчас. Бывают минуты, когда прижимаешься к груди земли крепче, чем к груди любимого. У земли есть дыхание, есть жалость, она укрывает тебя и не отдает смерти. И я эту хмурую русскую землю с песчаными холмами, лесами и рощами, с небесами, затянутыми тучами, полюбила, как степи мои родные.

Война вовлекла в свой страшный водоворот миллионы людей. Но моя война кажется мне какой-то особенно противоестественной. Что бы вы почувствовали, если бы вам связали руки и толкнули в бой? Грудной ребенок связал мне руки. Я не могу взять винтовку, не могу стрелять. Человек с оружием в горячке боя хоть на миг забывает о смерти, а человек с ребенком на руках даже защищаться не в состоянии — нечем и ждет каждую секунду не одну, а две смерти; страшно считать свист невидимых пуль над головой, изнывать, томиться, обессиловать, обливаясь холодным потом.

Единственное, что остается мне — убежать и прятаться. И я научилась падать, ползти, прыгать, и все это вместе с Дулатом. И если внезапно разгорается бой, а у меня на руках нет моего сына, мне кажется, что я словно потеряла что-то и чувствую обезоруженной себя.

...Бывало, бабушка Камка глубоко о чем-то задумается и вдруг громко вздохнет всей грудью «уф». Так и теперь громко и тяжело вздохнули две пушки «уф, уф». После этого все опять затихло, даже мои малыши не подавали голоса. Каким-то непостижимым образом жизнь приучила их в самые напряженные моменты не только не плакать, но и не хныкать. То ли сами они тонко чувствуют, то ли общее настроение передается им, словом, когда люди мечутся в суматохе или в мрачном молчании ждут беды, они затихают. И когда у меня тяжело бывает на душе, они тоже это чувствуют. Вот и сейчас они возились себе тихонечко. Дулат ковырял землю обломком палки, маленькая Света, поскольку у нее в руках ничего не было, тоже ковыряла землю своим крохотным пальчиком, и оба погрузились в занятие свое, слов-

но делали важное дело. Дети войны, они не знали, никогда не видели, что такое настоящая детская игрушка.

Я напряженно вслушиваюсь — грохот пушек затих, теперь жди атаки. Как будто собственными глазами вижу, как множество вражеских солдат двинулось, повалило, на снегу трудно разглядеть людей в белых халатах, шевелится, ходуном ходит снежное покрывало, и мелькают по нему округлые, темные прорехи — лица солдат, а по всей этой волнующейся массе порхают колючие огоньки автоматных очередей.

Впервые участвовала я в бою в небольшом редком леске, где мы укрылись на рассвете. Вспыхнула перестрелка, кольцом охватила рощицу. Я не знаю, с какой стороны идут вражеские солдаты и много их или мало. Партизаны торопливо схватились за оружие и открыли ответный огонь, прячась за пни и стволы берез. Издалека я услышала голос Касымбека, отдававшего команды, хотела побежать к нему, поднялась, но тут же легла опять. Я почувствовала, что нельзя искать у него защиты, в эти минуты он мне не муж, и я для него как все, как солдат его.

Мягко впивались в весеннюю землю пули. Ощущение обнаженности холодило мое тело и оно напряглось все, как будто перед щекоткой. Я пыталась закрыть собой малыша.

— Укройся за кочкой! За кочкой...

Ко мне подбежал рыжий паренек, подхватил под руки потащил в сторону. Опираясь одной рукой о землю, спотыкаясь, я доковыляла до какого-то пня и укрылась за ним. Парень упал рядом.

— Не поднимай голову! Слышь? Убьют! — прокричал он и побежал дальше.

Я узнала его: это был тот самый парень, который увез меня зимой в санях, когда так же внезапно напали на нас немцы, мы не раз потом с ним встречались, я узнала, зовут его Сашей. Он тоже радовался тому, что я нашлась, приходил прощения просить. За что? Он переминался, смотрел на меня повлажневшими от смущения глазами.

Лежа на боку с прижатым к груди сыном, я упираюсь головой в поросшую мхом кочку и отчаянно вжимаюсь в землю бедром. Мне кажется, что и в самом деле я постепенно вдавливаюсь в землю, и это ощущение при-

носит какое-то облегчение, надежду на то, что уцелею, выживу и на этот раз.

Шагах в шести от меня кто-то стрелял, вдруг он приподнялся, я узнала Сашу, у него, видимо, заело что-то в винтовке, он привстал на одно колено и торопливо передегивал затвор. Наконец он справился с ним и только собрался лечь, как тут же с коротким вскриком рухнул лицом вниз. Оставив малыша за кочкой, я побежала к нему. Он лежал неподвижно, примяв зеленую траву светлой, рыжеватой головой. Я осторожно перевернула его, глаза его были закрыты, от лица еще не отлила кровь, казалось, что его вдруг сморило, он уснул. На груди сквозь выцветшую гимнастерку проступало сырое пятно величиной в ладонь. На глазах моих уходила жизнь, лицо его посерело, стало пепельным. Смерть, вот она, сквозь руки мои, державшие то, что было за минуту до этого еще резковатым, крикливым и застенчивым Сашей, проросла, сквозь пальцы, сквозь застывшие мои глаза. А в ушах моих стоял его голос:

— Понимаете, пока я отстреливался от немцев, глядь, а вас уже нет. Где, куда делась? А тут опять немцы! Вы уж меня простите. Не мог женщину с ребенком уберечь.

Была в нем еще и молодецкая, а больше мальчишеская бравада, в самые лютые морозы из-под его шапки выбивался буйный, точно легкой ржавчиной тронутый, чуб. Вот и сейчас выбился... Господи, волосы его непослушны, как на живом.

...Подняв голову, я увидела серо-зеленые мундиры немецких солдат, бегущих на меня. Я взяла винтовку, она остыла уже, была тяжелой, точно умерла вместе с Сашей. Но вот я, прижавшись щекой к прикладу, нажала на курок, меня откачнуло, я передернула затвор, синий пороховой дымок не успевал таять, сильно запахло порохом, горячим металлом и мятой травой из-под моих локтей. Обойма вскоре кончилась.

Пока я перезаряжала, дыхание мое выровнялось, я успокоилась. Немцы залегли в густой траве, за кочками, кустами. Двигались они короткими перебежками, горбят спины и вжимая головы в плечи и зло постреливая на ходу. Наши стреляют изредка, берегут считанные партизанские патроны. Я стараюсь припомнить уроки, которые мне давали Касымбек с Абаном, стреляю, но попадаю ли в кого-нибудь, трудно сказать. По крайней мере, немецких солдат не становится меньше. Я в досаде рву

затвор. И вдруг до ушей моих донесся какой-то звук, похожий на комариный писк. В пылу боя я не обратила внимания на него, но звук становился все громче, надрывнее — плакал мой малыш, я забыла о сыне! Бросилась к нему, не думая о пулях, прилегла рядом, прижала к себе. И показалось: пули засвистели гуще, злее, мстительнее. Что же мне делать? Лежать с малышом за пнем, ждать? Да, лежать и ждать.

...Дулат перестал ковырять землю и начал возиться со старым ящиком. Он дергал за конец полоску тонкой жести, пытаясь оторвать ее. Жесть не поддавалась, но Дулат все равно дергал изо всех сил и напряженно сопел. Вдруг жесть выскользнула из его рук, он чуть не упал, но схватил ее вновь. Упрямым растет мой малыш, на войне растет, под пулями. Как мне не хочется, чтобы вырос он жестоким.

Делает ли война человека жестоким? Не знаю, может, и делает. Здесь даже смерть не очень-то чтят. Не всегда есть возможность глаза убитому прикрыть. Помню с детства: в наших краях смерть одного человека заставляла горевать целые роды. Когда женщины плакали в голос и рвали на себе волосы, рыдали все вокруг, и лишь муллы могли кораном остановить горестный вопль. Приезжали сородичи издалека, и едва только завидится аул, как начинали рыдать и причитать: «Ой ты, родной мой!». Потом горечь, изошедшая в воплях опять, опускалась на сердца, все затихало, люди не повышали голоса у дома, где траур был, ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, и казалось мне, что не только люди, но и сам воздух скорбно застыл над аулом.

А на войне некогда отдавать последние почести усопшим, и сердце горю надолго не отдают: едят спокойно подле убитых, порой после боя, собравшись вместе, даже хохочут над чьей-нибудь промашкой. Люди не отдаются горю, чтобы выжить, силы нужны на это, и плачут здесь редко.

10

Пули, усталость, недосыпание, болезни, голод... Партизан особенно часто мучает голод. Добытого в деревнях, которые и без того опустошила война, ненадолго хватает. Иногда партизаны захватывают немецкие обозы, возвращаются радостные, с богатыми трофеями, но чаще

с пустыми руками, зря потеряв своих товарищей, сумрачные и поникшие.

За полтора года походной жизни чего я только не испробовала, в том числе и немецких продуктов. Выбирать и отказываться не было возможности, в пищу шло все. Если бы немецкие консервы, крупа, галеты, смалец и многое другое попадались нам непрерывно, то и горя было бы мало, но делом случая была их добыча, и случая тяжелого, кровавого. Партизанский стол скуден: то одного на нем не хватает, то другого. Когда же голод мучил особенно сильно, приходилось забивать последнюю клячу. Где уж тут разделявать мясо, каждый отрезает, что достанется, и тут же начинает варить в котелке. О крупе или картофеле к нему и речи нет, даже соли порой не бывает. Бывало, по нескольку дней вообще не ешь, в глазах темнеет от слабости, а ребята приносят задания какие-то конфеты, только это под руку и попалось. Положишь в рот конфету, а сладкая слюна так и скручивает голодный желудок, но хоть немного подкрепишь силы.

В самые трудные дни меня выручала белолобая корова Зойка. В тот раз, когда внезапно напали немцы и я заблудилась в темном лесу, Зойку угнал Прошка. Скитался бедолага, блуждал по лесу, но корову уберег и снова нашел отряд. Прошка радовался больше всех, когда партизаны из соседнего отряда привезли меня к своим. Он долго крутился возле меня, все улыбался во весь рот и приговаривал:

— Как хорошо, что вы нашлись, тетя Надя, как хорошо.

Так Прошка при мне и остался. Конечно, если бы его специальным приказом назначили моим помощником по кухонным хлопотам, уходу за ребенком и коровой, это бы сильно задело его самолюбие, но все сложилось само собой, сначала Прошка помогал мне из жалости, а потом незаметно свыкся со своим положением. Видимо, дошло до него, что быть партизаном — это не значит только с оружием в руках день и ночь громить врага, есть у него повседневные заботы, мелкие дела, бесконечные нужды. Он перестал хныкать, выполнял любое поручение с охотой.

Крепко мы оба привязались к Зойке. Человеку, который сколько помнит себя, все гонялся за ягнятами, рос рядом с животными, жизнь начинает казаться ущербной,

если их нет рядом. Рядом с нею я всегда чувствовала себя спокойнее. И Прощке Зойка, кажется, стала особенно дорога после той страшной ночи в лесу. Вокруг пули свищут, немцы, потом одиночество, рядом с мальчишкой лишь эта корова. Наверное, он прижимался к ее шее в ночном лесу, согревался и успокаивался.

Когда у нас кончились продукты и партизаны зарезали Зойку, Прощка чуть с ума не сошел. Он прибежал ко мне весь в слезах.

— Тетя Надя, тетя Надя! Они Зойку... Зойку собираются зарезать! Слышите?! Зарезать хотят! — дергал он меня за рукав.— Ну, что же вы стоите? Скорее, скорее же!

А что я могла сделать? Я выросла в казахском ауле, где скот резали каждый день, ни слез, ни жалости не вызывало это, но теперь и мне почему-то больно стало и захотелось плакать. Но люди голодают вот уже несколько дней, на крошках сухарей тянут. А раненые, больные, а дети? Нет, жизнь сильнее наших чувств.

— Ну, что же вы стоите, тетя Надя? Тетя Надя! Зарежут ее, совсем зарежут Зойку, спасите ее! — умолял он, словно речь шла о человеческой жизни.— Жалко-то ее как, она хорошая!

Зойку все же зарезали. Прощка убежал куда-то, но голод не переупрямишь, вернувшись, он вяло, нехотя поел свежесваренного мяса.

Без коровы тяжело нам стало жить. Пошли собирать в лесу ягоды. Проку от них мало, но когда в глазах темнеет от голода, то рад и кислинке этой водянистой, пустой. В лесу было много разных, неизвестных мне, степнячке, ягод, я не знала какие из них съедобные, а какие — нет. Пожую малость и глотаю, если не горько. Самая богатая находка — грибы, среди них тоже есть съедобные и несъедобные, я в этом опять-таки ничего не смыслю, знаю только, что нельзя их пробовать на вкус, — недолго и отравиться. Прощка стал тут для меня незаменимым советчиком. Бывает, принесу радостно целый подол грибов, а он из них только пару горстей и оставит. Особенно больно мне было видеть, как он выбрасывает красивые грибы с белым горошком на красноватой шляпке.

— Это же мухомор, тетя Надя, — пояснял он и выбрасывал еще один красивый гриб. — Никудышный гриб.

— Но он тоже такой красивый? — оправдывалась я.

— Красивый-то красивый, да обманщик, ядовитый он. А это поганка, она тоже негодяща, есть нельзя.

Зато грибы, которые берет Прошка, очень вкусные, их можно сварить, а если есть хоть немного жиру, то зажарить, тогда они напоминают овечьи легкие.

Я привыкла к Проше, к помощи его. Мы не воюем с оружием в руках, как другие, а значит, в чем-то ниже их, и только между собою равны. Наверное, это и сблизило нас. Проша ничего от меня не скрывал, верил мне, иначе разве сказал бы паренек, считавший себя партизаном, о том, что соскучился по матери, по дому. Конечно, и мне он открыл это не сразу. Обычно он следил за тем, что я делаю и как, и говорил «моя мама тоже так делает» или «моя мама делает не так, а вот так» и рассказывал о матери. Трудно судить о матерях по словам их детей, тут каждый считает свою мать самой умной, самой красивой, доброй. Но судя по рассказам Проши, его мать спокойная и тихая женщина, напоминавшая мне чем-то Ираиду Ивановну из нашего полка, у которой было четверо детей. Кстати, и у матери Проши четверо. Самый старший он, а у него еще братишка и две сестренки. Он чаще других вспоминает четырехлетнюю Аленушку, а о девятилетней Аграфене отзывается с пренебрежением. То и дело говорит о ней «глупая». Когда я впервые принесла мухоморов, Проша рассмеялся:

— Тетя Надя, вы как наша Грушка. Она тоже из лесу только мухомор таскает. Я ей говорю: «Выбрось, чего принесла», а она упрямится: «Он красивый». Так и не отучил я ее от привычки этой. Ей чтоб только на своем настоять. Глупая!

Проша усмехнулся печально, и мне открылось вдруг, что слово «глупая» можно произнести с нежностью и грустью. Десятилетнего братишку Проши звали Санька. Мать восьмерых родила, а осталось четверо. Саньку Проша тоже вспоминал чаще, рассказывал, что побил его, когда тот отобрал у Аленушки блинчик и жалел теперь об этом, вздыхал: «Он тогда был маленький и глупенький». Только отца своего никогда Проша не вспоминал. Только однажды, когда говорили о тех же грибах, у него сорвалось.

— Папаня любит маринованные грибы... и соленые огурцы,— сказал он и тут же прикусил язык, сморщился болезненно, покраснел, словно произнес нечто постыдное.

Вообще-то мы оба старались не упоминать его отца. В первый раз, услышав от мальчишки кто его отец, я как-то даже оторопела, испугалась даже слегка, но потом привыкла к Прошке, как к родному брату, и все не могла, отказывалась верить в его родство с полицаем Усачевым и редко о нем думала. Но ладно я, а Проша — разве мог он о нем не думать?

Как-то он высказал мне свою затаенную мысль:

— А может, он перейдет на нашу сторону? Успеет еще?..

Я сразу поняла, кто это «он». Прошка думал о нем день и ночь, надеялся, что он опомнится, мечтал об этом, и я взяла грех на душу, поддержала в нем эту надежду.

— Голова у него есть на плечах? Думает он, что от своих нельзя отбиваться? Конечно, он должен перейти на нашу сторону.

Я сказала ему то, что он хотел от меня услышать, но сама-то знала: вряд ли смогут сойтись люди, которых война развела в разные стороны, и теперь Усачеву от наших добра не ждать.

И вот однажды летом, когда я, пустив Дулата ползать по зеленой травке, готовила завтрак, прибежал Прошка. На нем лица не было, верхняя губа наплыла на нижнюю, всегда она так напывала, когда он волновался. Я тревожно смотрела на него.

— Что случилось, Проша?

— Привели... — выдохнул он.

Я не сразу поняла.

— Кого привели?

— Его... Отца...

— Ты сам видел?

— Сам.

— И он тебя видел?

— Нет, он не видел. Я далеко был, за деревьями. Двое их. Закружили их в землянке, караулят.

Я не знала, что сказать ему, да и что скажешь тут, что? Не было слов у меня, ничем не могла утешить, приободрить его, — страшный час наступал в жизни этого паренька, мальчишки еще по сути. И никто — и Прошка чувствовал это — никто не мог помочь ему перешагнуть пропасть — ни ему, ни в чем не повинному Прошке Усачеву, ни отцу его, предателю и палачу. И понял это он окончательно. Глаза его гасли, теряли блеск, и стали серыми камушками, припыленными дорожной пылью.

Понурившись весь, он тихо побрел в шалаш, чтобы никому не попадаться на глаза...

В полдень состоялся суд над полицаями. Я не хотела быть на нем, но за мной пришли, пригласили особо. Партизаны собрались на поляне, тесно столпились, ходили, колыхались спины, плечи, головы в картузах, пилотках, фуражках, были возбуждены, поглядывали друг на друга серьезно, значительно. Кое-кто лежал на траве, опершись на локоть, другие стояли, прислонясь к деревьям. Чуть поодаль за столом, накрытым кумачом, сидели трое — в центре был Носовец. Летом он носил картуз с высокой тульей, теперь снял его, положил на стол. Оба партизана рядом с ним тоже сидели без головных уборов. Все трое молчали, видимо, ждали, когда соберутся люди, Носовец что-то записывал на листке.

Я остановилась под деревом, чуть впереди других и как бы сбоку. Приятного мало было в предстоящем событии. Касымбек и Николай сидели в первом ряду, но даже не посмотрели на меня, заметил меня один Абан, подошел ко мне и прошептал:

— Идемте, я усажу вас, Назира-женгей.

— Нет, я постою.

Шагах в пяти от стола на бревне сидели два полица, они не сняли с рукавов повязок, а может, им не дали их снять, чтоб люди видели позорную эту метку. По обе стороны от них стояли два партизана с автоматами наперевес. Один из полицаев сидел боком ко мне, я узнала его — это был Усачев. Сейчас ему хотелось сжаться в комочек, втянуть голову, но его громоздкое тело не подчинялось ему. Хрящеватый нос его повис, концы усов опустились, он тупо, с каким-то даже удивлением уставился в землю. Постепенно тишина накрыла поляну, даже птиц почему-то не было слышно, прошумит чей-то шепот порой, и этот короткий вороватый шепот еще тяжелее делает тишину. Собравшиеся здесь понимают, что этих двоих приговорят к смерти и приведут приговор в исполнение, и видеть это, даже тем, кто каждый день встречался со смертью, было гадко, нехорошо.

Носовец, решительно поднявшись с места, уперся обоими кулаками в стол так, словно собирался продавить столешницу. Мне показалось, что его плотная сбитая фигура высечена целиком из камня. Усачев вздрогнул и попытался сжаться еще сильнее. Комиссар, набрав полную грудь воздуха, долго стоял не дыша, как бы боясь

расплескать в себе что-то. У меня в ушах зазвенело. Но вот Носовец взял в руки бумаги и медленно, хриловато проговорил:

— Военно-полевой трибунал объявляю открытым.

От слова «трибунал» повеяло такой грозной силой, что все как-то выпрямились, напряглись, затушили сигарки, смяв их в кулаке.

— Обвиняемый Усачев Лука Саввич...

— Я,— поспешно ответил Усачев, словно боялся, что это кто-нибудь скажет за него.

— Встаньте!

— Обвиняемый Гуськов Терентий Петрович.

Этот ответил тихо. Голос показался мне знакомым, он сидел ко мне спиной почти, лица я его разглядеть не могла.

Носовец зачитал обвинительный акт. Усачев беспокойно, затравленно вертел головой, умоляюще поглядывая по сторонам, а товарищ его так и застыл с опущенной головой. Вот они стоят перед неминуемой смертью, она одна их ждет и принять готова. С каждым ударом сердца приближается минута, которую они ждут и которой страшатся больше всего на этом свете. И хотя смерть одна на всех, каждый ожидает ее по-своему. Усачев вертится нетерпеливо, он сильнее ощущает близость конца своего и мечется мысленно в поисках оправданий. После каждого пункта обвинительного акта он торопливо, позаячы вскрикивает: «Нет! Не делал я этого». Носовец холодно смотрит на него, и тот, боясь рассердить комиссара, умолкает и только поглядывает на него умоляюще. А другой, молодой, сник совсем. То ли ему не на что было надеяться и он смирился со своей участью, то ли был ошеломлен и не до конца понимал происходящее.

Усачев от всего отрекся, валил все на других, на немцев, все долдонил, растерянно тараща глаза:

— Они же власть. А приказ властей нельзя не уважать. Расстреляют! Они же власть... вот я и выполнял ихние приказы. Немцы, если их послушаться... они сразу...

Носовец, не выдержав, прикрикнул:

— Фашисты не власть, а захватчики! А эти? — он указал рукой на партизан. — Они что, тоже их приказы выполняют? Что ты нам тут несешь, предатель...

Усачев испуганно втянул голову в плечи, забормотал:

— Конечно, они же, это, против немца воюют... Правильно, конечно. Но все же... раз власть приказывает, порядок должен быть.

Он понимал, что говорить ему больше нечего, верхняя губа прихлопнула, подгрехала нижнюю. Щеки ввалились, словно сосал он конфетку. Я вздрогнула, по сердцу пробежал холодок, Прошка и он — они были похожи как две капли воды. Где он, несчастный, всеми оставленный человечек, что на сердце у него? Могильный камень отца давит, плющит его. Мне было так жалко мальчишку, что у самой заныло, остро закололо сердце.

Суд в лесу проходил по всем своим торжественным и строгим правилам. Было несколько свидетелей, их вызывали по очереди, и они рассказывали, что знали, — давали показания. Носовец назвал мое имя, я удивленно застыла, но вдруг до меня дошло, что я тоже один из свидетелей. Мне повторно сказали: «Пройдите сюда», я отдала сынишку Абану и вышла вперед. Ни разу мне не доводилось стоять перед судом, я смутилась, как будто была в чем-то виноватой. К тому же и Носовец обратился ко мне с посуровевшим лицом.

— Гражданка Едильбаева, перед судом вы обязаны говорить только правду. Если дадите ложные показания, то ответите по всей строгости военного времени. Гражданка Едильбаева, узнаете ли вы стоящих перед вами обвиняемых — Усачева Луку Саввича и Гуськова Терентия Петровича? Всмотритесь хорошенько...

Оба полицая, услышав мое имя, с любопытством глянули на меня, но тут же отвели глаза. Второго я узнала только теперь: Терентий — тот самый Тереха, который рыдал, рвал на себе волосы, а потом хотел пристрелить меня. Тот самый, со светлыми волосами, вздернутым носом и маленьким круглым лицом. Кожа на лице его загрубела, повзрослел он, стерлось то детское выражение, с которым он рыдал: «Ой, мамочка! Что я наделал!», с посеревшим лицом, он стоял понуро и безучастно. Мне тяжело было их видеть, удушье какое-то взяло, заложило горячей ватой уши, и Носовцу пришлось каждый вопрос повторять дважды.

Нахлынуло на меня пережитое, воскресли отошедшая боль, страх, ужас. Вот он, гад, делает вид, что не знает меня, прячет взгляд, а я впилась в него глазами, пытаюсь разглядеть в мрачном облике его то выражение бессилия и отчаяния, которые им когда-то овладели. Но бы-

ло пусто его лицо, пустыня была передо мной.казалось, все живое смели, вырвали с корнем пронесшиеся над ней бури и ураганы. За прошедшие семь-восемь месяцев он совершенно изменился. Что творилось у него на душе сейчас, и была ли она в нем, душа? Или надорвал, исхаркнул ее тогда, в рыданиях и корчах, и потому так рвался убить меня, что пустота его уже сосала, пожирала собственную его плоть?.. Он не стал оправдываться, как Усачев, сразу же признался, что видел меня.

Но Усачев липко вцепился в меня.

— Я сразу понял, что она жена командира. Нарочно дал ей сбежать,— тыча в меня пальцем, торопливо говорил он.

— Не нарочно ты дал ей сбежать, не нарочно! — осадил его Носовец.

— Ладно, согласен, не нарочно. Но я знал, что она убежала, а искать не стал. Пусть, думаю, спасется,— забормотал он и вдруг обрадовался, даже возликовал как-то, наткнувшись на спасительную мысль.— Я спас эту женщину. Вот, Тереха хотел ее застрелить, а я не дал. Что, разве не так? Скажите же,—умоляюще обратился он ко мне.

Я знаю за собой одну черту: жалею тех, кто мучается, кто попал в беду, но этот огромный, весь раскисший какой-то человек вызывал во мне лишь омерзение. Носовец спросил у молодого полиция:

— Правда, что хотел застрелить?

— Не помню, не знаю,— ответил он.

— Память отшибло, что ли?— повысил голос Носовец.

— Может, и правда,— сказал полицейский.

То ли закоренел этот парень в злодействах своих и ничто уже не смущало его, то ли томило его все же нечто пострашнее, чем смерть, но он как-то отделился уже от тех, кто собрался на этой лесной поляне, и от суда, и от Усачева. Он даже не обратил внимания на то, что Усачев пытался свалить всю вину на него, и на вопросы отвечал равнодушно, словно из другого мира.

Первоначальное напряжение начало спадать. Люди опять прилегли, расслабились, о чем-то переговаривались негромко меж собой, а то и в вопросы судей вставляли реплики, посмеивались иногда иронично над растерянными ответами обвиняемых. Носовец то и дело призывал их к порядку. Я тоже освободилась от роли свидетель-

ницы и словно тяжкую ношу с плеч сняла, взяла у Абана малыша и села с краешку, ближе к деревьям. Вдруг Усачев вытаращил глаза, вскочил с места и, подавшись вперед, заорал хрипло, придушенно:

— Прощка... Сыночек мой... Сынок...

— Сидеть! — крикнул Носовец.

Партизан-конвоир, толкнув Усачева в грудь прикладом, усадил его на место. Я оглянулась — Прощка стоял за березкой, губа его распухла, был бледен как полотно. Его так и ударил сиплый крик отца, лицо исказилось гримасой, и он бросился прочь.

Усачев закачался, обхватил голову руками, глухо зарыдал:

— Сыночек мой... Сыночек...

— Он честный сын Родины! А не сын такого предателя, как ты! — закричал на него Носовец, но, видно, и его эта сцена взяла за живое, смутила, но права на жалость, на сострадание он не имел сейчас, и, глуша в себе минутную слабость, растерянность, может быть, даже какую-то боль человеческую, он закричал, свел до предела брови на окаменевшем лице.

Не могла я там оставаться больше, возвратилась с сынишкой в шалаш. Мне не хотелось оставлять Прощку в одиночестве. Он лежал лицом вниз, сотрясаясь всем худеньким угловатым телом от рыданий. Услышав, как я вошла, он вдохнул в себя плач, но вскоре, не выдержав, заплакал опять по-детски, захлебываясь слезами. Присев с ним, я осторожно, тихо гладила ему спутанные волосы.

— Дурной он, ума у него нет... Потому и... И мамка говорила... — со слезами глотая каждое слово, бормотал Прощка.

Что скажу я ему? Как успокою? Могу только одно: взять чужую боль и мучиться, страдать рядом молча, не доверяя почему-то словам. Я знаю, как легко могут опрокидывать слова и топить тех, кому верил свято, как солнцу, траве, как небу синему верил. Я молчу, не в силах преодолеть боязни и растерянности перед словами. Каким бы врагом ни был отец, сын, подросток еще, не может осознать это разумом и отречься от него. Я видела, как сердце разрывалось от горя у Прощки.

Кажется, ему стало немного легче, под моей ладонью он стал понемногу отходить. Прижался ко мне лицом, долго плакал.

Суд, наверное, уже кончился и полицаев повели на расстрел. Я вслушиваюсь, жду залпа, но лес пока мирно шумит. Прошло еще немного времени. Может, Усачев и полицаи Тереха выкопали себе могилы и стоят теперь в ожидании позорной смерти?

Я заранее знала о том, что случится сегодня. Носовец о некоторых делах советовался с Касымбеком прямо при мне, и однажды вечером разговор зашел о суде, и я запомнила, как Носовец говорил решительно, словно гвозди вколачивал:

— С врагом мы воюем, да. Но можно воевать получше. И ряды партизан могли бы быть побольше. Есть одно упущение. Мы до сих пор как следует не наказали подонков, служащих врагу. Запомните, Едильбаев, это наш большой недостаток. Понимаете, что может за этим крыться? Народ в тылу врага должен чувствовать силу советской власти, а не силу немцев. Мы здесь остались хозяевами, и мы должны карать предателей. Нужно схватить несколько полицаев, привести к нам и судить. Понимаешь?— он пристально смотрел на Касымбека. Была у Носовца такая привычка — глядеть в глаза собеседника, стараясь заставить принять его каждое свое слово.— Поэтому давай организуем специальную операцию по захвату полицаев. Взять бы эту сволочь Усачева, он же бывший активист, его преступление вдвойне тяжелее.

Когда я услышала имя Усачева и то, что его приведут в лагерь для суда, мне стало не по себе, мне не было его жаль, но сын его, Прошка, ему-то за что такая казнь? И я подумала, хорошо было бы, если бы Усачева случайно убил кто-нибудь по дороге к нам.

Но высказать свою мысль Носовцу я не решилась, а попросить вмешаться в это дело Касымбека... Нет, и он не поможет мне, и он не в силах заставить Носовца изменить этот план. Я говорила себе, доказывала, взывала к рассудку, пыталась убедить себя в необходимости этой операции, но чувство жалости, неистребимой, женской, брало верх над рассудочными доводами и вопреки суровым законам войны, которые диктуют тебе — сожми сердце в каменный кулак, иначе оно разорвется в клочья. Знаю я эти законы, но пересилить себя не могу.

Вот Носовец, он кажется мне выкованным из железа. И не только я одна думаю о нем так, в последнее время люди все чаще называют его «железным комис-

саром». Это человек, убежденный в какой-то большой, еще не совсем доступной моему пониманию правде, единственной правде, и не успокоится он, пока не поймут ее все до единого и не примут ее неукоснительно. Человек, который не сомневается в своей правоте, самый счастливый из людей, его не точет, не сосет червь сомнения, не разламывает неуверенность, потому-то силен он и может диктовать свою волю. Можно ли подчинять других, если не веришь себе, своему, если ты не стоишь хоть на один вдох выше тех, кого за собой зовешь? Но все-таки меня почему-то смущает монолитная крепость и цельность его.

11

По моим подсчетам, с тех пор, как я спряталась в этой землянке, прошло около шести часов. Солнце, должно быть, накатывается на кромку леса и плавит ее в красное стекло. Стрельба то стихает, то вновь поднимается, судя по этому, укрепившиеся на опушке леса партизаны не отступили сразу, а отбили первую яростную атаку немцев. И ослабел их напор, пошли какие-то суетливые наскоки, отдельными, как бы машинальными ударами враг пытается вклиниться в ряды обороны и несет большие потери...

Я стала уже надеяться, что не прорвать немцам нашей обороны, что завязли они на подступах к ней, как вдруг выстрелы послышались совсем рядом, можно было отличить чахоточную трескотню автоматов от пулеметных очередей, бой теперь шел самое большее метрах в четырехстах от меня, захлестнет ли он мою землянку или пройдет мимо? Огонек надежды то загорается, то гаснет, ясно мне только одно: огромные силы бросили фашисты и не успокоятся до тех пор, пока не очистят этот лес от партизан. Но и партизаны так просто не намерены оставить лес. Они хорошо знают здесь каждую кочку, бой ведут, отступая, втягивая немцев в глубь леса, путают следы и вновь появляются там, где немцы уже прошли. Во время весенних кровопролитных боев партизаны многих потеряли, но выжили именно таким вот образом.

Все бы ничего, ждать и прятаться — не под пулями отступать. Но голод вот только мучает. Особенно лето нынешнего, сорок третьего года выдалось трудным.

И люди совсем исхудали, голодно в избах, хоть шаром покати. С приближением фронта немцы усилили охрану, и брать их обозы стало труднее. В лесу, наверное, не осталось травы, которую бы мы не пробовали жевать или варить из нее какое-нибудь пустое варево. Хорошо, когда находятся грибы и ягоды, в озерах рвем кугу, но в этих краях камыша и куги на озерах маловато, нет тех сладких корней, которые растут у нас в степи. Иной раз, когда совсем подводит живот, хватаешь первые попавшиеся травы и листочки, и такие горькие среди них попадаются, что вызывают мучительную тошноту, и кажется в такие минуты, что вывернешься наизнанку, льются из глаз слезы, и голова раскалывается от боли. Заставляет голод партизан нарушать приказы командиров и резать последних лошадей, русские, оказывается, конину не едят только в мирное время, голод все предрассудки рушит.

Голод... голод... Дулату моему уже почти два года, но я, когда совсем нечего есть, кормлю его своим молоком. Теперь к нему добавилась и маленькая Света. Ей тоже уже год и четыре месяца, и разве насытит голодная женщина своим молоком двух растущих малышей? И оторвав своего, ненаевшегося, удивленно и обиженно глядящего на меня, беру на руки чужое дитя, и она припадает к моей груди. Уже сейчас маленькая Света очень похожа на свою мать и постоянно напоминает мне мою подругу, которая была рядом со мной в самые трудные минуты.

Бедная Света! Так много горя выпало ей, что даже рождение дочери не обрадовало ее. Нерадостным было возвращение ее в наш лагерь, не радостна, тяжела была и встреча с мужем.

Отношения ее с Николаем с каждым днем усложнялись. А началось все с первой их встречи.

Мы со Светой сидели одни, Касымбек после моей вспышки ушел куда-то. Не успели мы и двух слов сказать друг другу, как в землянку опять быстро вошел Николай. Я думала, что он остыл, но, взглянув на него, увидела злое, крутое упрямство.

— И все ж мне хочется с женой потолковать с глазу на глаз... Пойдем, выйдем,— отрывисто сказал он Свете.

— Лучше я выйду, а вы оставайтесь,— поднялась я.

— Нет. Мы поговорим на улице,— остановил меня Николай.

Накинув на плечи стеганую куртку, Света пошла за Николаем.

«Может, поговорят да и придут к согласию», — вильнула во мне слабенькая надежда. Но застывшее в какой-то угрюмой решимости лицо Николая, мрачный вид его не сулили ничего хорошего. Какое-то время я стояла неподвижно, потом бросилась за ними следом.

Я не знала, в какую сторону они ушли. К счастью, мне сразу же повстречался Прошка, он испуганно смотрел на меня.

— Что случилось, тетя Надя? Бледная вы какая. Что случилось-то, а? — спросил он встревоженно.

— Только что... Николай... Николай и Света куда ушли?

Проша показал. Я побежала. Зелень еще не проросла, деревья и кусты были голыми, просторно было везде, но Светы и Николая не было видно. «Может, в другую сторону пошли?» — растерянно огляделась я. Впереди углубалась чащею неглубокая ложбина, и, подойдя к ее краю, я увидела их. Они стояли на самом ее дне. Николай что-то говорил, гневно допрашивал Свету. Я не могла разобрать, что именно он говорил. Он замолчал на какой-то высокой, сдавленной ноте, и вдруг я услышала тихий, безразличный какой-то голос Светы:

— Ладно, делай что хочешь.

Николай отступил на два шага и медленно стал расстегивать кобуру. Я и сама не заметила, как скатилась в ложбину, закричала громко. Николай, не отнимая руки от кобуры, дико, затравленно взглянул на меня.

Я с разбегу обняла Свету. И она тут же обмякла, повисла слабенькой рукой на моем плече и всем своим весом потянула меня вниз. Мы обе обессиленно опустились на мягкую влажную землю. Я по-прежнему прикрывала собой Свету. Когда я отдышалась и подняла глаза, Николай уже поднимался из ложбины, шел он быстро, проворно даже, точно убегал, и ни разу не оглянулся. Кровь отлила от лица Светы. Лицо ее было белым как полотно, отчего пятна на нем казались почти черными. Страх смерти только теперь коснулся ее, только теперь она почувствовала, какая опасность ей угрожала, и сомлела она вся, ослабла. Несколько раз вздрагивала она, по телу ее прокатывалась дрожь. И впервые, пожалуй, ощутила я себя старшей, прижала Свету к своей груди, как ребенка, которого вынесла из огня. Света привали-

лась ко мне беспомощно, доверчиво, и долго сидели мы так, и я тихонько поглаживала ей голову, опущенные ее плечи.

— Если бы ты не успела, застрелил бы,— сказала наконец она вяло, как во сне.

После этого случая Николай ни разу не подошел, не заговорил со Светой, они старались не попадаться на глаза друг другу, а когда случайно встречались, то как бы не видели, проходили мимо. Что там Света! Он и со мной перестал разговаривать. Теперь мы со Светой почти не разлучались. И Николай не только не заходил в нашу землянку поболтать, поиграть в карты в свободное время, но огибал ее десятой дорогой.

Ночью, ломая себе сон, я все раздумывала над тем, как бы помирить Свету с Николаем. Был он таким отзывчивым, открытым, теперь его стянуло в тугой, как из моченой сыромяти, узел. Как распустить его? Нет, это крепкий, мужской узел, и не мне развязывать его. Даже Касымбек как-то притих тут, оставил свою командирскую твердость: «Трудное это дело, как тут вмешаешься?»

Сколько помню себя — знаю нерушимо и свято: изменять мужу грех, огромное преступление, мужская честь превыше всего, не позорь мужа. До сих пор это понятие, этот незыблемый закон не вызывали у меня ни малейших сомнений. Но в страшную эту пору, когда жизнь ничего не стоит, так просто ошибиться, неверный сделать шаг... совсем иную цену имеют ошибки. Неужели только я одна это понимаю?

Иногда мне кажется, что жизнь остается жизнью даже в окружении смерти: как только схлынет минута опасности — возвращаются смех, и шутки, и веселье; вместе с ними оживают и обиды, и размолвки, и ссоры, дают знать себя характер и привычки каждого. Как бы ни было тяжело, слабости человеческие не исчезают, сплетни и слухи тоже. О Свете и Николае зашептали, заговорили по углам нашего лагеря, и больше всего доставалось Свете. Я вижу это по хмурым лицам партизан. Никто не хочет сблизиться со Светой, держатся от нее поодаль. Если бы не этот слух, приукрашенный, как водится в таких случаях, они бы тянулись хоть словечком перемолвиться с отчаянной разведчицей «Смуглянкой», которая работала у немцев и передавала партизанам важнейшие сведения. Но они делают вид, что не знают ее и не замечают при встречах. Как мне жаль ее — труд-

но передать словами. Иногда меня охватывает обида за нее: почему не помнят ее заслуг, а помнят ее грех, совершенный в минуту слабости? И каждый раз занозой в сердце застревает брошенный на нее чей-нибудь неприязненный взгляд.

Вскоре после прихода к нам, в начале мая, Света родила. Видимо, судьба сжалилась над ней за все прошлые ее беды, роды у нее были не такими тяжелыми, как у меня, и тепло к тому же стояло уже летнее, да и немцы не особенно беспокоили нас. Был у меня уже материнский опыт, поэтому я сумела оказать ей заметную помощь.

В жизни партизан иногда выпадают свободные деньки, когда не знаешь, куда себя деть. Тем более у нас со Светой такого времени побольше, чем у других. В такие часы мы вспоминаем прошлое, женщин нашего полка. Так мало прошло времени, по сути дела, с тех пор, а я уже начала забывать некоторых — новые страшные события заслоняют прошлое. Елизавета Сергеевна и Алевтина Павловна остались вместе. Интересно, где они теперь? Муся-Строптивая погибла. Ираида Ивановна потеряла двоих детей и отстала от поезда. Где-то и она мыкается со своим горем. Вряд ли суждено нам теперь когда-нибудь увидеться с ними. Только нам со Светой повезло — мы встретились с мужьями, — вернее, повезло мне, а Свете эта встреча ничего, кроме новых страданий, не дала.

Одна, не жалуясь, она несла свое горе и не согнулась, не сникла. После случая того в ложбине она ни слова больше не сказала Николаю. Но, кажется мне, если бы Света, повинившись, попыталась бы заговорить с ним, то, может быть, размягчила Николая, он оттаял бы и пошел на примирение. Но Света этого не сделала, отсекала его сразу, повела себя с ним, как с человеком, с которым у нее никогда ничего общего не было. И это как-то особенно болезненно, глубоко уязвляло Николая.

После родов характер Светы стал меняться: она как бы успокоилась, примирилась с тем отношением к ней людей, которое сложилось в нашем отряде после размолвки ее с Николаем. Не было в ней прежней застенчивости и нежности, она стала строже и суше. Лицо ее обострилось, на нем проступало что-то суровое, исстрадавшееся, стали решительнее ее движения, словно в ней туго сжалась какая-то пружина.

И на людях держала она себя по-иному. Кто не замечал ее, того она тоже не замечала, на тех, кто смотрел на нее осуждающе, она вообще внимания не обращала. И странно — те сами чувствовали себя как бы ущемленными в чем-то, униженными. Прежде я, принимая на себя часть ее вины, ходила с опущенной головой, теперь стала гордиться подругой и немного повеселела. Если бы Света делала все это нарочно, из одного только упрямства, то поведение ее показалось бы искусственным, фальшивым, но она была тем, кем была, и не пыталась казаться ни лучше, ни хуже. Это вскоре заметили и стали относиться к Свете несколько лучше.

Оправившись после родов, несмотря на трудную полуголодную жизнь, Света опять сделалась красивой, привлекавшей потаенно-жадные взгляды мужчин, кое-кто в открытую с восхищением поглядывал на нее, но дальше взглядов идти не решались. Света вроде бы и свободна была и не свободна в то же время, вроде бы и с подмоченной репутацией, а держалась с таким спокойным достоинством, что посягнуть на него духу не хватало, и не было ни одного, кто бы попытался навести мосты легкой шуткой или намеками. Внутренняя высота, которая досталась Свете ценой страшного падения и преодоления падения этого страданием, риском смертельным — именно это больше всего удерживало наших мужчин на расстоянии от нее, а не отвернувшийся от Светы муж.

Только время лечит душевные раны, и я надеялась на доброго и мудрого этого лекаря, рисовала себе идиллические картинки: сгладится, рассеется гнев Николая, он поостынет, расслабитя Света, они соскучатся друг по другу и сблизятся снова, а может, совсем помирятся. Рисовала я одно, а в жизни все по-другому было, и я как-то не решалась заговорить об этом со Светой. Наконец не вытерпела, призналась ей в своих надеждах.

— Я думала об этом. Была и у меня такая мысль. Но теперь...— Света не договорила, покачала медленно головой.

— Николай, он хороший, он ведь совсем не жестокий. Он простит, вот увидишь.

— Да нет не простит, далеко ему до прощения... Он слишком самолюбивый. Но мне это теперь все равно абсолютно. Он для меня не существует. Я даже не помню прошлую свою жизнь с ним. Мне кажется, у меня

и не было его, а если был, то так давно... Мне все равно...

— Как это все равно?— я удивленно посмотрела на Свету.— И ничего не помнишь? Ничего-ничего? Он же...

С ласковой, но жалостливой улыбкой Света глянула на меня.

— Что же, выходит, мне и забыть нельзя? И обижаться права не имею?

— Имеешь, конечно... Но Николай же ни в чем не виноват!

— Да, виновата я. Что же мне, на колени перед ним пасть и слезно молить о прощении, как наблудившей суке?— Второй раз в жизни услышала я от Светы, которая никогда никому слова грубого не сказала, это похабное — «сука». И оба раза говорила она не о других, а о себе, и теперь, как и тогда в лесу, лицо ее посерело. Я глядела на нее испуганно. Она чуть улыбнулась мне.— Ты не понимаешь, Назира,— улыбка на посеревшем ее лице казалась гримасой.

Нет, я многое поняла, многое почерпнула из нескольких этих слов, высказанных в каком-то тихом отчаянии. Я не вдумывалась раньше, а ведь в самом деле, какое может быть равенство между человеком виноватым и человеком винящим. Если она будет всю свою жизнь считать себя недостойной, а другой гордиться своим великодушием — то где же тут справедливость? Ведь тут мука на всю жизнь, хотя для других будешь ты казаться счастливой.

— Чтобы все это забыть, простить, нужно очень сильно любить,— задумчиво сказала Света несколько успокоившись.— Такой любви во мне нет. А будь она, то повалила бы она меня в ноги Николаю, заставила бы рыдать и вымаливать прощение, но я что, нет такой любви и в Николае.

— Нет, Николай на все готов для тебя! — вырвалось у меня.— Просто его самолюбие мучает, мужчина же он все-таки! Ты пойми, любил он тебя и до сих пор любит! Томится, мучается... Нелегко ему, очень.

— Знаю. И что же? Настоящая любовь не спотыкается о самолюбие!

— Господи, да простое разве дело — мужское самолюбие? К тому же кругом одни мужики... Одни их насмешливые взгляды чего стоят! Мужчины, господа, это же такой народ, да только этого он и боится! А так, бог

видит, он тебя любит. Я это чувствую,— выпалила я, глядя на Свету умоляюще, с надеждой.

— И это я знаю, Назира,— сказала Света.— Я много думала... О чем я только не передумала с тех пор, как рассталась с тобой в лесу! Видишь ли, Николай повел себя в точности так, как он и должен был себя повести, я это предполагала. Он оказался человеком, который завладел красивой женщиной, она ему нравилась, да, нравилась — тело, волосы, глаза, и он жадно берег ее, как дорогую, только ему принадлежащую вещь. А теперь эту его собственность изодрал лес, и у него душа горит.— На лице Светы заиграла горькая усмешка.— А я не красивая женщина, я человек. Разве не должен тот, кто любит по-настоящему, в первую очередь понять горе человека, разделить это горе?

Крепко заставили задуматься меня эти слова. Женщина, знающая больше меня, взрослее, чем я, много передумавшая в горе своем, она открыла мне какую-то глубокую правду, которую я только чувствую временами, словно кончиками пальцев уходящее дно. Она, эта правда, все выскальзывает из моих рук. В меня с молоком матери впиталось понятие, что муж — богом данный спутник жизни женщины до конца дней ее, и я не думала, что может быть иначе. Мужчина — глава семьи, хозяин дома, жены и детей. И бабушка Камка учила: «Никогда не устраивай мужу скандалы». «Равноправие женщин» для меня, да и не только для меня, но и для всех казахских женщин, выразилось пока в возможности выходить замуж по своему выбору. А равноправие русских женщин, которых я видела, хоть и было обширнее, чем у нас, но, по-моему, тоже недалеко ушло от того, чтобы забирать зарплату мужа, вместе с ним нянчить детей, стирать пеленки и тащить на себе массу домашних дел. А Света говорит сейчас совсем о другом, это даже выше вопроса взаимоотношений мужчин и женщин. Выходит, супруги должны быть как большие друзья... уважать друг друга, понимать... делить поровну горе, беды, уметь прощать... постоять... постоять... Куда меня эта мысль уводит? Выходит, я напрасно считала, что равноправна с Касымбеком? Раньше тут для меня все было просто, а теперь вдумываюсь, и открывается пропасть. Он старший, я младшая (не о возрасте говорю), он благодетель, а я существо на его попечении, он сильный, я слабая. Постоянно он в чем-то превосходит меня, а я в его тени.

Ведь даже бабушка Камка, которой во всем ауле никто не смел перечить, вливала нам в уши «не противоречь мужу», «не задевай достоинства мужа», будучи сама властной, она убеждала нас в праве Мужчины на власть. «Путь женщины узок» — за свою жизнь я не встречала ни одной казашки, которая бы оспаривала это понятие. Женщине нельзя согрешить... Не у всех казахских женщин такие чистые подолы, чтобы употребить их вместо молитвенных ковриков, но и в таком случае дело не обобравивалось бедой, поучит муж такую жену камчой, на этом и помирятся. Казах, прогнавших жен, пока очень мало. И все же измена мужу — страшный позор. А если изменяют мужчины, то это не позор, это победа.

Все это не вмещалось во мне, с треском ломало мои привычные представления, с болью раздвигало границы моего мира, и были слова подруги моей сущей пыткой, но, несмотря на муку понимания, постижения их глубокого смысла, они все сильнее захватывали меня, и я тщуясь, силуюсь идти за мыслью этой до конца, путаюсь, сбиваюсь, и все же в конце концов мне удалось ухватиться за кончик ее. Конечно, это не то равноправие, когда считаешь каждый шаг мужа, каждое слово, дело. Взаимоотношение любящих друг друга людей — вот где оно, равноправие, вот оно то, на что можно опереться! Только тогда и можно по-настоящему уважать друг друга. Если бы Николай в самом деле любил Свету, уважал как друга, жену, близкого человека, то разве не махнул бы он рукой на насмешки других, разве не стремился бы понять ее горе? А он ни о чем не хочет знать, кроме своего самолюбия, недаром говорят: «Рана души тяжелей раны тела». Пройдет война, Николай женится еще раз (после этой войны, наверно, недостатка в женщинах не будет), поостынет его самолюбие, да и сейчас оно кипит у него оттого, что кое-кто еще говорит: «Николай Топорков настоящий мужчина! Взял да и послал куда подальше подлую эту бабу». А Света, я это чувствую, хоть и не обращает внимания на презрительные, острые эти взгляды, но незащищена перед совестью своей и одна несет свою боль. А ведь муки ее не кончатся сегодня-завтра, кто же будет опорой ей?

Я задумалась глубоко и надолго. Света обычно не прерывает чужие мысли, сидит и словно молча с тобой беседует. Вдруг я, словно проснувшись и провела рукой

по лицу, как бы убирая паутину своих сомнений, сказала с облегченным вздохом:

— Ты права, Света. Права.

Она взглянула мне в глаза, взяла и стиснула мне руку в запястье.

— Как я теперь тебя понимаю,— сказала я, радостно отчего-то глядя на нее. На душе у меня стало ясно, хорошо, но высказать это я не в состоянии не только по-русски, но и по-казахски. И все же Света, кажется, что-то почувствовала, уяснила себе.

— Кажется, мы с тобой поняли друг друга,— серьезно и тихо сказала она.

Дни шли. Разговор со Светой не забывался, но мысль о том, насколько положение мое в семье ниже мужа, не волновала уже меня так, как раньше, было не до этих тонкостей. Мы жили в постоянных заботах. У нас слишком мало было времени размышлять о достоинствах и недостатках друг друга. Бои, засады, нападения на вражеские гарнизоны, взрывы мостов и железнодорожных путей, сбор информации — и раненые, и убитые, и попавшие во вражеские западни, и вернувшиеся целыми и невредимыми с опасного задания,— все это составляло наши будни, этим мы жили больше всего.

Нынешним летом случилось редкое в партизанской жизни застолье. Одна из групп вернулась с задания с богатыми трофеями. Принесли много продуктов и даже шнапс. Касымбек взял на учет все принесенное и велел припрятать, наученный горьким опытом голодных дней.

Но тут появился Носовец. Обычно спокойный, рассудительный, на этот раз он показался мне каким-то возбужденным и беспокойным. Во всех его движениях было какое-то нетерпение, и он не мог этого скрыть, а может, и не хотел.

С нетерпением он выслушал рапорт Абана о выполнении задания, причем вид у него был такой, словно он говорил: «Все это хорошо, но вы еще ничего не знаете. Впереди большие дела».

— Так вот, ребята,— сказал он наконец, широко и озоровато даже улыбаясь.— Большие дела только начинаются. Наши войска разгромили врага под Орлом и Курском и перешли в наступление. Это большая победа, товарищи! Так что, Едильбаев, выкладывай на стол всю добычу. Отпразднуем победу!

Как говорят казахи, «если верблюда качает буря, то козла уже ищи в воздухе». Приподнятое настроение всегда такого невозмутимо-сурового Носовца так взбудоражило партизан, что они сразу зашумели, стали поздравлять друг друга с победой, кто-то закричал «ура», подхватили все, переполошив весь лес.

Все продукты и водка, припрятанные Касымбеком, перекочевали на общий стол, ничего не оставили про запас. Все так радовались, будто наши войска подступили уже к самому лесу и завтра конец войне. Подняты были первые стаканы и кружки. Зазвенели возбужденные голоса:

- За победу!
- За разгром врага!
- Ура-а!

Николай, обычно хмурый, с выражением постоянной досады на осунувшемся лице, и тот разошелся. Выпив из большой кружки, он понюхал собственный кулак, махнул рукой и крикнул:

— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

Послышался смех, одобрительный крик, хохот даже пошел. Я уже давно заметила, что на войне радуются всякой мелочи, всегда готовы поддержать шутку, лишь бы повод был. Может быть, этим люди стараются заполнить, заглушить тоску по дому и забыть о том, что каждый час их подстерегает опасность. И смеются с готовностью, жадно, будто хотят насмеяться впрок, загодя, за будущие свои страдания.

Вечер был теплый. Расположились на зеленой лужайке, одни сидели, другие лежали, облокотившись, как будто собирались в выходной день на отдых. Вместо скатерти мы со Светой приспособили большие холщовые мешки, нарезали хлеба, колбасы, поставили масло. Вскрыли консервы — и выпить что было, и закусить. Кто-то сказал мечтательно, поставив кружку на землю:

— Эх, русской водочки бы сюда!

— Что водочка? Самогону бы лучше, первача. От этого немецкого зелья проку мало!

— Не берет проклятый шнапс. Все равно что чайком балуешься.

И все-таки немецкая водка наконец подействовала на партизан. Кто-то затянул песню.

— За победу! — гремел Абан, перекрывая нестройный шум голосов.

— Скоро мы нашу Назиру на родину отправим! Недалек этот день, вижу его! Давайте выпьем за то, чтобы она благополучно до дома добралась!

Я хоть и не пила, но, глядя как пьют, лихо крикают, будто сама захмелела, на душе стало легко-легко, все мои переживания заволоклись туманом.

Носовец, подтянутость, собранность которого всегда заставляли меня робеть, весь как бы распахнулся. Бесшабашно, весело он бросил:

— А ну, наливай. Не каждый день у нас такой праздник!

Потом он пощекотал Дулата, сидевшего на коленях у мужа, и тот рассмеялся, тогда Носовец, набычившись, выставил два толстых пальца своих и, шевеля ими, нагнулся на довольного малыша.

— Идет коза рогатая... Забодая, забодая...

Но неожиданно Носовец оборвал игру, тихонько хлопал Дулата по спине и сказал задумчиво:

— Наше место займут они. Вот из кого вырастет настоящий солдат. В походе родился, в походе закалился. Так, джигит?

Веселье всех охватило, даже самых нелюдимых вовлекло в свой шумный круг. Даже Кузьмич, седенький тишайший старичок, и тот был навеселе, с тихой умильной улыбкой поглядывал на всех. Этот старичок пришел в отряд нынешней весной. Про себя я звала его «Белоголовым».

Кузьмич был отцом того Саши, который вывез меня на сани из лагеря, когда навалились немцы, и который после погиб у меня на глазах. После смерти сына отец не усидел дома, сказал, что будет вместо Саши. Его определили к нам в обоз. Сначала Кузьмич артачился, требовал винтовку себе, но Касымбек сказал ему:

— Отец, обоз тоже фронт.

— Оно, конечно, так,— согласился он.— Да уж поклялся я за Сашку моего хоть одного фашиста собственной рукой на тот свет отправить.

Мы сразу с ним как-то сошлись, мне кажется, он даже полюбил меня. Может быть, потому, что в последнюю минуту Саши я была рядом. Я рассказала ему, как погиб Саша, и больше он ни разу не заговаривал об этом. Обращался Кузьмич ко мне не иначе как «дочка», и к моему Дулату он привязался, называл «внучком».

Кузьмич оказался очень хозяйственным человеком, веревочки на дороге, гвоздя ржавого не оставлял и приговаривал при этом:

— В хозяйстве, дочка, все пригодится. Каждая вещь пользу должна давать, умей ее только употребить.

Глаза его в красных прожилках все время слезились, будто он плакал и никак не мог выплакать свое горе.

Много ли выпил Кузьмич сейчас, я не заметила, но его лицо покраснелось. Он поглядывал на всех умильным взглядом и улыбался. Такое же умильное выражение на лице его я замечала, когда он играл с моим Дулатом...

Как и я, Света не пила, но настроение у нее было хорошее. И от Николая не отворачивалась. Я заметила, что в последнее время она не старалась избегать с ним встреч, как прежде. Просто Николай стал теперь для нее одним из многих, отболел и ушел из ее души. И меня восхищало ровное ее поведение, вряд ли я сумела бы так держаться.

Николай же, наоборот, при встречах с нею был неестественен, весь напрягался, деревенел и старался поскорей пройти мимо нее.

И сейчас беззаботность Светы действовала на нервы ему. Он громко, резко откидывая голову, смеялся, громко разговаривал и усиленно старался не глядеть в ее сторону. И все же она притягивала его взгляд, он был бессилен, не мог не смотреть на нее.

Партизаны запели «Катюшу». Вспомнилось мирное время, когда мы с Касымбеком жили во флигеле бывшей барской усадьбы, и я там услышала эту песню впервые. Будто вечность прошла с тех пор, и в то же время, словно вчера все это было.

К поющим присоединился и Николай, и когда доходило до слов: «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет», голос его звучал неистово и яростно, вырываясь из стройного хора диким, ломающим мотив выкриком...

Почему именно в этот теплый и ясный вечер во мне зародилось недоброе предчувствие? Сама не могу объяснить. Не могу понять, откуда оно взялось и чем было вызвано.

Солнце уже клонилось к закату, голоса певцов стали разбредаться, хриловато пробуя затянуть другие пес-

ни. Носовец, вдруг повернувшись ко мне, сказал ласково:

— Спой-ка что-нибудь по-казахски!

— Вот это правильно! — поддержали его. — Ну-ка, Надя, давай!

От неожиданности я растерялась. Мне? Петь? Мысленно я пробовала запеть, но вдруг мне почудился звонкий Парашкин голос. Я услышала его совершенно явственно. Наверное, я переменялась в лице, потому что все вдруг притихли, уставившись на меня, а я ничего не могла поделать с собой: во мне пела Парашка. Выручил меня Абан, он затянул что-то, подыгрывая себе на палке, будто на домбре. Я даже толком и не поняла, что он там пел, сквозь его бас все время прорывался серебристый голосок Парашки. И я увидела ее, круглолицую, смеющуюся, с ясными глазенками, и еще через какое-то мгновение я увидела обрыв. Парашка обвила руками шею матери, в глазах у нее застыл ужас, она кричала: «Дяденька, не убивайте! Я вам песню спою!..» Мне стало совсем плохо.

Почему на войне люди переживают смерть товарищей не так, как в мирное время? Слишком внезапна здесь она? Слишком часто погибают люди и не может сердце вместить все горе и ответить болью своей на него? И не очерствелость это, не привычка — как можно привыкнуть к смерти?! — просто сердце, как может, защищает себя, защищает себя жизнь. И у моего сердца есть спасительная оболочка, за которой оно спасается, когда ему больно. Только, наверное, слишком много в ней дыр. Нет-нет да и встают передо мной ужасные картины пережитого, причиняя мне такую боль, словно сердце прокалывают шилом.

Я старалась не думать о Парашке, и все же она часто появлялась передо мной. Бедная Парашка, ничего не знавшая, жившая, как прекрасная певчая птичка. Не было у этой девочки врагов среди людей! Даже немецкие солдаты, жившие у них в доме, любили слушать, как она поет...

Ничего она не боялась, страх охватил ее на один краткий миг, когда она увидела направленное на нее дуло автомата. Но даже и тогда детский ее, безмятежный ум так и не смог до конца осознать, не понял, что же такое с нею происходит. Она вскрикнула: «Ой, мам, больно!» И это все...

Я посмотрела на Кузьмича, который блаженно улыбался, с любовью поглядывая на всех и в такт песне потряхивая белой пушистой бороденкой. Щеки его покрылись розовыми пятнами. И вдруг... обсыпало седину кровью, давленной ягодой. Перед глазами у меня замельтешили красные круги. Немецкий солдат схватил старика за ноги и потащил его... спустя какой-то миг сознание стало проясняться, и я снова увидела ласковое лицо Кузьмича, который раскачивался в такт песне. И тут меня прямо-таки сразило необычайное сходство Кузьмича с тем белобородым стариком, которого расстреляли тогда за сожженным селом, у оврага.

Необычайное это сходство, как бы воскресившее мертвого, перевернуло на какое-то мгновение мир в моих глазах, и время потекло вдруг вспять, я стала видеть будущее... Лучше бы мне его не видеть! Я стала молиться, вопрошать бога, надеясь на милосердный ответ. Что будет с Кузьмичом завтра? Что будет со всеми этими ребятами, которые сейчас поют и веселятся от души? Может быть, им осталось жить ровно столько, сколько солнцу, которое сейчас заходило, скрывалось за деревьями?

Многие из них завтра будут лежать на траве с тускнеющими стынущими, как вода на морозе, глазами. И так ясно я видела это, что мне страшно стало.

Я взглянула на Касымбека, и сердце мое дрогнуло. В том поле, когда хоронили погибших в бою солдат, один из них, с распухшим лицом, показался мне похожим на Касымбека. Я испугалась тогда, чуть замертво не свалилась. И теперь он встал перед моими глазами, тронутый уже тленом, в засохшей в волосах и на лице крови.

У меня вдруг закружилась голова, на миг все вокруг потемнело, будто настала ночь. Не помню, сколько я просидела так, раздавленная, опрокинутая своими жуткими видениями, с большим трудом собралась я с силами. Но продолжало ныть, рваться из своей спасительной обложки сердце, предчувствия томили и мучили меня.

Все люди на войне носят в себе знак обреченности, и прежде я переживала за Касымбека, когда тот уходил на ночные задания. Но почему-то именно сейчас, в такой добрый, тихий вечер, представился он мне мертвым, с распухшим лицом. Но оказалось, что миг, который расколел меня надвое, был еще впереди.

Я не узнавала Носовца в тот день. Он веселился вместе со всеми, азартно хлопал, не отказывался и от чарки, но едва зашло солнце, как опять он стал самим собой, каким я его знала всегда. Всю веселость его, плескавшуюся через край, будто ветром сдуло. Он весь как-то отяжелел, стал серьезным и выглядел совсем трезвым, хотя пил вместе со всеми. Он бросил острый взгляд на Касымбека, потом на Николая и сказал:

— Пойдемте, большой разговор есть.

Они отошли в сторону и о чем-то стали совещаться. Потом Носовец вернулся к партизанам и объявил:

— Ну, ребятки, повеселились, позабавились и хватит! Война еще не кончилась. Всем отдыхать!

И начали потихоньку расходиться по своим землянкам и шалашам, никто не возразил, хотя, может быть, и хотелось кое-кому посидеть до полуночи, потолковать — мужики охочи до этого под хмельком. Только Абан как-то деликатно спросил:

— А может быть, посидим еще немного, Степан Петрович?

— Я тебе посижу! — беззлобно прикрикнул Носовец. — Будем так пить, и победу пропьем. Иди отдыхай. В полночь заступишь в караул.

Партизаны тяжело поднимались, со смутными какими-то улыбками, не очень охотно расходились, но никто из них не выглядел пьяным, хмель будто выветрился из них в одну минуту, или просто они притворялись подвыпившими час назад. Носовец подошел к нам со Светой. Мы с ней как раз убирали остатки пиршества нашего. Он пристально посмотрел на мою подругу и сказал:

— Ну, «Смуглянка», отдохнула немного? Пришла в себя?

Сумерки в лесу сгущались быстро, и я не заметила выражения его лица, но хорошо представила, как маленькие его синие глаза сверлили Свету, пытаюсь проникнуть в глубину ее души. Мы обе поняли, что обратился он к ней неспроста, и ждали, что он скажет дальше.

— Ну что ж, если отдохнула, пора и за дело браться, — проговорил медленно Носовец и положил руку на плечо Светы. — Готовься. Об обстоятельствах поговорим завтра.

И, круто повернувшись, он ушел.

Я уложила спящего Дулата у самой стены землянки, сама пристроилась рядом, но сон обходил меня стороной. Как только я закрывала глаза — передо мной вставали прежние видения, усиленные теперь ночным часом, одиночеством моим. Через какое-то время, согнувшись, в землянку влез Касымбек. Я слышала его дыхание, как стягивал он через голову гимнастерку, расстегивал брючный ремень, стаскивал с себя сапоги. Я подумала, что он поручил кому-то проверить караулы, а сам решил хорошенько выспаться. Наконец, он лег на бок, и его рука коснулась моего лица. Я вздрогнула.

— Не спишь? — зашептал горячо Касымбек. — Или я разбудил тебя? Честное слово, нечаянно, — бормотнул он весело.

Какой уж там сон! Будь они прокляты, эти дурные предчувствия, эти видения! Ведь я знала, что он протянет ко мне руки... И вздрогнула... Мне показалось, что пальцы мужа, коснувшиеся моей щеки, были холодны, как у покойника. Я лежала молча, не в силах сказать мужу ни одного слова. Но Касымбек не заметил моего состояния, завел какой-то свой разговор. Он говорил что-то о том, что пришел приказ разрушать железные дороги, мосты и уничтожать вражеские эшелоны.

— Наши войска переходят в большое наступление, — радостно шептал он мне... — Надо перерезать все железнодорожные пути, чтобы немцы не смогли получать подкрепление и оружие. Понимаешь?

Я чувствовала, что был он еще под хмельком и хотелось ему выговориться:

— Завтра выходим на задание. С первой группой иду. Я вся так и напряглась, спросила:

— А это опасно?

— Да ведь не впервой, — беспечно усмехнулся Касымбек. — Не первый раз девка замужем, без риска не бывает! Так что рискнем и на этот раз. Сколько этих заданий было! Я знаешь какой? Я везучий! А теперь у меня есть еще и ты, теперь, выходит, — вдвойне, — и он обнял меня. А мне было не до объятий, меня всю заколотило. Касымбек притянул меня к себе, жарко дыша винным перегаром... Ах, бедный простодушный мой Касымбек, глупый, не желающий знать, что ждет его завтра, какое страшное событие, виденное мною уже, его ожидает... Касымбек целовал меня неистово, но я была

задавлена предчувствиями своими, тревогой, тайным страхом и почти не отвечала ему. Ответить его рукам, сухим, горячим его губам, телу его напрягшемуся, открыто, доверчиво ждущему ласки моей, — я не смогла — нечем было отвечать, пусто было в груди, и так была она тяжела, эта пустота, что омертвели руки мои, губами даже шевельнуть я не могла — мертвой лежала, и самой мне казалось, что не горячий, по-земному, по-мужски жадный рядом со мной человек, а неистовствует в какой-то могильной, кладбищенской тьме тот призрак, тот убитый, так похожий на Касымбека!

Ночь прошла в нерсальной почти зыби, в дреме мучительной, во внезапных толчках, от которых распахивались глаза и широко, непонимающе и замороженно смотрели во мрак перед собой...

Едва обозначился бледный рассвет, я встала, вся разбитая, с отвердевшей какой-то душой. Я набросилась на свои обычные дела, нагружая, нагружая себя побольше, чувствуя, что отхожу понемногу, мягчею.

Я приготовила мужу чай, завтрак. Но что такое здесь чай? Просто мелко нарезанная, заваренная кипятком морковь. И то слава богу: и вкус есть, и цвет какой-никакой, и все-таки кипяток. Пьешь и вспоминаешь густой, коричневый казахский чай, заправленный молоком, услаждаешь себя. К тому же мы со Светой припрятали кое-что со вчерашнего застолья, так что позавтракать было чем.

Партизаны частенько подкармливали нас из скудного своего пайка, стараясь где только можно достать для нас что-нибудь из еды, всегда делясь последними крохами. Особенно щедр был Кузьмич. Чем он сам питался — неизвестно, но всегда находил он что-нибудь для нас и для наших малышей. Я не раз упрекала его, расстраиваясь и радуясь, когда детям кое-что перепадало:

— Что же вы сами-то ничего не едите? Все нам отдаете.

— Пусть дите поест, дочка. Детям надо кушать. А со мной ничего не случится. Старому человеку немного и надо. И глоток воздуха — еда, — ласково глядя на меня, возражал он.

После обеда Касымбек стал собираться в дорогу. Пересчитал желтые бруски тола, похожие на куски хозяйственного мыла, и уложил их в мешок. И делал это с такой обстоятельностью и аккуратностью, с какой ни-

когда ничего не делал по дому своему, и я со смешанным чувством страха и ревности какой-то следила за его руками и не выдержала, спросила нарочно его: а вдруг он взорвется у него в руках? Касымбек усмехнулся: не взорвется.

Абан попросил пойти вместе с Касымбеком, но тот не разрешил. Почему-то всегда, при малейшей возможности, Касымбек старался не брать Абана с собой, и того это, конечно, задевало.

Взвалив на плечи туго набитые смертоносным грузом мешки, ближе к вечеру Касымбек с двумя партизанами ушел на задание. Удастся ли им взорвать мост с проходящим через него вражеским эшелонном?

В эту ночь я плохо спала, тянула за душу какая-то тревога. Стоило закрыть глаза, и я начинала видеть силуэты людей, сутуло несших взрывчатку. Я вертелась с боку на бок, закрывала глаза, но ничего не помогало. Наконец я прижала к себе Дулата и стало жадно принюхиваться к его волосам. Сладкий детский запах успокоил меня немного, но уснуть я все равно не могла.

Что со мной случилось, я не могла понять. Ведь Касымбек не впервые уходил на ночные задания. Я всегда беспокоилась, но в конце концов засыпала. Теперешнее беспокойство было какое-то особенное. Все время накатывало, как противный запах, пропитавший все тело, вчерашнее дурное предчувствие, и перед глазами всплывал мертвец с обезображенным лицом, и в нем я узнавала черты Касымбека. Чтобы избавиться от наваждения этого, я покрепче прижала к себе Дулата. Так и промучилась я до рассвета.

Ночные зыбкие страхи, изводившие меня, окрепли, переросли в дневную реальность: Касымбек с товарищами не вернулся.

Два раза ко мне подходил Абан, пытаюсь отвлечь от невеселых дум, успокаивал.

— К ночи, пожалуй, вернется. Если они задание перед рассветом выполнили, то сейчас отлеживаются, пережидают где-нибудь. Днем и на фрицев нарваться можно.

Я это и сама знала. Партизаны, уходившие на ночные задания, чаще всего возвращались к вечеру, а то и к ночи следующего дня.

Я уже привыкла терпеливо ждать, никому не показывая своих переживаний, но сегодня мятежно все было во мне, рвалось все куда-то, не подчинялось мне, и со стра-

хом, подспудным ужасом я думала: «Не было такого со мной. Как бы и впрямь не накликасть мне беду!»

Не находя себе места, я пошла к Свете — прислониться к ней, успокоиться хоть немножко. Но как назло, Свету вызвали к Носовцу, и она еще не вернулась. Прошки тоже теперь не было со мной. За год он возмужал, превратился в рослого крепкого парня, и его забрали из обоза, и стал он тоже ходить на задания. Был со мной лишь белоголовый Кузьмич, но с ним не очень-то разговоришься. Да и занят он все время, все возится, копошится, ладит что-то в своем нехитром хозяйстве, находит работу для своих рук. Лицо старика светится добротой и терпением. И мне возле него, безмолвного, все же как-то спокойнее делается.

А день тянулся, длился бесконечно долго. И только когда стало смеркаться, я узнала, что Касымбек вернулся с задания, но, не заходя в землянку, отправился прямо к Носовцу.

Услышав, что он жив, я так обрадовалась, что даже руки у меня задрожали, и засуетилась, хватаясь то за одно, то за другое. Надо было огонь разжечь, чай поставить, приготовить поесть. В кармане у меня была морковь, которую я давно хранила. С позавчерашнего застолья, у меня остался кусочек сала и кусок черствого хлеба, все это я то выкладывала из кармана, то снова прятала, не знаю почему, а руки все дрожали, и я ничего не могла с ними поделать и только смотрела на них, удивленно и жалобно.

Касымбек пришел, когда совсем стемнело. Грузно, молча постоял и устало, обессиленно даже как-то свалился у входа и голову опустил. Я молча протянула ему еду, он был голоден. Схватил сало, хлеб и стал трудно жевать, даже не обратил внимания на Дулата, который карабкался к нему на колени. Я взяла сына на руки, чтобы он не мешал отцу. Касымбек долго пил горячий морковный чай и молчал.

Я подумала: с ним что-то стряслось, какая-то беда случилась. Хотелось узнать подробности, но спросить я не решалась. Наконец, раздеваясь, он сказал сам:

— Те двое, что пошли со мной... погибли они.

Так вот почему он пришел такой убитый! Я, конечно, тоже расстроилась, жаль было этих парней, очень жаль, но мысленно благодарила я судьбу за то, что Касымбек остался жив и думала: что же это он так переживает?

Разве может быть на войне без жертв? Каждый день кто-нибудь погибал. Если за каждого погибшего так переживать, то не то что воевать, жить станет невозможно.

Но муж, я видела, был по-настоящему удручен, страдал. Мне хотелось как-то утешить его, сказать, что со многими товарищами, с которыми делили кусок хлеба, мы уже распростились навсегда, что не надо изводить себя и так убиваться, нельзя опускать руки, но я молчала. Да он и сам все это знал не хуже меня. Партизаны каждую смерть принимали молча. Чувство утраты уравновешивало, наверное, сознание того, что завтра с ним может случиться то же самое.

На душе у Касымбека лежала какая-то тяжесть, что-то пригибало его к земле, и он сказал мне со вздохом наконец:

— Назира, слышь? Я... не смог выполнить задания.

— Да ведь и прежде случались неудачи,— попыталась я успокоить его.— Не все задания одинаковы.

Касымбек пропустил мимо ушей мои слова и вдруг стал рассказывать во всех подробностях, как было дело. Раньше он никогда не говорил о бесчисленных опасностях, которые обступали каждую операцию, подстерегали, жадно ловили каждую твою ошибку, каждый твой неверный шаг.

Они прошли лес оврагами и к закату солнца были уже у моста. Он смутно темнел над розоватым провалом воды. Укрылись в небольшом лесочке неподалеку от железнодорожного полотна. Все было тихо, пустынно вокруг, будто мост не охраняли вовсе, и они обрадовались, что выполняют задание без помех, и с наступлением темноты стали продвигаться к мосту. Шли друг за другом, выдерживая между собой приличное расстояние. Когда первый партизан был уже близко от цели, вдруг прямо в лицо ему ударила автоматная очередь, он упал. Разразилась пальба. Касымбек и второй партизан, отстреливаясь, стали отходить в лес. Когда уже были в двух шагах от лесочка, в котором они прятались недавно, пуля попала в затылок второму партизану, и тот свалился ничком. Немцев, наверное, было немного, человека три или четыре,— вся охрана моста, которую они не сумели обнаружить. Хоть и невелик был лесочек, но преследовать его не стали.



— Ну и остался я один, а задание есть задание,— продолжал Касымбек.— Его должен выполнить тот, кто уцелел. У нас был на примете и другой мост, запасная цель, на тот случай, если здесь мы наткнемся на охрану. Километрах в трех к западу. Я снял мешок с толм со спины убитого и побежал туда.

— Ну, а дальше что? — спросила я, так как муж замолчал. И вообще, он будто рассказывал не мне, а самому себе, как-то отчужденно и холодно.

— Взял, как говорят, ноги в руки, и побежал. Даже не заметил, как очутился у моста. Разведывать обстановку некогда. Есть там охрана или нет, я об этом даже и не задумался. Только одно было в голове, раз те двое погибли, значит, должен выполнить задание, чего бы мне это ни стоило. Ведь погибли-то ребята из-за моей, по сути, оплошности!.. Мне на этот раз повезло. Охраны на мосту не было. И вот-вот должен был пройти поезд. Я быстро уложил под рельсу тол, и тут меня будто по лбу ударило — бикфордов шнур остался в мешке у Никифорова. Я совсем забыл об этом!..

Касымбек заскрипел зубами, застонал даже.

— Ты же не мог все предусмотреть,— неуверенно сказала я.

— Не мог! — задохнулся Касымбек.— Лучше было бы мне погибнуть, но мост взорвать. Раз уж двое погибли! Зря погибли, не за понюх табака, понимаешь ты?..

— Но у тебя ведь не было шнура.

— Все равно, взорвать можно было, у меня была зажигалка,— сдавленным, бесцветным голосом сказал Касымбек.

— Ты... А как же ты сам? — испугалась я, в то же время поняла всю наивность своего вопроса. Касымбек угрюмо сказал:

— Те двое погибли, выполняя задание.

Погибли, знаю. Страшно жалко ребят. Но что же делать? И зачем он рассказывает мне обо всем этом? Для меня самое главное — сам он жив остался, чудом уцелел, чудом, и вот сидит теперь передо мной, и я могу его обнять, ощутить родное тепло.

Я обняла его, но тело Касымбека будто окаменело, не качнулось даже ко мне. Он вяло взял мои руки, которыми я обнимала его за шею, хотел, наверное, убрать, но не убрал. Так и продолжал рассказывать, держа мои руки в своих:

— Когда состав приблизился, я кинулся, чтобы взорвать его. Грохот, лязг, ветер, мелькает, мчит все! Я снова рванулся, но... не смог. Не смог!.. Дулатик... ты...

Только теперь до меня дошел смысл слов его. Чтобы взорвать поезд, надо было взорвать и себя. На миг я представила, как над головой стучат колеса, а он нащупывает руками зажигалку. Взрыв — и разлетается на мелкие кусочки, которые потом уже никому не собрать.

Вообразив это, я еще крепче обняла Касымбека, прижалась к нему. Потом я стала, как сумасшедшая, ошупывать его руки, ноги. Живой! Это я своим ужасным предчувствием накликала беду... Была холодна с ним, собой только и была занята. А он мог не вернуться, его могло уже и не быть ни здесь, рядом со мной, ни в отряде нашем, на всей земле его могло уже не быть.

У меня возникло такое ощущение, что если я разомкну свои руки, то уже навсегда потеряю мужа. Крепко зажмурившись, я прижалась к нему. Но все так же каменно сидел Касымбек, ни один мускул не дрогнул в нем, не отозвался на мои ласки. Отстранившись, я посмотрела на него прежними глазами, глазами беды, и поняла: Касымбек был холоден не ко мне, что-то неотвратимое сковало его. И весь он был во власти силы, ведущей его туда, куда мне доступа не было.

Бой все-таки отгремел стороной. Стрельба давно уже прекратилась. Щель засинела наверху вечерним кротким светом, темнеть стало. В землянке было прохладно.

Я думала, что партизаны, не выдержав натиска немцев, отступили в глубину лесную, а может, ушли куда-нибудь еще, в другие места. Бывало так уже не раз: люди отрывались от врага, запутывали следы, отсиживались по глухим лощинам. Смогут ли они вернуться назад и разыскать меня? Обещал Абан, если останется жив, вернуться ко мне. Но жив ли он?

В землянке этой можно было бы долго скрываться. Только худо вот с питанием. Весь наш запас состоял из черствого куска хлеба, величиной с кулак. Я берегла его на черный день. Когда дети начинали плакать от голода, я давала им грудь. Они старательно припадали к ней, но откуда у голодной женщины молоко? И дети к тому

же не маленькие. Одного и то не накормишь досыта. И сына мне жалко, и крохотную Свету особенно, когда она начинает смотреть на меня голодными глазенками. Я все время боялась, что Дулата держу у груди дольше, чем ее, невольно тем самым подчеркивая, что он мой, а та не родная. Нет, этого мне не хотелось. Дулат, конечно, недоедал. Но разве ему понять, что его матери, то есть мне, пришлось стать матерью и для Светы? Может быть, он и ревновал ее ко мне. Стоило мне приложить Свету к груди, как он отчаянно начинал карабкаться ко второй. Иногда даже приходилось шлепать его для порядка.

Что способна сохранить память ребенка, которому нет еще и полутора лет? Немногое, пожалуй. Как осиротевший ягненок прибивается к другой матке, так и Света быстро привыкла ко мне, хотя прошло всего три месяца, как рассталась она с родной матерью. Мне кажется, что она не чувствовала себя чужой у меня. Я жалела ее не меньше Дулата и, пожалуй, даже чаще, чем сына, прикладывала ее к груди. Ведь она была такая хрупкая на вид.

После того застолья, когда партизаны праздновали победу наших войск под Орлом и Курском, Носовец дал Свете задание.

Пришел приказ разрушать железнодорожные пути, взрывать мосты и вражеские эшелоны. И вот срочно понадобился человек, который бы работал на железнодорожной станции и снабжал партизан необходимыми сведениями. Носовец решил пристроить Свету на станцию переводчицей. Ему казалось, что риск с ее стороны будет небольшой. Ведь с тех пор, как ее разоблачили, прошло больше года. Те, кто ее знал, наверняка уже сменились. Мало ли что могло произойти за год.

Света захотела взять с собой ребенка, однако Носовец возразил:

— Это опасно. Может быть, остались еще полицаи, которые слышали то, что «Смуглянка» была в положении. Они ведь искали беременную женщину, когда ты сбежала. Так что ребенок может навести их на след, понимаешь? Лучше все-таки, если пойдешь одна. Пойми, так вынуждают обстоятельства. И вообще, лучше, если руки у тебя не будут связаны.

Вот и решили Светину дочку оставить со мной, обещая помогать мне всем нашим отрядом.

Мне казалось, что Света как-то не очень привязана к своему ребенку. Я ни разу не видела, чтобы она приласкала ее, сладко целовала, как это бывает у матерей. Как будто это и не ее ребенок, а чужой, приبلудший, и не мать она, а только исполняет материнские обязанности. Но когда Носовец сказал, что ребенка придется оставить здесь, она вся переменялась в лице, бросила на Носовца умоляющий взгляд, взмолилась:

— Ради бога... разрешите, я возьму ее с собой... Ничего плохого не случится. Она не будет мне мешать, прошу вас, как же я оставляю ее?

Нахмурившись, Носовец покачал головой.

До самого своего ухода Света не спускала дочку с рук. Проводить Свету и проследить, как она доберется до места, было поручено Николаю. «Зачем еще и это испытание?» — подумала я и спросила у Касымбека:

— Почему ты сам не проводил ее? Зачем поручили это Николаю?

— Я предлагал, Носовец решил по-своему. Не знаю, зачем это ему.

Трудно другой раз понять душу этого крепкого человека. Действительно, зачем понадобилось ему посылать со Светой Николая? Ведь он знал их отношения. А может быть, он хотел, чтобы Николай сам убедился, на какое опасное дело шла его бывшая жена?

Света долго провозилась с узелком, в котором были платьица дочери ее, без конца перебирая их и рассматривая. Одежонку для детей мы шили сами из бязи и бумазеи, когда эти материалы случайно попадали к нам в руки. Шили, как умели, заботясь, главным образом, чтобы малышам было тепло. О внешнем виде нарядов этих мы как-то мало думали. Пусть и некрасиво, и грубовато, но зато надежно. Летом наши дети, конечно, бегали босиком в одних рубашонках.

Света достала из узла толстые носки, сшитые из полы шинели и сказала мне:

— Наденешь их, если похолодает.

— Обязательно, Светочка. Спасибо тебе.

Несмотря на мои протесты, она оставила мне и свой теплый платок, дескать, ночи будут холодные, пригодится. Потом сказала:

— Пальто я тоже оставляю. Зачем оно мне? А тебе или детям пригодится, мало ли что может случиться здесь, в лесу.

Она была готова снять с себя последнее и оставить все мне и своему ребенку, но я решительно запротестовала.

Ничего не осталось от прежней уравновешенной и такой безмятежной с виду Светы. В этот день она была беспокойна, суетлива, как будто что-то потеряла и никак не могла найти или забыла что-то самое важное, на секунду замирала, силясь вспомнить это важное, но тотчас же опять хваталась за пустяки, за одежду, еще за что-нибудь и как в бреду несколько раз повторила мне:

— Ну уж, Назира, ты присмотри, а? Присмотри, пожалуйста.

— Не беспокойся, Света, все будет хорошо,— только и могла сказать я. Она взглянула на меня с мольбой и отвернулась. А Николай, все это время сидевший в землянке, сгорал от нетерпения. Наконец не выдержал, бросил, отрывисто, жестко:

— Ну, пошли. Пора.

Света подхватила дочь, жадно расцеловала в обе щечки ее, спрятала лицо у нее на груди и замерла, и я услышала, как она тихо сказала:

— Прости меня.

Она передала мне дочь, круто повернулась и пошла. Опять она уходила, опять ей было не до меня, и жалко мне ее было до боли. Света молча шагала за Николаем, какая-то вся поникшая, отяжелевшая даже, походка у нее изменилась. Николай же шагал упруго и четко, точно по плацу.

Так Света и ушла, ни разу не обернувшись, не махнув мне на прощанье рукой...

Я верила в нее, в ее сильный характер, в опыт ее наконец и ум. Разве могла она погибнуть? Уж если кто и должен был пропасть в этой войне, так это я. Но, наверное, другое было мне написано на роду, судьба хранила меня для иных испытаний и уготовила мне эту землянку, где вот сижу с двумя детьми и жду...

Вскоре пришло сообщение, что Света благополучно устроилась на новом месте, и стали поступать первые сведения о движении немецких эшелонов. Однажды я слышала, как Носовец одобрительно, с гордостью отозвался о ней:

— Молодец, «Смуглянка», приступила к работе. Только теперь у нее другое имя.

И он хитровато подмигнул Касымбеку.

Минуло, наверное, не больше месяца, как мы получили новое известие: «Света схвачена». Донес на нее какой-то полицаи, видевший ее прежде. Не помогло и то, что была она без ребенка. На этот раз ей не удалось выскользнуть, вовремя скрыться, и через неделю мы узнали, что Свету казнили. Носовец пришел в землянку к нам, долго сидел молча, наливался тяжестью. Сквозь зубы хрипло выдавил он из себя:

— Никого не выдала она. пытки все прошла, не выдала...

А я, узнав, что Свету схватили, наплакалась вволю и все отказывалась верить, что это конец, все казалось мне, что есть еще надежда, что вдруг ей удастся вырваться, как в прошлый раз? Или же наши выручат ее? Надежда была слабой какой-то, я выхаживала ее вымучивала. И вот, когда пришла весть о ее казни, у меня не было сил даже поплакать. Кончилось что-то во мне.

Потеряла я мою Свету. Даже не простились мы с нею как следует. Подала мне дочку свою, круто повернулась и ушла, ушла навсегда. Я рванулась было за нею, но что-то удержало меня, не ко мне, а к маленькой, ничего еще не понимающей девочке, дочери ее, были обращены последние ее слова, не у меня, все знающей свидетельницы, просила прощения она, не у сегодняшнего, жестокого, подсоленного кровью и пеплом осыпанного времени, но у будущего, у новых людей просила она прощения за испоганенную, сломанную свою жизнь.

Голос, ее, негромкое это «прости меня» все время стоит у меня в ушах, была в этом отстоявшаяся капля яда, которая отравляла материнские порывы Светы, вставала между нею и дочерью, точно возмездие за минуты слабости и преступной отрады. И худшего, изощреннейшего наказания нельзя было придумать. Она унесла с собой навек невысказанную, скомканную свою материнскую нежность...

Прежде, когда Света была в отряде, Николай обходил нашу кухню стороной, а после ее ухода стал частенько заглядывать. Перепадет ему что-нибудь съестное в руки, непременно принесет и отдаст мне со словами: «Вот возьми для детей, приготовь им что-нибудь. Пусть не голодают». Иногда он засиживался на кухне, то играя с Дулатом, то перебрасываясь со мной ничего не значащими словами.

Авторитет Николая Топоркова в партизанском отряде очень вырос. Действительно, Николай был бесстрашным человеком, отчаянным и цепким в бою. Я никогда не видела его уставшим, вялым, опустившимся. Всегда он был подтянутым, собранным, живым как ртуть. И не жалел он ни людей, ни себя, когда дело касалось выполнения задания. Пожалуй, к себе был он даже еще строже, чем к другим. И партизаны им гордились, рады были служить под его началом. «С таким не пропадешь,— говорили они.— Беспокойный маленько, да не за себя беспокоится человек, за людей».

Вначале Николай, как и Касымбек, возглавлял отдельные группы, ходившие на задания. Позже он отобрал себе бесстрашных ребят, таких же, как он сам. И стал всегда напрашиваться на самые непростые, рискованные операции. Частенько попадал он в сложные переплеты, но всегда выполнял задание. И самым отчаянным среди своих ребят слыл сам Николай, а когда командир первым лезет в огонь, солдаты отсиживаться не станут. Их так и прозвали «группой отчаянных».

Не раз слышала я, когда возникали очень сложные задания, говорили: «Это только под силу «отчаянным». Даже скупой на похвалы Носовец не сдерживал себя, когда их хвалил, и особенно выделял Николая. На войне уважают храбрых.

Николай доволен был своим положением и славой бесстрашного командира. Но я чувствовала, что в душе у него что-то не так. Я никогда не видела его раскованным, открытым, вечно он был в каком-то напряжении. Даже когда возвращались они после удачно выполненного задания, разгоряченные и шумные, начинали вспоминать те или иные моменты боя, смеясь иногда над оплошностью своих товарищей, которая все-таки не привела к трагедии,— обошлось на этот раз, подфартило,— Николай отдавал общему веселью угловатую, неловкую свою улыбку. Что-то сдерживало его, он быстро умолкал, уходил в себя.

Раньше, когда Света была еще здесь, он со мной только здоровался. Теперь же каждую свободную минуту Николай приходил к нам на кухню, правда, со мной он по-прежнему был не очень разговорчив, больше играл с Дулатом. Однажды он принес ягод и стал угощать ими Дулата. На маленькую Свету он как будто не обращал внимания. Но я заметила, что украдкой он все время на-

блюдал за ней. Как-то я перехватила его взгляд, устремленный на девочку, и он отвел глаза, будто его уличили в чем-то зазорном, торопливо подхватил Дулата и стал подкидывать его, тормошить, будто только это и занимало его.

Но я понимала, что искал он сходство в девочке с ее матерью. А находить это сходство было вовсе не трудно, маленькая Света была точной копией своей матери, такие же светлые волосы, голубые глазенки, чистые, как утреннее небо.

Когда я подошла к Николаю, он стушевался, что-то пробормотал, сунул две оставшиеся ягодки в рот Дулату, подхватил его на руки. Не знаю, что со мной случилось, но я просто рассвирепела, заорала на него:

— Что ты все обхаживаешь Дулата?! Если такой добрый, взял бы да приласкал вон ту круглую сиротку. От тебя что, убудет, если ты ее по головке погладишь?!

Николай опешил, чуть не выронил Дулата.

— А что? А что? — закосноязычел он.

— А то, что она дочь Светы! А Света твоя жена. Заладил: «А что? А что?»

Николай побледнел. Наконец, собравшись с духом, он сказал:

— Все, у нас кончено. Не жена она мне.

— Конечно, все кончено. Теперь хоть волосы на голове рви, а женой она тебе не будет! Светы больше нет! Нету ее, понял ты?! — прокричала я прямо ему в лицо. — Ты никогда не знал, каким она была человеком!

— Какой она человек, это всем известно, — сквозь зубы проговорил Николай, неотступно, замороженно глядя на меня.

— И все равно, ты ее не знаешь. Ты! Какой она была человек! Она была лучше всех нас. Лучше меня и тебя. Ты герой, а ты ее не стоишь. Она тут самая главная героиня среди нас. Если ты такой смелый, попробуй, поживи в самой гуще врагов. Она погибла, а ты, а я, а мы...

Я разрыдалась — от злости, от отчаяния, горя. Николай нерешительно затоптался, не зная, что мне ответить.

Ярость снова вскипела во мне. Вся моя выстраданная тяжкими испытаниями любовь к моей необыкновенной подруге, но так и не отданная, не высказанная ей и наполовину, прорвалась в страшном каком-то крике:

— Ты... ты даже не сумел принести сюда ее тело и похоронить! И ты ее любил?!

— За что я должен был ее любить?! — закричал Николай.

— Да ты ее и сейчас любишь! Думаешь, я не знаю? Сплетен ты испугался, людских пересудов, вот и бросил ее! Ходил тут, выпендривался, грудь колесом выпячивал. Немца не боишься, смерти не боишься, а злых языков испугался?! И сюда ты приходишь вовсе не из-за Дулата, а ради этой вот девчушки. Поцеловать ребенка, и то стесняешься, гер-рой!..

Николай побледнел, прошептал что-то беззвучно, круто повернулся и ушел. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как остывают на щеках моих слезы.

Николай перестал заходить ко мне на кухню, и день, и два прошло, раскаяние стало меня брать. Сгоряча, грубо наломала я дров в таком тонком, деликатном деле. Только начал он проявлять к дочери Светы внимание, только собрался преодолеть себя, характер свой негибкий, а я все испортила. Однако Николай пришел снова и заговорил со мной, глядя на меня сияющими какими-то глазами.

— Ты знаешь, Надя, в Ленинграде у Светы живет мама. Она одна, без мужа. И вот у меня план, если, конечно, будем живы-здоровы, отдать эту девочку ей, а? Как ты на это смотришь? Здорово? Ну ты это, приглядывай за нею... Как ее... С-светой зовут ее? В общем, вот за Светой.

Я не выдержала, отвела свой взгляд от сияющих глаз его.

15

Касымбек после невыполненного задания резко переменялся, в нем произошел какой-то переворот, будто весь внутренний мир его, уравновешенный и устойчивый, встал с ног на голову. И прежде не очень-то разговорчивый, теперь он совсем замкнулся в себе. Тень непонятной мне озабоченности пролегла между бровями, он все время о чем-то сосредоточенно думал, и мысли эти, очевидно, терзали и ранили его. Было муторно на душе у него, и я боялась заглянуть в нее.

Я знала, что в тот вечер, когда он вернулся с неудачной вылазки, между ним и Носовцем произошел тяжелый

разговор. Но неужели из-за этого так переменялся Касымбек? Ведь на войне, в пылу сражения, люди часто говорят друг другу: «Я тебя отдам под трибунал! Трус! Расстреляю, если отступишь хоть на шаг!» Эти крайние угрозы, густо приправленные русскими крепкими словами, сотрясали провода полевых телефонов, но после боя люди, которые только что до хрипоты орали друг на друга, как дети, начинали обниматься и похлопывать с радостью по плечам всех и каждого. Никакой обиды не оставалось у них на душе.

Нет, Касымбека угнетали не жесткие слова Носовца, а что-то другое. Но что? Если бы я знала наверняка, если бы! Может быть, тогда я не стала бы так горячо, исступленно заступаться за него, не перед людьми — перед собой.

Ведь до сих пор Касымбека обходила дурная слава. Наоборот, он считался одним из самых исполнительных командиров. И задания выполнял всегда хорошо, и людей своих старался беречь. В окружении, в жестоких боях первых месяцев войны сохранил он остатки своей роты. Разве не вокруг него собрались все эти люди? Но я понимала — это крик моей души, а у войны свои суровые законы. Прошлое твое геройство никому не нужно, если ты допустил оплошность сейчас, сию минуту. За одну минуту из героя можно превратиться в труса и перечеркнуть все свои былые заслуги. Люди не прощают трусам, которые пытаются спасти себя, потому что сами рискуют и погибают нередко. И если ты проявил вдруг слабость, тебя могут и не обвинить в ней открыто, просто перестанут замечать, и со всех сторон увидишь ты холодные пустые взгляды и станешь чувствовать себя хуже побитой собаки.

«Чем потерять двух товарищей, не выполнив задания, лучше бы было погибнуть всем троим, а дело сделать», — сказал мне Касымбек в ту ночь. Оказывается, он повторил слова Носовца. И звучало, глухо билось во мне: лучше погибнуть всем троим, но взорвать эшелон, чем потерять двоих, не выполнив задания. И вдруг дошла до меня предельно ясная, жуткая логика войны, ее простая, беспощадная арифметика. Отдать две жизни и не получить ничего? Нет, лучше полностью заплатить и получить полной мерой, на каждую по десятку вагонов с техникой и людьми. Я не в силах была его понять. В моих глазах стоял Касымбек, тянущий руку к зажигалке,

чтобы убить себя и подорвать поезд. Душа моя не принимала этого. Я радовалась, что он пришел живой...

Я радовалась, а Касымбек был не рад, что остался жив. Он еще два раза ходил на задания и возвращался с удачей, но хмурая складка меж бровей не разглаживалась, врезалась все глубже, и выглядел он удрученным, и отдалялся от товарищей своих, отмечавших шутками и смехом маленькую свою победу.

Почти полтора года мы в партизанском отряде. Всякое было — насмотрелась, сама перенесла многое, смирилась кое с чем, огрубела, быть может, без прежних больших тревог ждала возвращения мужа. Но теперь тревоги и волнения первых дней проросли во мне, усилились еще какими-то недобрыми предчувствиями.

Мне казалось (а может, так оно и было на самом деле), намного сложнее стало выполнять задания. После того как партизаны пустили под откос несколько эшелонов, немцы усилили охрану всей железной дороги, особенно мостов. Увеличились и наши потери.

На последнюю операцию с Касымбеком ушло четверо, четвертым он взял с собой Прошку.

Прошка вернулся один, подбежал ко мне.

— Тетя Надя, тетя Надя!..

— Ты почему один? Где остальные? — перебила я его.

— Не знаю, тетя Надя. Кажись, погибли они.

— Ты... что ты такое говоришь? — закричала я.

В глазах потемнело, и я села там, где стояла. Может быть, они не погибли все-таки. Мертвыми их Прошка не видел. Он ничего не знает наверняка, ошибся он, а, Прошка? Прошка шмыгал носом и растерянно моргал, потом, тараща глаза свои на меня, стал рассказывать.

— Вышли мы отсюда вечером, так? А ночью уже подошли к мосту, который надо было взорвать. Никто нас не видал, никого мы не встретили. Оврагами шли, осторожно, Касымбек Каресович сам вел людей. Я, значит, шел за ним. Командир велел сохранять дистанцию, не идти кучей и хорошенько смотреть по сторонам...

Прошка говорил, переживая все заново, и я не торопила его. Мне даже хотелось, чтобы рассказ его тянулся и тянулся, лишь бы не услышать конца. Мелькнула мысль, что он скажет что-нибудь такое, за что можно уцепиться и предположить, что Касымбек жив. Пусть

не обрывается тоненькая ниточка надежды. Но вот Прошка умолк, и я нетерпеливо спросила:

— А дальше что, Прош?

— Ну, когда уж светать стало, мы добрались до этого моста,— продолжал он как бы машинально уже, подчиняясь только нетерпению моему горячечному.— Хотя нет, еще не рассветало. Павленок так и сказал: «Пока еще не совсем развиднелось, давайте уложим тол и протянем шнур». Ну, а Касымбек Каресович сказал, что минировать еще рано. Эшелон должен пройти где-то в пять сорок. Если рано поставишь мину, то немцы могут ее обнаружить. Так и вышло, тетя Надь, пока мы лежали, два раза прошел патруль, на мосту остановились и все осмотрели. Потом командир сказал: «А теперь пора. Скоро будет проходить эшелон». И только мы подбежали к мосту, вещмешки с толом стали уже снимать, как тут опять этот патруль. Ну, командир велел задержать его, а сам стал укладывать под балки тол. Я ему подавал. Он говорит: «Один раз я не смог взорвать этот мост. Врешь, не уцелеешь на этот раз, разнесет в клочья тебя этот гостинец!»

Тут пошла перестрелка, немцы — прут, я видел их, вот как вас. Касымбек Каресович говорит мне: «Скорей иди в отряд, доложи, что задание выполнено». Я говорю, один не пойду, с вами буду, а он как закричит: «Уходи! Это приказ! Не выполнишь приказ, расстреляю!» Я побежал. Они там все отстреливались. Потом я услышал шум, состав большой такой, длинный, на мост как раз заходил, от паровоза дым во все стороны...

Прошка шмыгнул носом, щеки его как-то странно запали, будто конфету сосал. Он закашлялся, полез за чем-то в карманы. Меня уже сжигало страшное какое-то нетерпение:

— Говори, что ты замолчал?!

Прошка испуганно взглянул на меня, мучительно сглотнул:

— Длинный был состав, вагоны всякие. Ну и как паровоз въехал на мост, тут как рванет! Огонь, дым до самого неба. И такое там началось, тетя Надя! Задние вагоны налезают на передние, паровоз в реке взорвался, все горит... Я стал ждать наших, думал, придут. Никого не дождался, а около разбитого состава бегали немецкие солдаты. А наших нигде не видно.

Я боялась пошевелинуться, какой-то комок застрял в горле, мешая дышать и говорить. Закричать бы во весь голос, запричитать по мужу, но Прошка ничего мне не сказал определенного — ушли они, успели до взрыва еще скрыться?

Я не решалась посмотреть правде в лицо. И, цепляясь за призрачную надежду, чувствовала, что схожу потихоньку с ума.

По угрюмым лицам партизан я понимала — они погибли. Хотя некоторые, встретив меня, начинали успокаивать: «Чего не бывает на войне? И не в такие переделки попадали и сухими выходили из воды. Другой раз и сам думаешь, все уже, погиб, а все-таки живой. Не расстраивайся, Надя, точных сведений нет».

Но повышенное это внимание ко мне почему-то не успокаивало, а наоборот, обрывало последние мои надежды. Я не заплакала, когда ко мне пришли известить о гибели мужа. Моя жизнь потеряла для меня всякий интерес. Я почти не слышала, что говорили четверо мужчин, пришедшие выразить соболезнование мне. Какими-то серыми, расплывчатыми и непонятными пятнами маячили они неподалеку. Был среди них и Носовец. Это его голос?

— Касымбек... с честью выполнил свой долг перед Отчизной... героически погиб... пожертвовал жизнью во имя долга... Народ его не забудет...

Через какое-то время я поняла, что сижу одна. Не заметила, как они ушли.

Приходили товарищи Касымбека выразить мне свое сочувствие и утешить меня. Ну, еще несколько дней будут жалеть меня и помогать. А потом? Никто здесь не вечен, каждого подстерегает пуля. Долго скорбеть о погибшем здесь не могут, потому что погибших много, гибнут чуть ли не каждый день. А где много смертей, там мало оплакиваний. Пройдет неделя, и люди забудут о гибели Касымбека, вынуждены будут забыть, потому что погибнут другие. Сочувственных взглядов в мою сторону станет все меньше и меньше, и наконец я стану одной из многих. Война не позволит мне надеть черное и бесконечно причитать. Вместе со всеми придется бороться за существование. И то, что у меня на руках двое детей, для них не радость, а лишние заботы, хлопоты, переживания, не оставят они меня одну, нет, не оставят!

Не сразу осознала я тяжесть утраты. Мне все больше казалось, что я недооценивала Қасымбека. Безропотно тащил свою ношу, отправлялся на задания, сражался как рядовой и был еще командиром, и еще приходилось беспокоиться о жене и ребенке. Никогда я не задумывалась, что на душе у него. Просто была довольна, что муж рядом, мне было хорошо с ним: Ну, а ему? Каково ему было воевать, рисковать жизнью, когда рядом жена, маленький сын? С каким сердцем каждый раз уходил он на свои операции, как прощался он с нами? Появлялась же у него мысль, что видит Дулата, меня в последний раз?

Тем женщинам, мужья у которых воевали где-то далеко, было, я думаю, намного легче, чем мне. Ведь почти каждый день, как на работу, отправляешь мужа не куда-нибудь, а в бой, где могут ранить, убить, на куски разорвать — все что угодно! Да и сама другой раз видишь этот бой, и мужа своего, как он стреляет и как стреляют в него.

Да, я переживала за Қасымбека, тряслась от страха, но что у него творилось на душе, над этим я не задумывалась.

Мне нравилось смотреть, как он ласкал сына, целовал его, теперь мне кажется, сквозь нежность и радость отцовскую прорывалось какое-то отчаяние. Может, он чувствовал, что его сынок останется сиротой?

Каждый раз, вернувшись после ночного задания, он, не раздеваясь, присаживался на край постели и начинал жадно принюхиваться к спящему ребенку, целовать его. Потом в потемках коптилки он пристально глядел на меня, гладил ласково по волосам, по лицу, прикасался ко мне, как к драгоценной, хрупкой вещи. Мне же в такие минуты хотелось, чтобы он не только гладил, а обнял бы меня покрепче, поцеловал. Но все равно мне было хорошо, я была благодарна ему за эти робкие, нерешительные ласки. Они как-то возвышали меня в своих собственных глазах. И смотрел он на меня в такие минуты как-то по-особенному.

Теперь запоздалый свет откровения, глубокого понимания сошел на меня и открыл мне причину его трепетного внимания и любви к нам. Он боялся, что в любой ночной вылазке может погибнуть. И когда возвращался, то смотрел на нас виноватыми, полными жалости глазами. Он молча благодарил судьбу за еще один день, за час, который он был с нами и мы с ним.

Касымбек вынужден был сражаться с двумя противниками... Поезд был совсем уже близко, и он стоял, упираясь плечом об опору моста. Одно только движение, один миг, но он не сделал этого последнего движения — вспомнил о нас. Прикоснувшись сердцем своим к смерти, он как бы умер на мгновение и тут же ожил снова. Но холод ее не покидал Касымбека до конца дней.

Я вспомнила, как он мне говорил однажды: «Человек странное существо. Порою и не поймешь его. Иногда отчаянный храбрец, которому пули над головой все равно что град, то вдруг ни с того ни с сего становится трусом. Начинает бояться всего. Стоит пролететь шальной пуле, и он падает, прогудит в отдалении самолет — прячется в укрытие, совершенно теряет контроль над собой. А может, это и естественно? Может, даже у смелых людей бывают моменты, когда у них сердце заходится от страха?.. Такие обычно гибнут».

Он изменился после той злополучной ночи, но только теперь я поняла, проникла в самые сокровенные глубины моего мужа. И не жестока была, не суд ему устраивала — я узнавала Касымбека, мне нужна была вся правда о нем. Чтобы быть с ним, помнить о нем долго, всегда. Не выдержал он, не смог пересилить свой страх. А кроме того, его терзала совесть из-за гибели двух товарищей. Они погибли, а он не сумел сделать то, ради чего они погибли.

Он, конечно, старался скрывать свой страх, еще два раза ходил на задания. Но однажды, когда над нами появился немецкий самолет и кто-то крикнул: «Воздух!», Касымбек пулей вылетел из шалаша и, обернувшись ко мне, заорал истошно: «Вылезай скорее!» Подхватив на руки малышей, он бросился к щели, открытой неподалеку. Оглянувшись, он увидел, что люди неторопливо прячутся в укрытия, а некоторые смотрят на небо, прикрыв ладонью глаза от солнца. Касымбек смутился, застыл в какой-то нелепой позе, будто тело вдруг отказалось ему повиноваться. Я заметила, как кончики пальцев его мелко дрожали.

Да, Касымбек сильно переменился. Сначала я думала, что просто он устал, озабочен чем-то своим. И нас почти перестал замечать, ласкать. Может быть, не хотел травить себя лишний раз? Только в тот день, когда он уходил на свое последнее задание, он выбрал момент,

когда я на него не смотрела, подхватил на руки сына и с какой-то горячечной иступленностью поцеловал его. Со мной он даже не попрощался...

Разве не знал Касымбек, что человеку, однажды поддавшемуся страху, требуется время, чтобы по капельке выдавить из себя этот яд. А война времени на это не давала. Вот и выходило, что для восстановления чести оставалось одно — смерть.

Он сказал Прощке, что теперь этому мосту от него не уйти. Он ненавидел мост, из-за которого впервые в своей жизни струсил. Смерть, говорят казахи, сама призывает к себе человека. И Касымбек снова пошел к этому роковому мосту. И взорвал этот мост и погиб. И быть иначе не могло, выхода другого для него не оставалось...

Сквозь щель в крыше пробивался сумеречный свет. Темнота отступала, пятилась в углы. Светлее здесь не бывает, и поэтому трудно определить время. Но судя по тому, что дети еще не проснулись, было, пожалуй, не слишком поздно еще. То, что дети спали, было хорошо и для меня и для них — есть не просили.

Время тянулось медленно. В эти два с лишним года я только и делала, что ждала да торопила время. Еще в конце сорок первого у нас шли возбужденные разговоры о том, что фронт приближается, скоро придет к нам. Но год с лишним уже миновал, а он так и не приходил. И теперь вот снова заговорили, что фронт близко, подступает. Ох, скорее бы! Сколько у нас потерь! Наш отряд был основательно потрепан, трудно было выстоять против регулярных немецких частей. Мы только и делали, что уходили, петляли, ускользая из окружения. Когда я впервые попала в него, в нем было около сотни вооруженных людей. Из той сотни остались Николай, Абан, еще человек двадцать-тридцать. Многие пришли в отряд позже меня, так что я считалась старожилом...

После смерти Касымбека мне предлагали укрыться где-нибудь в надежном месте, но места такого не нашлось, фронт близился, и вся округа была забита вражескими войсками. К тому же Абан и Николай были решительно против того, чтобы я покинула отряд.

Особенно туго приходилось нам в последние месяцы. Много приходилось передвигаться с боями, и мне с двумя детьми было нелегко.

Бедные! С рождения пришлось им испытать такое, что и подумать страшно. Сердчишком своим они как будто чувствовали, что взрослым нелегко, и никогда не плакали — ни от страха, ни от боли, только прижимались покрепче к тому, кто убегал с ними, прятался от снарядных взрывов и пуль.

Бывало, когда в лагере объявляли воздушную тревогу, они сами вместе со всеми торопились в укрытие. Дулат подбегал к окопу, протягивал ручонки, его подхватывали, опускали вниз. Маленькая Света не отставала от него ни на шаг и повторяла каждое его движение. Детской своей душой Дулат чувствовал, что со мною творится что-то неладное, и он не хныкал и не лез ко мне. Один раз, правда, попробовал было повиснуть на моей шее, но я оттолкнула его. Он посмотрел на меня исподлобья, но не расплакался, тихонько отошел в сторону. Он понимал, что случилась какая-то беда, и все время крутился рядом, поглядывая на меня вопрошающими глазенками, задумывался, я видела, он пытался о чем-то спросить меня, но все равно не решался, потом вдруг отважился:

— А папа когда придет?

Я схватила на руки сынишку, прижала к груди, стала целовать его, прижимать к себе так, словно у меня его кто-то отнимал. Слезы хлынули. О боже! В этом насквозь продуваемом холодными ветрами мире я едва не загасила мою единственную свечу, огонек мой, тонкий лучик. Было у меня такое ощущение, что если я хоть на миг выпущу его, то потеряю навсегда. Рыдания сотрясали меня, ломали, крушили мое окаменевшее горе. Да, страх и на этот раз вернул меня к жизни, но не за себя я боялась. Я поняла, что, пока буду жива, не перестану бояться за жизнь моего маленького. Қасымбек погиб, но мне надо жить, я обязана жить...

Абан шепнул мне, если жив останется, непременно придет за мной. И теперь я думала только об одном — лишь бы он уцелел. Он обязательно должен вернуться. Я помню, Қасымбек никогда не брал Абана с собой на

задания, и обижал его даже этим. Теперь я догадалась — он хотел, чтобы кто-нибудь из них остался в живых.

Нас было всего трое казахов в этом отряде, и жили мы дружно, можно сказать, как одна семья. Абан был Касымбеку вроде избалованного младшего братишки. Меня он называл то «женгей», подчеркивая этим, что Касымбек, старший, то «Назыкеш», приравнивая к себе. Когда они с Касымбеком оставались наедине, Абан называл его «аксакалом» или «Касеке».

Абан полюбил нашего Дулата и каждую свободную минуту шумно и весело играл с ним. Смерть Касымбека наложила отпечаток и на поведение Абана. Резко переменялся его шумливый, бесшабашный характер. И отношение его ко мне стало осторожно-предупредительным, как будто он ходил за больным. Теперь он следил за каждым своим словом, за каждым движением, даже ступал как-то осторожно, точно на цыпочках. И с Дулатом играл потихоньку, а когда тот заливался звонким своим смехом, Абан тоже начинал смеяться, но не так громко, как прежде, а чуть как-то осторожно.

В первые горестные дни, когда он меня успокаивал, то обращался ко мне по-старому — «женгей». А потом перестал так называть, чтобы лишний раз не причинять мне боль, напоминая о Касымбеке. Но шла война, и часто было не до соблюдения условностей и приличий.

В трудные минуты, когда грозила опасность, он кричал мне, забывая свою вежливость:

— Давай сюда мальчишку! И сама не отставай!

И, подхватив Дулата на руки, он тащил меня за собой. Случалось, что во время боя я оказывалась на открытом месте, и тогда он со всех ног бросался ко мне, тащил в укрытие и резко выговаривал:

— Чтобы отсюда никуда! И головы не поднимай!

В наших с ним отношениях мы словно поменялись местами. Если раньше он прислушивался к моему мнению, то теперь стал командовать мной. Бывает так, когда старший брат неожиданно умирает, младший вдруг взрослеет, оставшись за старшего и приняв на себя не легкие его обязанности.

О прежней партизанской жизни, которая когда-то казалась нам трудной и полной лишений, вспоминали мы теперь как о временах счастливых, почти безмятежных. Бывало, месяцами мы стояли лагерем где-нибудь

в глубине большого леса. Этим же летом нам не было никакого покоя.

Мы часто меняли места стоянок, по-лисьи петляли в лесу, запутывая следы. Чаще всего меня выручал Абан. На коротких привалах он сооружал для нас шалаш, разводил огонь и кипятил воду. И я могла в это время заняться детьми — умыть, заштопать, перевязать царапину.

Хоть и выглядел Абан безалаберным, но был он очень хозяйственным человеком. В любой ситуации всегда находил для нас что-нибудь съестное. Что ни добудет, все тащит к нам. Однажды он где-то раздобыл старое одеяло и принес мне: «Будет время, сошьешь для детей одежонку. О зиме надо летом думать».

В эту самую страшную осень Абан все заботы о нашем содержании безропотно взвалил на себя и стал опекуном нашего осиротевшего очага. Постороннему человеку мы могли даже показаться небольшой партизанской семьей. И я привыкла к такому положению и не представляла, что будет с нами, исчезни вдруг Абан.

В один из спокойных дней он сделал мне предложение.

— Не хочется мне оставлять Дулатжана и Свету сиротами, через всю войну мы прошли вместе. Если будем живы, хотел бы оставшуюся жизнь провести вместе с вами.

Видно было, не один день он обдумывал свое предложение, говорил медленно и тихо. Было бы ложью сказать, что это было для меня полной неожиданностью, что я, мол, не ожидала от Абана этих слов. Он не бросал на меня многозначительных взглядов, но по-женски тонко я чувствовала, что, кроме заботы и участия ко мне, пробуждается в нем и что-то другое. Я предполагала, что Абан сделает этот шаг, и, признаться честно, ждала его. Мало радости во вдовьей доле. Мне нужна была в жизни опора, Абан был человеком, на которого можно было опереться. Но я старалась не показывать этого и стыдилась этого желания. Не знаю, оттого ли, что Абан словно бы угадал тайну мою, или от извечной слабости казахских женщин бояться людских пересудов пуще гнева божьего, я почувствовала вдруг, что краснею.

Абан, посидев еще немного, вышел, оставив меня наедине со своими мыслями и не решаясь требовать у меня тотчас же ответа.

Что же мне делать, как поступить? Я ждала, я хотела услышать от него слова эти и все же была озадачена, когда были они произнесены. И года со дня смерти Касымбека не прошло, а я, что я делаю? Так-то храню верность памяти Касымбека? Хотя бы год минул, как велят обычаи. Хотя бы год, а то ведь два месяца всего, как погиб муж...

Но за эти два месяца мы перевидели столько опасностей, столько пережили всяких бед, сколько в мирное время не пережить и за двадцать лет. А что нас ждет в будущем, доживем ли мы до него?

Знаю, женщины в ауле осудили бы меня, стали бы тыкать пальцем: «Срам какой. Земля на могиле мужа не просохла, а этой сучке невтерпеж, плюет на все наши обычаи». Многие бы так, наверное, сказали. И аул осуждающе покачивал головой, смотрел на меня с упреком из своего мирного далека. Хочется мне принять предложение Абана, но взгляды эти удерживают меня. В то же время мне почему-то не верилось до конца и Абану. Конечно, сегодня предложение его исходило от чистого сердца. Но кончится война, мы вернемся в аул, не прельстит ли его какая-нибудь тонкобровая красотка? Много будет их таких, не дождавшихся с войны своих джигитов. А родственники Абана? Не станут ли подыскивать ему ровню, нашептывая об этом ему каждый день?

Но разве я ему не ровня — возражало все во мне. Годами я и моложе его, но привыкла считать себя старшей, потому что при Касымбеке я приходилась ему «женгей».

Иногда я кажусь сама себе такой старой и многоопытной женщиной, что страшно как-то делается мне. Ничего не осталось во мне от той пылкой юности, которая способна всем восхищаться, легко и светло, пламенно возгораться от соприкосновения с красотой, прелестью жизни и с отвращением и тайным страхом отворачиваться от безобразного. Устала душа.

Уже не всякое слово принимала я на веру, отыскивая в нем потаенный смысл, и не к каждому человеку подходила открыто, а так и тянуло взглядеться глубже, проникнуть в сердцевину его, самую суть.

Может, и это заставило меня промолчать, когда Абан сказал слова, на которые я втайне рассчитывала, и будто сама жизнь вела нас к этому. Я знала Абана, я изучила его. Да, он чистосердечный, открытый парень,

у таких, как говорят, вся душа нараспашку, все на виду. Но и у них бывает свой норов. Знаю, искренен он сейчас, я в этом уверена, а перейдет ли потом искренность эта в долгое и верное чувство? Война ему выбора не давала! Что будет, когда настанут лучшие времена?

Но сколько бы я ни сомневалась, эта война и суровая, нелегкая жизнь за нею и мне не дают большего выбора. Не вековать же мне одной всю жизнь, оплакивая мужа. И сыну моему нужен отец, и дочери моей приемной, мне самой — спутник жизни. Так кого же я могла найти лучше, чем Абан?

Абану было двадцать пять лет, но в душе у него много детского еще. Молчание мое его обескуражило, как бы с ног сбило, он уже больше не заговаривал о женитьбе, робел даже смотреть на меня. Я тоже не знала, как открыться ему. В общем, у обоих не хватало решительности, и оба мы чувствовали себя неловко из-за какой-то недоговоренности. И стала я даже обижаться на Абана — что же это он не решается повторить свое предложение? Пока меня осаждали, мучили чувства эти и мысли, Абан ушел на очередное задание.

На задания партизаны уходят молча. И Абан тоже, отбросив свое обычное шумное многословие, обронил только коротко на прощание:

— К рассвету, наверное, вернемся. Может быть, для ребятшек удастся что-нибудь прихватить.

Он еще что-то хотел сказать, я видела, как он редко и напряженно помаргивал, и ждала, но он, повернувшись, откинул брезентовое полотнище и бесшумно скрылся. Я и раньше всегда желала удачи ему. Теперь же всю ночь я вымаливала то ли у бога, то ли у судьбы, чтобы сохранили они жизнь Абану. Мне казалось, что если он погибнет, то в этом буду виновата и я. Промолчала вчера, и он расстроился, подумал, что поступил опрометчиво и растерялся совершенно по-детски. Лицо, опущенные глаза, руки, плечи его — все выдавало в нем это смятение, как будто он что-то постыдное совершил. На мне этот грех, все из-за меня, из-за того, что не смогла перебороть в себе это странное, нелепое отчасти даже, чувство стыда, которое вскармливали, растили во мне с пеленок. Девочке стыдно вбегать в дом, где сидят взрослые, стыдно бегать вприпрыжку по улице. Не то что целоваться и обниматься с джигитом, нельзя даже посмотреть ему прямо в лицо. Громко смеяться — и то стыдно.

Но я рано подметила, что только на глазах людских да на злом языке держится, распускает свои пышные и болезненные цветы такой стыд. Если же никто не видит, то нечего и стыдиться, некого и стесняться. Те, кто много говорят о стыде, не очень-то, наверное, сами знают, что это такое, и где надо и не надо долдонят: «А что, если кто увидит? А что, если кто услышит? А что люди скажут?»

И я туда же: что скажут люди, которые сейчас на краю света, в ауле? Сколько видела, сколько испытала всего, смертной минутой пытана была, когда ложь, суетность мелких чувств, расчетов, претензий к людям и жизни, подлость, хитрость — все сгорает на последней той грани! — а вот на тебе, уцелело семя предрассудков и глупостей в душе у меня. Вот Света. Горя было у нее много, ошибок, но прямодушна была и чиста. С каким потрясшим меня откровением рассказала она мне о позоре своем. И перед Николаем она не оробела, не попыталась ложью приблизить его к себе. Чем больше я о ней думала, тем больше она возвышалась в моих глазах. Уж она-то на моем месте не стала бы ломаться, не поставила бы в неловкое положение Абана.

Кошки скребут теперь, наверное, у него на душе, терзается, клянет себя: два всего месяца, как у нее погиб муж, я к ней с предложением суюсь. Что же она обо мне, мол, подумает?

А разве он виноват, что полюбил меня, что хотел облегчить печальную мою участь и по доброй воле своей решил взвалить на свои плечи нелегкие заботы о семье? Лишь бы не погиб на этом задании, а уж там я постараюсь быть с ним до конца правдивой и честной.

Так я промучилась до рассвета, проворочалась всю ночь, и когда утром я услышала, что Абан благополучно вернулся, я облегченно вздохнула, и мир стал яснее, надежнее, проще.

Партизаны одевались кто во что горазд. Прежняя солдатская форма давно изорвалась, износилась. У Абана уже не было тех галифе, которые так нелепо утончали его икры и раздували бедра, делая похожим на верблюжонка, с которого еще не состригли шерсть.

Теперь на нем были обыкновенные штаны, которые он заправлял в сапоги, да телогрейка, подпоясанная сырым ремнем. И сам Абан уже не тот, каким встретила я его впервые на пылающей железнодорожной стан-

ции. Лицо его похудело, осунулось, глаза ввалились, и взгляд стал острее. Возмужал джигит, повзрослел.

Но стоило ему обрадоваться чему-нибудь, улыбнуться, как он снова становился похожим на бесшабашного мальчишку, которому все друзья и сам он всем друг.

Я сразу увидела Абана, он торопливо шагал ко мне. Длинные неуклюжие руки его выпростались из коротких рукавов телогрейки. Он напоминал подростка, который перерос свою старую одежку, но лицо у него было серым от усталости и тяжелой бессонной ночи. Мне жаль было его, сердце сжалось. Я улыбнулась ему через силу, удерживая никому не нужные слезы:

— Ну что, живы-здоровы? Вернулись?

— Ничего, нормально все,— сказал Абан. Потом добавил, уже улыбаясь:— Ребятишки наши везучими оказались. Слава богу, вернулся не с пустыми руками.

И он протянул мне небольшой узелок.

— Спасибо,— сказала я.

— Да чего там,— махнул он рукой.

— Устал?

— Да... есть маленько. Стою, а сам не знаю на чем: то ли ноги подо мной, то ли еще что.

— Да ты присаживайся,— торопливо сказала я.— Поедим вместе. Сейчас я вскипячу чай.

— Там не так уж много еды,— пробормотал Абан.— Старушка одна дала. Разохалась, когда узнала, что в отряде двое грудных детишек. Чувствительная оказалась, жалостливая старушка...

Но слова Абана летели мимо меня, я не слышала, не понимала, о чем он говорит... какая-то жалостливая старушка... Куда девалось ночное мое решение быть простой и правдивой? Почему даже здесь, в самой гуще войны, я вдруг обнаружила, что во мне еще живо кокетство? «Чего ты ломаешься, дура? — прикрикнула я на себя.— Кому ты нужна с двумя детьми на руках?»

Чем больше я злилась на себя, тем больше сковывало меня стеснение. Слова не могла выдавить из себя. Абан, наверное, понял, что я почти не слушаю его, потоптался на месте и сказал:

— Ну ладно, пойду я к ребятам.

И с испугом подумала я, что если он уйдет сейчас, то между нами оборвется тонкая, но чрезвычайно важная нить, и я заторопилась:

— Нет, нет... Зачем тебе уходить? Погоди, сейчас я чай вскипачу... Целую ночь в бою был. Я и сама уснуть не могла, извелась от страха. Бог миловал, ты живой, ты здесь...

И Абан остался.

И все-таки было мне не по себе в первые дни нашей совместной жизни. Мне все казалось, что между нами стоит Қасымбек — глазам моим казалось, ушам, телу моему, а больше всего сердцу и все той же совести и стыдливости неискоренимой моей. Днем нас как будто было двое, но ночью появлялся третий. Я вся извелась, не зная, как избавиться от этого наваждения. Не знаю, испытал ли что-нибудь подобное Абан. По-моему, нет. Он был натурой цельной. Наверное, он даже и не подозревал о мучениях моих.

Абан называл меня ласково — Назикеш. Он стал отцом моему сыну, моим супругом, хозяином нашей общей крыши над головой. Но я, наверное, слишком повзрослела и постарела слишком за эти годы, потому что не могла уже, как девчонка, ласкаться к нему. Второй мой брак, я чувствовала, не будет уже таким, как первый. Ушедшее не вернешь.

Я вышла замуж за Қасымбека молоденькой, совсем еще девчонкой, мне шел всего восемнадцатый год. Қасымбек был старше меня на семь лет, многое повидавший уже мужчина, и я полностью подчинилась его воле. Если бы остался жив, все бы, наверное, у нас так и продолжалось.

Второй раз я вышла замуж взрослой уже женщиной, помудревшей с годами, набравшейся за короткое время тяжелого опыта военного лихолетья. Как бы ни ласкал меня Абан, называя уменьшительными, милыми именами, все равно я чувствовала себя старше. Таким отчаянным открытым парням, как Абан, считала я, нужны опекуны, пусть и не очень старые, но надежные, повидавшие кое-что в жизни. Если для Қасымбека я была неразумным ребенком, то для Абана судьбой самой отводилась мне совсем иная роль...

Нехотя наступил еще один вялый рассвет. Кончились мои запасы еды. Сколько ни экономь, но из коротенькой нитки узелок не завяжешь. Черствый кусочек хлеба размером с детский кулачок — вот и все мои запасы на черный день, светлых-то у меня почти не бывает,

Когда теперь начнут искать меня партизаны, которым все время приходится отбиваться от врага?

Я бы еще продержалась некоторое время на голодном пайке, но двое малышей сводили меня с ума. Чем мне кормить их, когда в высохших грудях не осталось ни капли молока? Отдать последний кусочек хлеба, а остальное предоставить судьбе? Я-то уж как-нибудь, лишь бы дети выдержали, вынесли страшные муки голода.

Откусив кусочек, я стала жевать, собираясь сделать рожок. Кисловато-сладкий вкус хлеба разжег во мне голод, и я чуть не проглотила те крошки, которые были у меня во рту. Я подумала, что, если я не буду осторожной, этот крохотный хлебец в мгновение ока исчезнет и детям ничего не достанется. Я закрыла глаза и посидела немного, пытаюсь унять боль в желудке, она дремала до поры до времени, эта боль, но теперь, раздраженная запахом хлеба, стала ворочаться во мне, подниматься во весь рост, у меня даже в глазах позеленело, и липкий пот выступил на лбу.

Зверовато, зорко следил за мною Дулат, и увидев, что я перестала жевать, тотчас же полез к груди, мне было все еще тошно, и я оттолкнула его, он расплакался. Маленькая Света, которая подалась ко мне с другого бока, нерешительно остановилась. Дулат перестал плакать, почувствовав, что я не смягчусь, что мне не до него сейчас. Закрыв глаза, стиснув зубы, я молилась, чтобы кончились мучения эти, чтобы скорее пришли наши войска. Господи, я не могу же, ты видишь, во мне вскипает какая-то глухая неприязнь к сыну своему, дочери, а ведь я не то чтобы последний кусочек; последние силы, жизнь готова была отдать им! Сколько же еще терпеть всем нам?

Выжить бы, не упасть, выдержать эти последние дни. Может, мне и повезет. Ведь и раньше я бывала в самых жестоких переделках. Если Абан не погиб, он непременно нас разыщет. Лишь бы уцелел. И я прислушивалась к каждому звуку снаружи, к каждому шороху, вздохам лесной влажной подстилки. Прошло уже больше двух дней с тех пор, как я укрылась в этой землянке. Стал одолевать уже страх: может быть, Абан, спеша ко мне, нарвался на немцев? Нет, он осторожен, он зорек, у него опыт настоящего партизана. Тогда... Почему же он не приходит? Давно уже должен был он прийти. Если, конечно, жив... В какой-то момент мне почудился снаружи

шорох, осторожные шаги, сердце мое дрогнуло. Я вскочила на ноги, но, оказывается, это завозились в углу дети. Со злости и отчаяния я чуть не побила их.

Потом опять послышался звук снаружи. На этот раз явственно донеслись чьи-то тяжелые шаги, и совсем близко от землянки.

Я метнулась было к двери, но замерла на месте, чувствуя, что меня всю колотит. А вдруг это немцы? Кто-то уверенной рукой открывал замаскированный лаз... И вдруг — родной, долгожданный голос:

— Назикеш!

Я почувствовала такую слабость, что без силы опустилась на землю. Потом увидела длинные ноги Абана, который спускался в землянку, и потеряла сознание. Может быть, это длилось одно мгновение, потому что вдруг ощутила терпкий вкус мужских губ. Наконец я пришла в себя, но не отпускала Абана. Он как будто даже стал ниже ростом. Уткнувшись лицом в его плечо, я простояла так некоторое время, чувствуя, как невероятно тяжелый груз свалился с моих плеч. Абан молча гладил шершавой рукой мое лицо. Принюхивался к волосам. И во мне впервые, кажется, из глубины поднялась и теплом разлилась по сердцу нежность к этому человеку.

Мы решили остаться в землянке до вечера. Вражеский патруль находился где-то за лесом, а в самом лесу немцев не было, да к тому же и день выдался пасмурный. Так что мы без особых опасений развели костер. И я, и детишки, двое суток боявшиеся высунуться из землянки, с облегчением вздохнули, когда увидели огонь. Мы подвесили на жерди котелок с водой, чтобы вскипятить чай. Кое-какая еда нашлась в вещмешке у Абана.

От огня приятно веяло мирным теплом, и мы, продрогшие на холоде, тянулись к нему, особенно лезли к костру малыши. Я даже боялась, как бы они не обгорели. Дулат уже успел сжечь полу чапана, который я сшила ему из толстого одеяла. Было хорошо, и душа была полна того тихого удовлетворения, которое испытывает казашка, муж которой вернулся с дальнего базара и навез в дом всякого добра. Все мы немного подкрепились, малыши тоже усердно жевали и, судя по выражению их сияющих, веселых мордашек, были рады переменам в нашей жизни.

Абан сидел, поджав под себя ноги, как и положено сидеть хозяину дома, на коленях пристроил Дулата и

Свету и без умолку говорил, то и дело поглядывая на меня. Мне было приятно слушать его, и говорил он о вещах приятных: фронт уже совсем близко, и наши войска дня через два-три будут здесь. Это у немцев была последняя попытка покончить с партизанами. Они уже собираются бежать.

— Если все будет хорошо,— улыбался Абан,— дома скоро будешь.

И странно подействовали на меня эти слова! Я так долго добираюсь в степи мои, что кажется, их нет вообще на земле, так долго жила и умирала во мне надежда попасть домой, что теперь, когда она рядом, я не обрадовалась, не захлопала в ладоши. Горько стало мне отчего-то, защемило сердце. Наш израненный лес показался мне вдруг юртой, в которой мы сидим по-домашнему и беседуем. И я подумала: разве могу я не благодарить судьбу за то, что среди этого безумия, огня и хаоса я уцелела, сижу живая у очага, обнимаю своих детей, а рядом — мой муж?

Эта лесная, разоренная страшным нашествием земля столько заставила меня страдать, столько вынести, такую бездну горя и такие вспышки радости, мгновений счастья дала она мне, что легко, беспечально покинуть я ее уже не могла. Срослась с нею горьким и светлым родством.

Наша землянка совсем преобразилась. В ней запахло жильем, стало уютно и хорошо. Не хотелось уходить из нее. Ребята мои наелись и теперь спали.

И Абан, видя мирную эту картину, заговорил со мной горячо, взволнованно, в первый, наверное, раз так с тех пор, как мы поженились:

— Через день или два, когда придут наши войска, думаю, дадут мне месяц отпуска, и я отвезу тебя с ребяташками домой. Я говорил уже об этом с Носовцем, так он вроде не против. Погрозил сперва, правда, пальцем: «Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Надо сначала из окружения выйти». А сам смеется. Конечно, отпустит. Куда мы прежде всего поедем, в наш аул или в ваш?

Вопрос был для меня неожиданный. Раньше, когда я в подобных случаях молчала, Абан терялся, начинал беспокойно ерзать, вопросительно поглядывать на меня. Сейчас он вел себя по-другому, заговорил уверенно и спокойно, как человек, у которого в руках власть.

— Нет, сначала надо в ваш аул заглянуть,— усмех-

нулся он.— В конце концов, надо же мне показаться твоим родителям и родственникам. Это мой долг. А потом мы поедem к нам. Оставляю тебя у своих стариков, а сам на фронт вернусь.

— На фронт...— эхом повторила я.

Абан заметил, что я переменялась в лице, но не угадал, не понял, чем вызвана эта бледность.

Прищурившись, он спросил:

— Может, ты не хочешь оставаться в нашем ауле?

— Да нет, что ты,— торопливо ответила я.— Только бы дожить до такого дня. И потом... наш аул далеко от станции, а впереди зима.

— А-а-а,— протянул Абан.— Наш аул тоже не близко от железной дороги.

— Вот видишь.

Абан задумчиво почесал затылок, потом рассмеялся:

— Ну ладно, пока не будем об этом говорить. Сначала надо вырваться из окружения. Верно ведь сказал Носовец, а?

Абан со смехом обнял меня, притянул к себе, и я крепко прижалась к нему. Он, наверное, впервые настоящему почувствовал, что он муж мой, моя опора, хозяин мой, повернул мое лицо к себе и стал целовать. И мне приятны были его крепкие объятия, его поцелуи, колючий небритый подбородок.

Задремав, я вскоре очнулась. Тревожно что-то было. Приподнявшись, я прислушалась. Рука спавшего Абана сползла с моей груди, он спал как убитый. За двое суток боев ему некогда было передохнуть. А когда оторвались от врага, он не прилег, а побежал к нам. Я посмотрела на него. Абан спал безмятежно, даже причмокивал во сне. Не знаю, понял ли он, что только сегодня я вся раскрылась, отдалась ему безоглядно уже? Во сне лицо его было похоже на лицо ребенка, который уснул, чем-то обрадованный, и проснется с радостью.

Я все смотрела на него, и Абан вдруг поднял голову и беспокойно огляделся. Сообразив, где находится, он протер кулаками глаза и проснулся окончательно.

— Мало совсем поспал, отдохни еще,— попросила я.

— А? Да нет, я уже выпался. Ах, черт, поздно уже как! — спохватился Абан, окончательно просыпаясь.

А мне никуда не хотелось уходить из этой землянки. Я подумала даже: а не переждать ли нам здесь два-три дня? Зачем испытывать судьбу, подставлять свои головы

под пули? Можно ведь и отсидеться потихоньку в лесу, пока наши не придут. И я сказала об этом Абану.

— Нет! — резко оборвал меня он. — Это ты брось! Носовец велел вернуться к ним сегодня ночью. Как хочешь, а чтоб на месте были. Им нелегко. Людей мало осталось.

— Все равно еще рано, — попыталась я задержать его. — Успеем.

Но Абан уже был на ногах.

— Вот и надо пораньше подойти к краю леса да разведать места, направление надо определить. А то ночью и заплутать недолго.

Я больше не спорила. Мы, выбравшись из землянки, отправились в путь. Дулат был потяжелей, его нес Абан, а я несла Свету.

В лесу было сыро, ноги вязли, и идти было нелегко. Трава пожелтела, поблекла, листья опали, и, как журавлиные ноги, голо вытянулись стволы деревьев. Сквозь низкие, обложные, тяжелые тучи изредка проглядывало неласковое октябрьское солнце и тут же исчезало надолго. Серая мгла застилала, глушила окрестность.

Абан на длинных своих ногах все время вырывался вперед, а потом останавливался и дожидался меня, заботливо спрашивая:

— Ты как, не очень устала?

— Нет. Только ты быстро идешь, я не успеваю за тобой.

— Ничего, скоро выйдем из леса и там передохнем.

Я шла пригнувшись, глядя в землю, чтобы не споткнуться о кочку или о корень, и не заметила, как Абан вдруг остановился. Он толкнул меня в плечо и приглушенно сказал:

— Ложись!

В испуге я взяла Свету на руки и повалилась на землю. И падая уже, я услышала какие-то негромкие голоса. Тут ко мне подбежал Дулат и ткнулся в плечи. И в следующее мгновение я вздрогнула от резкой автоматной очереди.

— Спрячься за деревом! — крикнул Абан.

В трех шагах от меня стояла толстая сосна, и я ползком добралась до нее. Абан прятался за деревом потоньше неподалеку от меня. Он снял с плеча автомат и приготовился стрелять.

Автоматные очереди раздавались все ближе, но пули

пока пролетали высоко, смачно впиваясь в деревья. Абан привстал на колени и повернулся ко мне:

— Теперь нам не уйти. Только не шевелись! Я их уведу отсюда.

Я уложила детей у самого основания толстой сосны и накрыла их своим телом. Абан еще раз обернулся и махнул рукой, мол, не шевелись, а сам рванулся вперед, добежал до другого дерева и упал.

Голоса немцев доносились до меня теперь отчетливо. Они шли как будто в нашу сторону, но я их не видела — во все глаза смотрела на Абана. Он приподнялся, приложил автомат к плечу и дал две короткие очереди. И вдруг застыл, замер, то ли автомат у него заело, то ли патроны кончились. Не зная, как помочь ему, я приподнялась на четвереньки, да так и застыла. Абан судорожно возился с автоматом, склонившись над ним. Я видела только его голову, втянутую в плечи, да локоть, быстро снующий туда-сюда. Вдруг он поднял зачем-то голову. Я хотела крикнуть ему, чтобы поостерегся, но голос пропал. Тут снова полоснуло очередью. И Абана словно кто-то ударил в лоб, дернувшись, он откинулся назад, а потом свалился на правый бок...

А я все стояла на четвереньках, не в силах ни встать, ни лечь, прижаться к земле. Абан лежал неподвижно, вытянув длинные ноги, будто вдруг крепко уснул, так крепко, что даже не чувствовал, как неловко запрокинулась у него голова.

Еще через какое-то мгновение я машинально оглянулась. Кто-то в зеленой шинели, в каске и с автоматом наизготовку вышел из-за дерева. За ним показались еще трое. И только тут до меня дошло: Абан погиб, а эти люди — немцы. Не помню, испугалась я или нет. Немцы больше не стреляли. Переговариваясь, они подошли к Абану. Один из них пнул ногой безжизненное тело и буркнул зло:

— Капут!

И тут один из немцев пошел прямо на меня, выставив автомат, и я подумала, что это конец, сейчас пули прошьют меня. Тело сжалось в комок. Немец держал палец на спусковом крючке, но пока не стрелял. А я ждала: «Сейчас, сейчас...» Каждый его шаг наполнял меня ужасом, пожалуй, большим, чем сам выстрел. Я успела разглядеть его лицо, холодное, белое, как сама смерть. И оно приближалось ко мне. Дети... промелькнуло в го-

лове. Пошарила руками или нет, не знаю, они оказались под боком. Я сильнее стиснула их, спасая от пули. На мгновение забыла о себе, что убьют меня сейчас. Как спасти детей?.. Как им сказать это?! «Боже мой, неужели не спасешь нас,— мелькнуло у меня в голове.— Неужели не пожалеет? Ведь он тоже человек».

Как ему растолковать, на каком языке, что я хочу жить, это единственное мое желание. Но что я могла сделать, вся парализованная страхом? И я ухватилась, как бывает в таких случаях, за единственную спасительную соломинку — надо глядеть ему прямо в глаза. В глаза...

Слепое, но могучее чувство, сохранившееся где-то внутри у меня, повелевало: «Смотри ему в глаза! В глаза смотри!» Вся жизнь теперь зависела от этого. Если мои глаза встретятся с его глазами... И я поймала его взгляд. Жидковатый блеск его голубых глаз отливал холодком, будто и не живой это взгляд, а какой-то стеклянный. Но все равно я продолжала смотреть на него в упор.

В моем взгляде, наверное, было все, что мог сказать человек перед смертью, даже больше того, мои обезумевшие глаза говорили и о том, чего не выразишь словами. Я стала отчаянно искать его зрачки. И вот взгляды наши слились воедино, я замерла, боясь шевелиться. Если я отведу глаза, его палец нажмет на спусковой крючок. Его глаза, сначала остановившиеся на мне с безразличием, вдруг ожили и стали как-то странно расширяться. Я почувствовала, что он и сам испугался того, что хотел сделать. Что-то перевернулось у него там, в душе. Он с трудом оторвал от меня свой взгляд, повернулся и пошел прочь. Снова раздались голоса. Спорил он с остальными или нет, я не знаю, но он увел их за собой.

Они постояли еще немного, потом развернулись и ушли...

Я простояла еще на четвереньках некоторое время, потом силы оставили меня, и помню только, что как подкошенная свалилась на сырую землю.

Темно. От лавины несущихся коней содрогнулась земля, раздалось пронзительное ржание. Я не различала их на фоне сумрачного неба, только видела их размытые контуры, развевающиеся по ветру гривы и хвосты.

Бесконечными волнами перекатывались они по равнине. И я покачивалась на этих волнах, убаюкивали они меня и увлекали за собой. Трубно ржали жеребцы. Звуки эти опережали табун, уносились вперед и пропадали вдаль, а в ушах моих оставался топот копыт. И меня несло, и мне было страшно видеть кипящую внизу землю и знать, что я могу свалиться под копыта коней.

На какое-то время кони замедлили свой бег, и топот копыт стал реже, стройнее, тише. Неожиданно дорога показалась мне знакомой. Да, когда-то и раньше я вот так же покачивалась на волнах, в самой гуще скачущего табуна. И так же пронзительно ржали кони...

Я спала, но все равно чувствовала, что вижу сон, который видела уже и раньше. Проснулась я потому, что весь табун вдруг заржал в каком-то смятении...

Пронзительно загудел паровоз. Поезд набирал скорость, колеса отстукивали частую дробь. Наступил рассвет, в вагоне светлело. Три дня я уже еду в этом тесном вагоне. Просыпаюсь, засыпаю и опять просыпаюсь. Воздух тяжелый, спертый, дышать трудно. Вагон так переполнен, что яблоку негде упасть. Проснувшись, я начинаю вспоминать, куда еду.

Еще все спали, только у дверей кто-то возился, доносились неясные какие-то звуки. Я подняла голову и осмотрелась. В полутьме мне показалось, что вагон набит не людьми, а мешками, туго завязанными.

Никто не лежал, все спали сидя, кое-как устроившись. Кто сидел, прислонившись к стене, кто полулежал, кто положил голову на плечо соседу.

Нижняя полка вся целиком досталась мне. Я разместила на ней детей и сама пристроилась рядом. Хоть и тесно, но можно было вытянуть ноги.

Я не просила эту полку. Но когда попутчики узнали о том, что со мной было, они сами отдали мне ее. Одно только усложняло дело. Люди, узнав, откуда я ехала, дотошно стали выпрашивать, как там да что, поднимая во мне тяжелые воспоминания. Интересовались они и Светой, и мне пришлось рассказать, что мать у нее погибла, была разведчицей.

Спрашивали и про моего мужа. Тоже погиб, отвечала я, командиром был. Что такое для них Касымбек или Света? Разве все о них расскажешь? Как им объяснить? Был партизанский отряд, сражался с немцами, и почти все погибли. Чудом спаслась одна только женщина с

двумя детьми и теперь вот возвращается к себе на родину. Для них это маленький осколочек нескончаемой великой войны, послушают сегодня, поглядят на меня, а завтра забудут. Только я никогда не забуду своих Касымбека, Светы, Абана, тети Дуни, женщин полка, которые были со мной в самом начале войны.

Нашу начальницу Елизавету Сергеевну, Алевтину Павловну, добродушную, тихую Ираиду Ивановну. Живы ли они? Какова их судьба? Мария Максимовна, которую мы называли Мусей Строптивой, убита. Дочь осталась у нее, сирота. Прошка погиб совсем молодым. Я не видела его матери, но он так много о ней рассказывал, что она как живая вставала передо мной. Она, наверное, была похожа на Ираиду Ивановну, покладистую, тихую многодетную женщину.

Так и стоит у меня перед глазами Прошкино детское, не возмужавшее еще лицо, впавшие щеки, а нижней губы почти не видно. Он погиб, избавив от позора несчастную мать, братишек, сестер. Теперь никто не скажет о его матери, что она жена предателя-полицая; наоборот, станут уважать ее, как мать молодого, героически отдавшего свою жизнь за Родину партизана...

Белый как лунь старик Кузьмич... Он после смерти Абана разыскал меня и вывел из леса...

Три дня я уже еду в многолюдном вагоне, но меня окружают не эти, а те люди, что остались в лесу, живые и мертвые... мне грустно, тоска порой одолевает меня. В эти мучительные, нескончаемые два с половиной года я так мечтала попасть в свой родной аул... а теперь, когда до него рукой подать, почему-то нет во мне нетерпеливого ожидания встречи с родными...

Бабушка Камка. Постарела, наверное, очень. Сеилхана-ага с его незадачливым ровесником Альмуханом, наверное, забрали в армию. Живы ли они?..

Заставляю себя думать о людях своего аула, но мысли уводят меня в другую сторону, в другие места, в недалекое прошлое мое, будто все главное осталось там... судьба моя, и то, чего так ждут от меня эти люди.

Я ушла далеко, задумалась и не заметила, как совсем рассвело. В вагоне проснулись, и каждый занялся своим делом. За эти три дня я до тонкостей изучила дорожную жизнь. Если попадается большая станция, то все, у кого есть посуда, бегут за кипятком. Потом все раскроют свои сумки, развяжут узлы и примутся зав-





тракать тем, что, как говорят, бог послал. И перед войной у нас особого изобилия не было, теперь стала жизнь несравненно труднее. Но даже нужда не может уравнивать всех людей.

Одни доставали из сумок колбасу или консервы, другие лепешки, яйца, третьи жевали черствый хлеб, уткнувшись каждый в свою еду, пряча глаза, будто ели украденное. А те, у которых вообще ничего не было, поднимались и деликатно уходили со своих мест, старики делали вид, что дремлют. Здесь не выкладывали все на общий стол, как у нас в лесу.

В Москве нам выдали сухой паек, так что и мы были не с пустыми руками, но есть его одним было как-то неловко.

— Соленого огурчика не хочешь?! — обратилась ко мне старушка, сидевшая напротив. — Хочется, поди, солененького, а?

Она вытащила из стеклянной банки огурец и протянула его мне.

Я еще вчера заметила эту банку с огурцами, и до того мне захотелось попробовать соленого, что даже слюнки потекли. Увидев, с какой жадностью я набросилась на огурец, она сказала:

— Аль ты беременная никак? Ну так что ж... Молодая, как же без этого. А муж-то у тебя есть? Где он?

И она забросала меня вопросами. Очень уж любопытная старушка попалась. Каждое свое слово она сопровождала жалостливым причмокиванием и вздохами. Кое-как я отделалась от нее и задумалась над собственным положением.

У меня были подозрения, что я беременна, и это меня сначала расстроило. Мало мне двоих сироток, так еще и третий появится. Так что мне, бедной вдове, в такое трудное время придется поднимать на ноги сразу троих. Как же я управлюсь?

Потом другая мысль пришла, и я даже рассмеялась. Что такое трое детей в мирное, пусть и голодное, время для человека, который выжил, уцелел в самом пекле войны с двумя грудными? Да можно вырастить не только двоих-троих, но и десятерых!

Главное, добраться до аула, а там пусть хоть гора свалится на голову, все равно на мою долю не выпадет и половины того, что пришлось мне пережить. И суровое, тяжелое прошлое мое поможет не падать мне духом.

Подумав так, я успокоилась. Еще совсем недавно не верила я, что останусь жива, вернусь домой из тех мест, которые и во сне прежде не снились.

И еще я везла с собой память о Свете, которая была мне подругой, память о Қасымбеке, который взвалил на себя все тяготы и заботы обо мне. Сейчас их нет рядом со мной, но зато есть память о них, они не умерли для меня и никогда не умрут, дети продолжают так рано оборванные их жизни.

Абан... И он был таким же молодым и едва успел обзавестись семьей... Если все сложится благополучно, останется и его ребенок. Овдовевшие хозяйки говорили раньше: «Я не покину этот дом, чтобы свет очага моего мужа не погас». И, может быть, сама судьба оставила меня в живых, чтобы я берегла свет их очага. Мне сейчас только двадцать один год, но я старше этих женщин, которые смотрят на меня жалостливыми глазами и жадно расспрашивают, как было там, за линией фронта, и невольное восхищение и боязливая зависть сменяют друг друга в их глазах. Несколько раз я стояла на краю жизни и смерть дышала мне холодом в лицо. Я успела два раза побывать замужем и потерять своих мужей. Я узнала радость любви, материнства. Не знаю, чего было больше в моей жизни, радости или мучений, но все воспоминания были мне близки и дороги.

Погрузившись в свои думы, я и не заметила, как поезд остановился. Какая-то знакомая станция. И правда, ведь скоро уж должен быть дом, потому что вчера проехали Оренбург.

Я увидела за вагонным окном разбросанные как попало приземистые домики, кривые грязные улочки, покрытые недавно выпавшим снегом, но уже затоптанным ногами людей и скота. Какая-то казашка вела за руку ребенка, путаясь ногами в собственном подоле. Старая телогрейка топорщилась на ней. Да, это была станция Мартук.

«Когда мы ехали с Қасымбеком на его службу, тоже останавливались здесь. И ничего-то не изменилось с тех пор. Тогда был март сорок первого. Неужели прошло всего два с половиной года?»

Как я страшилась тогда дальней дороги, железного ее гула, новизны ее. Испуганно, с радостью робкой и свежей поглядывала я из окна на эту станцию... Еще немного, и я буду дома, в родном ауле. Но радость,

явившаяся сейчас ко мне, была осенней какой-то, усталой. Аул был для меня все так же далеко, как и прежде. Неужели я настолько оторвалась от него, что никогда к нему вновь не привыкнути мне?

У меня было такое ощущение, что целая жизнь прошла с тех пор, как я уехала из аула, и аул стал другим, и я совсем уже другая.

Желторотый цыпленок, который испуганно поглядывал на белый свет, наивная девушка, выпорхнувшая из родного гнезда, умерли в русском лесу, в аул возвращалась уставшая, много повидавшая многодетная вдова.

Я подумала: завтра, когда тетушки начнут обнимать меня и причитать, из глаз моих, наверное, не упадет ни слезинки. Чувствительные казашки аула падки на слезу, заплакать им ничего не стоит... А вот из меня трудно слезу вышибить, в этом я уже убедилась...

В вагон вошла русская женщина, за руку она вела маленькую девочку лет пяти или шести, закутанную в большой пуховый платок, концы которого крест-накрест были завязаны за спиной. Просто узелок да и только, узелок с ножками. Едва они вошли, как девочка захныкала, требуя развязать платок. Мать чем-то отвлеклась, тогда девочка притопнула ногой и стала кричать.

Что-то дрогнуло во мне и мелко стало дрожать в груди, мне вспомнилась вдруг крохотная Парашка. В таком же вот платке, завязанном за спиной крест-накрест, она колом вкатывалась в дом тети Дуни и требовала развязать его. Я вспомнила, как она кричала на краю оврага: «Дяденька, не убивайте! Дяденька, не убивайте! Дяденька, я вам песенку спою!»

Я так стиснула своих детей, что они начали вырываться из моих рук и смотреть на меня с недоумением и обидой.

Под пятнами мокрого снега простерлась во все концы широкая казахская степь, прихваченная первым дыханием зимы. Все было знакомо, все как прежде. Я видела ту самую землю, по которой с древних времен кочевали наши предки. Верблюды, груженные тюками, переваливали через эти бесконечные холмы. Шагая друг за другом, они были похожи на вереницу гусей в небе.

Сколько скота перегнали люди по этой степи, сколько вечеров и ночей провели в ней! Вот идут понуро караваны откочевывающих подальше от своих джайляу найманов. Из-за жестокого, ненужного убийства молодой пары

они не смели взглянуть в лицо старшим родичам и уходили от дедовских становищ. Всего из-за двух людей, павших от их руки. Но пролилась кровь, и смерть разделила родичей на два лагеря. Стыд за невинно пролитую кровь вынудил целый род сняться с места. Если бы стыд, который жег найманов, передался бы всему роду человеческому!.. И помнил бы каждый, какой это грех — невинно пролитая кровь.

Я очнулась от видений своих, когда услышала детский капризный голосок:

— С мальчиком буду играть. С маленьким мальчиком хочу играть, мама! И с девочкой хочу играть!

Это была та девочка, которая вошла недавно в вагон. Мать уже сняла с нее платок. Девочка была рыженькая, круглолицая, и сходства с Парашкой в ней было немного.

— Перестань, сиди спокойно,— стала уговаривать ее мать.

— Людям ноги негде поставить, а ты играть. Ишь, разошлась! Это тебе не на улице.

Но девочку не так-то легко было уговорить.

— Нет, я буду играть. Пусти меня к мальчику.

Мои дети, никогда не видевшие других детей, сидели тихо.

— Да пусть играют,— сказала я.— Пропустите ее.

Однако мои двое не очень-то приняли чужую, они как бы сжались и оцепенело сидели, но та не обратила на это никакого внимания. Главное, что ей разрешили играть, и она подошла к нам и сказала:

— Ты, мальчик, откуда едешь? А? Ты чего молчишь? Ты разговаривать не умеешь?

Дулат, конечно, уже научился говорить, но девочке не отвечал, только молча таращил на нее глаза.

Всегда находятся люди, которые любят отвечать за других. Какой-то мужчина ответил за Дулата:

— Этот мальчик едет с фронта.

— С фронта? — переспросила девочка.— Нет, маленькие дети не ездят на фронт. И с фронта не ездят.

— Почему? Всякое бывает. Он родился на фронте.

— Не-ет,— протянула девочка.— На фронте дети не рождаются. Там во врага стреляют. Там солдаты воюют.

— Нет, он родился в самом пекле войны. Поэтому он закаленный,— не унимался словоохотливый мужчина.— Завтра вот из таких, как он, выйдут настоящие солдаты. Они и на фронте отлично сражаться будут.

— Да тебе что, этой войны мало? — сердито оборвала его старушка, которая угощала меня соленым огурцом.— Чего беду накликаешь на головы этих невинных? Гляди-ка, разговорился он. Разговорчивый какой.

Старушка долго еще ворчала, косясь на мужчину. Показалась кондукторша, она с трудом протискивалась по проходу, громко объявляя:

— Подъезжаем к станции Актюбинск. Пассажиры, выходящие на этой станции, приготовьтесь!

Это была наша станция. Наконец-то мы добрались. До аула теперь рукой подать...

ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Вероятно, одна из характерных особенностей искусства конца XX века — одержимость, с которой углубляется оно в колодезь прошлого, способного становиться живой и трепетной частицей настоящего, бросая свой ответ также и на образ еще не сложившегося будущего. Кроме того, необходимость оборачиваться к событиям минувших дней бывает вызвана зачастую особым отрезвляющим воздействием дистанции. Она сменяет первоначальное, оглушающе острое переживание всякого явления умудренной пристальностью взгляда к тончайшим, хрупким нюансам его осуществления, которые прежде оставались в тени глобальных событий. Так вышло, допустим, с темой революции и гражданской войны, когда литература занялась их отражением в индивидуальной судьбе и трагизмом восприятия единичным сознанием безумной ломки всего привычного, налаженного порядка вещей. Так появились «Тихий Дон», «Города и годы», «Старик». Нечто подобное должно произойти, разумеется, и с темой Великой Отечественной войны. В грандиозном столкновении двух великих армий была выхвачена и приближена к нам личность, вновь обретая свой статус величины первостепенной значимости в литературе. В произведениях Быкова, Бондарева, Бакланова, Васильева, Кондратьева был достойно и правдиво воплощен образ рядового творца Победы, когда из своей безымянной многоликости он выступил на гребне предельной ситуации сгустком духовной силы народа, решающего фактора в исходе войны.

И это, однако, еще не явилось завершающим словом в развитии военной темы советской литературы. Думаю, в 70—80-е, пронизанные неким всеобщим экологическим мотивом, когда свою главную заботу культурная мысль видела в том, чтобы спасти человечество как род в его духовной целостности, и все усилия литературы были направлены на возвращение первоизданной сути этому понятию, думаю, в это время вполне закономерно было подойти к теме войны уже не в аспекте победы над ужасом смерти и проявления самых высоких свойств духа, а в аспекте естественности самого соединения двух этих образов: войны с фигурой человека. Здесь возникает тема поправной, но несломленной человечности, которая стремится прежде всего сохранить на земле жизнь и живое, проходит сквозь кровь, огонь и все ужасы, противостоя чудовищу войны не силою оружия, а только своим существом — надеждой спасти жизнь, ее ничем не извращенный смысл. В этом своеобразии третьей точки зрения на войну — ее мертвенное нутро обнажается особенно явно в столкновении со своей противоположностью — жизнью мирного населения, которое и в гуще самого пекла упорно пытается сохранить свои здоровые, естественные устои и гибнет в этой безуспешной попытке.

Так, вобравшая в себя свидетельства уцелевших жителей сожженных белорусских сел книга «Я из огненной деревни» Адамовича, Брыля и Колесника потрясает не одним описанием варварской жестокости истребления незащитных людей. Но ведь это рассказывается нам об уничтожении целых крестьянских семей — на редкость прочного и гармонично устроенного организма, обладавшего, как правило, большой разветвленностью и жизненной устойчивостью. Организма, который этой своей гармоничной завершенностью был надежен, свят и, казалось, вечен и с этой крепкой верой цеплялся за свой заведенный

уклад, пытался его сохранить даже в окружении оккупантов и вдруг, в одно страшное, неожиданное мгновение, сгорал, пропадал навеки в пламени запаленной родной избы.

Сращенный через землю с самой жизнью, мудрый и прочный мир крестьянской семьи — самое жизнестойкое, миролюбивое и беззащитное звено человечества, разрушаясь, словно говорит о разрушении всего мира.

Образ исчезающих в дыму и пламени людей, становящихся золой и пеплом, а когда-то деятельных и полных жизни, в наши дни этот образ уже произвольно прочитывается как обобщенный символ возможной судьбы всего трудолюбивого и талантливоего рода человеческого. Образ, в котором, возможно, воплощена одна из главных тревог XX века.

Подобный же поворот военной темы должен был, разумеется, неминуемо проникнуть и в художественную прозу. Так, новый роман известного казахского прозаика Тахави Ахтанова — не о войне раздумья, не о мужанин воли среди грохота и взрывов снарядов, под реющим призраком смерти и не о подвигах славных и безвестных защитников Родины. Автор, казалось бы, сохраняет всю атрибутику «военной прозы»: из военного гарнизона близ Бреста мы попадаем в захваченную оккупантами белорусскую деревушку, а оттуда — в лес, к сражающемуся партизанскому отряду, но знакомые приметы жанра здесь присутствуют на вспомогательной роли. Роман написан не о войне, а о жизни. Как высшая ценность, как священное дело и назначение человека в нем утверждается жизнь. Именно из идеи сопротивления небытию, из естественного стремления человека жить и выжить хоть в самом аду вырастает книга Ахтанова. И это поэтическое чувство-мысль, которое, как в стихотворении, держит на себе все здание книги, отличает ее от произведений прозы чисто «военной». Все грозные и трагические события, боевые вылазки партизан, казнь жителей деревни, где уничтожено было

фашистское руководство, мы получаем через восприятие героини романа, молодой матери-казашки, которая с младенцем на руках пробирается к родному аулу через горящую землю Белоруссии. Этот образ, активно противостоящий хаосу и насилию, выделяет по-новому бессмыслицу войны. Назира, юная жена командира Красной Армии, всего три месяца как впервые ступившая за пределы дома и очутившаяся в дважды ей чуждой реальности — ином, к тому же охваченном войной крае, — не просто некое лицо, повествующее о своих испытаниях. Она — мать, защищающая жизнь своего ребенка, а значит, сила, достойная на равных соперничать со смертью.

Сравнительно короткий промежуток мира и затишья принес человечеству столько проблем почти неразрешимой сложности, так недвусмысленно и остро свел воедино вопрос прогресса и угрозу самоистребления, что человечеству невольно пришлось ощутить себя в положении скорпиона, который ядом своим, по поверью, поражает себя же самого. Возможно, всего за мгновение до взрыва, наблюдая с разных сторон грозные симптомы, человек задается вопросом: для чего он появился на свет — для бесславной гибели, чтобы стать жертвой собственного хитроумия, или был он достоин другого удела?

Свой ответ литература пытается найти в уроках минувшей войны. Тогда, в атмосфере узаконенного зверства, в ситуациях, не оставивших, казалось, надежды, теряя дом и родных, люди сохраняли мужество и веру. В «Свете очага» читатель видит отражение катастрофы через восприятие, максимально приближенное к его собственному, с той же степенью неподготовленности, незащищенности от ее ужасов. Этому способствует особое положение героини Ахтанова. Назира до конца так и не порывает связи с нормальным, естественным процессом человеческой жизни. В гуще партизанских боев и расправ над мирными жителями она вынашивает ребенка, на-

ходит мужа и каким-то чудом ухитряется под-
держивать свой хрупкий семейный очаг. Она не
может взять в руки оружие и святым, правед-
ным гневом воина и мстителя оградить свое
сознание от кошмаров военного времени: не-
лепых смертей, предательств, изуверства за-
воевателей. Наивная казашка из аула, едва
знающая чужой язык и нравы, не умеющая
хотя бы слиться с толпой, в ней затеряться,
юная женщина в огромном мире, хранимая от
гибели только чудом и материнским инстинк-
том, она может лишь смотреть вокруг с чув-
ством свежим и чутким к трагическому абсур-
ду происходящего.

Эта книга как бы окончательный расчет
писателя с войной, которая была когда-то
частью его судьбы, в результате чего и по-
явился первый роман Ахтанова о войне —
«Грозные дни». Это первое обращение к воен-
ной теме носило явную печать настроения тех
лет, 50-х, — всеобщего энтузиазма и подъема
духа от бодрящей радости победы. Настрое-
ние совпадало с оптимизмом и уверенностью
самого молодого автора, офицера, участника
недавних боев. Теперь же, тридцать лет спу-
стя, с высоты своей нынешней умудренности и
умудренности своего времени, Ахтанов вновь
пишет о войне, рассматривая ее совсем в дру-
гом ракурсе — в кругу философских проблем.
Спохватившись, что за величие целей и идей
часто упускают из виду духовный и нравствен-
ный климат общественной жизни, что гранди-
озные перемены и нашествие цивилизации на
нас угрожают обезличиванием, полнейшим
беспамятством или уродливым развитием лич-
ности, искусство забило тревогу. Счет ведется
теперь на такие потери, которые прежде каза-
лись неизбежными и незначительными. Что
касается жанра военной прозы, то здесь мож-
но увидеть, как на передний план в нем стали
выступать темы, бывшие прежде на обочине
интересов, сопутствовавшие основной. Такое
смещение фокуса мы находим в «Свете очага».
Ахтанов раздвигает пространство и время

смятой, раздавленной действительности, где царят хаос и безумие, где обесценены прежние ценности: справедливость, гуманность, сама жизнь — неумолимой волей военной машины. Войну он судит миром, ибо в мирной жизни человек не способен поверить в войну, признать ее диктат над своими поступками. Она — химера, страшная сказка, которая обязательно рассеется с наступлением утра. Фигура Назиры, столь необычная в военном производстве, многофункциональна, многозначна и в каждом значении выявляет чужеродность войны существованию человека. Назира не просто мать, она — олицетворение жизни. Она являет собой классический тип в литературе — тип простодушного человека, восстанавливающий первоначальный замысел порядка вещей, моментально реагирующий на малейшую несообразность, противоречие в происходящем. Неопытная, только познающая этот мир женщина чувствует боль другого или его фальшь, неправду. Она не делит своих товарищей на героев и рядовых. В ее любящем, сострадательном взоре они все уравнены. Все они для нее — близкие, единственные люди, которым пришлось пройти через непосильные испытания, отрывая от себя что-то дорогое, падая, вновь с трудом поднимаясь к своему подвигу. Были и предатели, было вполне определенное к ним отношение. Но вот появился в партизанском отряде, куда попадает после долгих мытарств Назира, славный пареньек Прошка. И выясняется, что отец паренька — тот самый полицай Усачев, чьи руки в крови расстрелянной гитлеровцами деревни. Партизаны схватили его и казнят. Какие высокие слова, какие доводы разума помогут Прошке справиться с живой болью, которую он испытывает, переступая через не нами придуманные узлы крови, законы родства? Назира всем сердцем откликается на смятение и отчаяние паренька. Сочувствует этой боли и автор, отнюдь не ратующий за то, чтобы с бездумной легкостью отречься от всего

на свете во имя идеи. Его здесь интересует нечто другое. Да, в войну люди проявили удивительное мужество и силу духа, которая побеждала любые другие чувства. Но пусть героизм остается героизмом, Ахтанов жалеет о том, что обстоятельства властно требовали когда-то этого героизма и жертв, а также жизней миллионов и миллионов. Прошка, Касымбек, муж Назиры, подруга ее Света — Назира всех их любит и жалеет, зная, что никак ей не уберечь их ни от войны, ни от судьбы. Пользуясь старинным выражением, мы читаем в их душах, благодаря той родственной, чуткой нежности, с какой относится к ним эта простая, бесхитростная натура, и видим, как из тягчайших мук отречения от своего естества рождалось то великое, что было частицей священного народного гнева. Это не умаление подвига, а протест против вопиющей несправедливости войны. По неслыханной милости случая вновь обрел жену и сына, рожденного в лесу у партизан, Касымбек и вместе со счастьем нашёл новое испытание — ходить на задания и каждый раз заново отрывать сердцем от такого нереального здесь, в этой обстановке, живого очага тепла и нежности. Герои Ахтанова принадлежат в основном к той категории людей, о которых писали: погиб смертью храбрых. Не приходится сомневаться в их мужестве. Но почти незначительное изменение угла зрения — и вот уже представление о всей мере проявленного этими людьми мужества и стойкости духа сохранено, но при этом главным становится другое — страдания, которыми была оплачена эта победа над собою, чувство протеста и безмерной тоски, с каким живое отрывало себя от жизни и прощалось со всем, что ему дорого, не раз, не два, а долгих четыре года. Естественно, это мужество имеет мало общего с безукоризненной четкостью книжного образца. Допустим, как произошло с тем же Касымбеком? Нелепая оплошность — забыл бикфордов шнур в вещмешке убитого товарища, а тут идет со-

став, который надо взорвать. И остается одно — применить зажигалку, а значит, взорваться самому тоже. В считанные секунды, когда надо принять жестокую безысходность ситуации, всплыла вдруг мысль о жене, о сыне, и злосчастное естество подвело, не захотело подчиниться такому насилию над собой. И снова Назира бесхитростно рассказывает, как казнил себя ее родной человек за минуту слабости, как, преодолевая страх, поселившийся в нем после того случая, с мрачной одержимостью рвался навстречу новым опасностям и встретил-таки свою погибель. Каждый боец, каждый образ этой книги должен был стать, по замыслу автора, символической фигурой протеста против нечеловечности той реальности-химеры, подчинявшей все здоровое, прекрасное своим страшным законам.

Подвиг, не важно, большой был это подвиг или поскромнее, совершен, и человек погиб с честью, защищая Родину, а это заслуживает всяческого уважения и благодарности потомков. Что можно добавить к этому? Вся наша победа держалась на подобных подвигах. И не обвинишь войну в Прошкиной драме, не проклянешь ее, разделившую отца с сыном: была подлость в натуре самого Усачева-старшего. И всякий погибший на войне тоже ведь оставлял после себя семью. Так из-за чего же беспокоить здесь себя писателю, не праздны ли его переживания по поводу выбора там, где абсолютно четко были расставлены добро и зло и не могло быть у человека никаких мучительных колебаний за и против, разве что неизбежная боль? Но разве здесь не сказывается просто характер времени, как свою главную проблему вынесшего, поднявшего уязвимость и драматизм существования венца творения — человека, его напряженное внимание и сочувствие всякой боли, коль скоро он неотделима от пути человека в мире?

В романе есть еще один образ, в котором с проникновенной силой выразилась неизбывная драматичность, хрупкость и сложность

сплетения страстей, движущих человеком, — это подруга Назиры по гарнизону и по скитаниям в лесу после неудавшейся эвакуации Света. Ее прелесть и обаяние окрашены глубоким безразличием к себе и душевным надломом.

История этого надлома проста — это история юной, наивной девчонки, которой совсем нечего было выставить против ударов судьбы. Эта история трогает и волнует, как всякая история прекрасного, обещающего начала человеческой жизни, как грубо и невзначай смятое ожидание счастья и радости. Света говорит о себе с неестественным спокойствием давней примиренности со своим горем. Репрессия отца и высылка матери из города и сразу же следом — предательство любимого и его матери, людей, которым она слепо верила. Но чувствуется настораживающий оттенок красивой печали и разрешения себе на душевную праздность в переживаниях Светы при всей ее искренности. В дальнейшем жизнь не оставляет ей возможности оставаться чарующе слабой и безвольной, когда знакомит ее с подлинным страданием. Из оцепенения выводит ее безжалостная, отрезвляющая действительность — война. В деревне, куда отправилась за куском хлеба, Света становится жертвой прихоти немецкого офицера. Ахтанов стремится воплотить в одном живом и правдивом образе многозначность человеческой природы, чуждую некой выверенной аккуратности и ровности судьбы и поведения. Его героиня как бы запрограммирована для бед и испытаний и при этом способна подняться на высоту духовности, не утратив своей человеческой достоверности. Писатель показывает ее с беспощадной откровенностью глубокого понимания и уважения к реальному, непридуманному человеку. Он проводит свою героиню через все круги унижения: ледяное, утливое равнодушие немца, презрение баб, собственное черное, безысходное отчаяние, заставившее ее кричать и обвинять Назиру в том, что произо-

шло, что именно ей, Свете, пришлось отправиться в ту деревню и именно с нею должно было так случиться. Такой она врезается в нашу память: безобразная, надорванно воющая, с двумя пучками травы, зажатыми в руках, раздавленная сознанием, что неизвестно за что затоптана и погублена ее жизнь каким-то жестоким произволом.

Когда мы встречаем Свету снова, в ней ничего уже не остается от женщины, которую жизнь несла в своем потоке как щепку, безвольно погруженную в свои печали. Перед нами бесстрашная партизанская разведчица, выполняющая опасные поручения в тылу врага. И тут мы видим, как все содержание этого характера и этой судьбы противится и не желает вмещаться в слишком канонические, затверженные представления наши о разведчице, как образце негибкости, душевной ясности, со всем объемом диктуемых этим образом понятий и эмоций и неперемнной коллизией нравственного поединка с фашистской машиной безнравственности. Здесь писателя интересует как раз обратное: человеческое, незащищенное, с тысячей его проявлений, проблем, которые никакими обстоятельствами не отменяемы и не могут быть обузданы и подчинены единственной функции, пускай самой важной.

Судьба Светы остается драматичной, изломанной. Мы чувствуем ее боль, прирученную, но отбрасывающую постоянную тень на это прекрасное женское лицо. Автор отказывается от эффектных, выигрышных сцен, и мы так и не увидим Свету в ее рискованном деле, не услышим от нее патетических монологов. Обретенная ценою немалых страданий строгая сдержанность, не допускающая откровений, не имеет ничего общего с былой сосредоточенностью на себе красивой женщины, живущей в камерном мирке своих счетов и обид на судьбу. Прежний клин выбит новым, посильнее. Короткое расслабляющее забытие, иллюзия, что возможны между нею и завоевателем

чувства и отношения просто мужчины и женщины, в некоем уютном вакууме без учета всемирной горячки и пожара — и сокрушительное пробуждение. И вечное, казнящее напоминание — дочь, оставшаяся от той встречи. Отважная, как никто другой в отряде, Света пребывает в двусмысленном и печальном положении, когда ее окружает презрительное отчуждение партизан, а она даже не может заметить его, поглощенная тягчайшим судом собственной совести. Мужество Светы — это абсолютное мужество окончательного отречения, отказа от себя и даже от своих страданий. Но пронизательность любящего сердца Назиры видит все ту же Свету, которую она всегда жалела в ее несчастливой доле.

Света гибнет в очередном задании, не сдавшись под пытками. Но знаком ее для нас остается не пафос ее героического преображения, а сцена, где единственный раз с тех пор, как стала партизанкой, она проявляет себя слабой, беспомощной женщиной и где так многомерно и многозначно проявляет себя сложная природа личности. Это сцена, где Николай, муж Светы, также оказавшийся в лесу у партизан, узнав о своем позоре, хочет застрелить ее. Понимая, что движет Николаем обыкновенная ревность, оскорбленное самолюбие, не желая ни объяснять, ни оправдываться, безучастная под направленным на нее пистолетом, Света в объятьях подоспевшей Назиры, которая загораживает ее собою, и осознав, что ей грозило, внезапно обмякает и непроизвольно начинает дрожать. Возможно ли все это впихнуть в строгие законы образа? Герой, подпольщица с несомненными заслугами перед Родиной — и вдруг такое жалкое, странное положение, когда ее третируют, словно обычную дрянь, и что-то в ее горькой душе не дает ей даже защищаться. И вместе с тем сколько в ней не просто гордости — гордыни, на пренебрежение отвечающей еще большим пренебрежением. Сколько усталости, одиночества, горечи и при этом — беско-

нечной силы жизни, не дающей потонуть, выносящей наверх тем вернее, чем глубже было падение ее и отчаяние. Женственность, недосягаемая для сплетен и косых взглядов, и обугленная навеки душа. Но весь этот паразитический, пестрый сплав чувств и состояний своей героини Ахтанов разворачивает, отнюдь не умаляя героического. В его изображении героическое — это составная часть объемного человеческого, один из цветов в спектре радуги, который невозможно рассматривать отдельно, без риска разрушить живое единство. И это особенность, присущая концу XX столетия. Ознаменованный пульсирующим, неустойчивым равновесием, в своем осмыслении бытия он идет к синтезу через распятие и беспощадный анализ каждого явления, каждого события.

Существует еще и третья ипостась Назиры — носитель мироощущения иного народа, иного уклада жизни, со своим богатым нравственным опытом и мудростью, тяжким путем к истине, своими радостями, заботами и горестями. И роман движется как бы в двух плоскостях, которые подчас словно никак не соприкасаются: реальное развитие событий и воспоминания Назиры об ауле. Казалось бы, произвольно помещенные в текст романа, эти воспоминания словно возвращают жизни на миг ее здоровые, гуманные основы. Воспоминания — это уголок прежнего мира, уцелевший в бушующем огне. В них сохранилась и все так же властно требует работы ума и души нравственная сердцевина жизни, и они еще могут служить растерянному сознанию ориентиром в этом огне.

Бесхитростные истории о проделках аульных шутников вдруг оборачиваются ненавязчивым выводом о возможности подлинного понимания и дружеского участия у людей разных национальностей. А знакомство и дружба со Светой наводят Назиру на неожиданные размышления об их отношениях с Касымбеком, о том, насколько они равноправны

и бесспорны,— о том, что прежде казалось ей абсолютно ясным. Пути развития двух народов, их нравы и обычаи, будучи различными, скрещиваются, взаимно объясняя друг друга, на том, что едино везде и всегда,— на человеческих страстях и судьбах. Так в разных уголках нашей страны обнаруживаются два человека, зеркально повторяющие друг друга,— полицай Усачев и земляк Назиры Турсунгали. Оба — бывшие активисты, пена, возникшая на гребне сложной поры раскулачивания и коллективизации, они пугали людей неясными им еще переменами. И обоих время поставило на место. Турсунгали притих и затаился, так же, как до поры затаился Усачев, дождавшийся своего нового звездного часа — прихода гитлеровцев. Дополняя друг друга, эти двое из частного прискорбного случая превращаются уже в целое явление мелкой и мстительной жажды власти, в которой зреет зерно предательства. Жизнь оказывается куда шире и больше войны. Она побеждает войну и тем, что этих мыслей, этой памяти война отменить не в силах. Она только может помешать Назире обдумать их хорошенько, но они всплывают упрямо, волнуя, перекрывая инстинкт самосохранения и тяготы ее положения. Самые болезненные, горестные ее воспоминания все равно несут в себе гуманизм, живительную силу той боли, волнения, нежности, которые есть драгоценное свойство нашей памяти.

Отступая хоть на мгновения перед всемогуществом человеческой памяти, этой стихии, не выбирающей себе срока, война открывает, что не прекращается с нею все заветное, составляющее сущность человека и его бытия, все то, что должно сопровождать нас до последнего часа. Она — лишь краткое нарушение нормального хода жизни, а сама жизнь продолжается, совершается, тяжело, в муках, но, как закон, непреложно. Она и есть истинная реальность в любое время, в любых обстоятельствах. Но высшее, синтезирующее, обещающее жизнь и веру назначение Назиры,

ее святая миссия в этой войне — быть матерью. И это не просто символ. Оно обретает действительность ее оружия против войны. Давным-давно, когда Назира была еще совсем ребенком, бабушка Камка повела ее на могилу матери и поставила там зажженную свечу, сказав: «Да не угаснет твоя свеча, родная моя». «Я боялась, а не погаснет ли свечка, как только кончится жир? Наконец, не выдержав, я спросила об этом у бабушки.

— Эх, дите, ты мое дите,— покачала она головой,— ведь это ты ее свеча. Ведь она лишь о тебе думала, бедняжка, о тебе».

Образ свечи еще будет встречаться в произведении. Он станет его лейтмотивом, ключевым образом. Он будет прочитываться между строк в сценах, где гибнут дети, различаются семьи, вырезается под корень целое селение. Там гаснут огоньки и уже не остается надежды на возвращение, обновление жизни. Такова трагедия деревни, где пряталась Назира. Фашисты расстреляли эту деревню до последнего человека. Расстреляли и общую любимицу и певунью, маленькую Парашку. Это массовое убийство, где лишь случай спас Назиру, останется для нее апофеозом бессмысленного зверства войны, и память о нем будет ее преследовать, врываясь зловецким предостережением в минуты затишья и даже тогда, когда все ужасы для нее будут уже позади. Свирепый разгул смерти, который в считанные минуты смел большую, разноголосую и разноликую толпу, не посчитался с детской верой в свою неприкосновенность веселой и бойкой Парашки, методичность и хладнокровие этой бойни будут снова и снова повторяться для нее бесконечной пыткой, разыгрываясь в ее потрясенном сознании все в новых лицах. То увидит она случайное пятно крови на пеленках своего сына и вспомнит того младенца, который выпал из рук убитой матери и покотился к ногам солдата, швырнувшего его, как куклу, в овраг; то почудится ей давленная ягода крови на бороде старого партиза-

на Кузьмича в разгар веселого застолья товарищей по случаю крупного успеха советских войск. Но участь бедной Парашки, беспечно доверчивой к миру, в котором она родилась, твердо верившей в абсолютное могущество своих песен и не ведавшей, что значит кого-то бояться, эта ужасная смерть станет вечной пыткой для той, чья вина была в том лишь, что она присутствовала при этом, побывала в самом аду и вернулась оттуда к людям. Эта смерть запомнится Назире особо нагромождением действий, как-то не соответствующих этому мрачному ритуалу, отчаянно и жалко восстающих против него.

Другие принимали смерть, хоть и не без попыток сопротивления, но они-то понимали хотя бы, что происходит. Парашка же, затеявшая в обреченной толпе прятки, лишь тогда увидела свою смерть, когда мать с нею на руках погнали к оврагу. И тут своим наивным, ребяческим упорством, пытаясь помешать тому, что ее ожидало, она запекает, надеясь образумить, умиловить смерть и тех, кто обрек их с матерью, не зная, что главные каратели далеко и не видят, не слышат ее и ничего о ней не знают и знать не захотят. И медленно-медленно поднимется рука матери и зажмет этот поющий ротик, и слезы девочки польются на материнские пальцы. Вот этой оборвавшейся, до самого конца своего непонимающей смерти, жизни крохотного существа не сможет уже никогда забыть Назира, растравляя душу этим обременительным, страшным грузом памяти и через нее по-настоящему уясняя цену и смысл бытия и небытия. В чем же заключался смысл ее собственного, пассивного будто бы пребывания среди воюющих? А именно во всем ею увиденном и пережитом. В том, что она вернулась невредимой сама и сберегла три слабых огонька, частицы существ любимых людей: Касымбека, Светы, у которой осталась маленькая дочь, теперь ставшая дочерью Назире, и Абана, заменившего ей Касымбека и также погибшего,

но успевшего заронить в нее искру новой жизни. Она выжила и вернулась из пламени войны не сломленная и не опустошенная, чтобы не оборвались голоса этих троих и след их на земле. В этом возвращении — ее спор со смертью, так долго и настойчиво окружавшей Назиру на ее затянувшемся пути домой. Она познала достаточно потерь и горя, но заботы о живом и создающем охватывают ее слишком плотно и прочно, что естественно и несомненно, как дыхание, все ее помыслы должны быть обращены к жизни, не дожидаясь, пока затянутся раны. Назира — это неделимая частица от плоти своего народа. Недаром основной вопрос ее военного опыта находит свое разрешение в опыте и мудрости народной, в давнишней истории двух влюбленных: Енлик и Кебека и вражды родов Найман и Тобыкты. Кебек бежал с просватанной за другого Енлик и укрылся с нею в горах. Разъяренные родичи девушки, мстя за свою честь, разыскали и жестоко казнили обоих. Родичи юноши не посмели с ними воевать и не стали требовать кун — плату за убитого. В том был свой расчет. Понемногу и настойчиво тобыктинцы стали оттеснять найманов с лучших земель и источников. Позор за эту несправедную гибель пал не только на головы жестоких судей. Весь род Найман разделял его с ними, не смея поднять глаз на недавних соседей и друзей, и они отступали, беспрекословно подчиняясь отныне воле тобыктинцев.

Естественно, не просто час, когда немцам «страшно станет глянуть в глаза человечеству», не эта мстительная идея — главный вывод этого урока. В нем заключается надежда на предостережения, на поучительный пример, который должен послужить будущему.

Появление подобных произведений в документалистике и в художественной литературе позволяет судить об определенном повороте советской прозы о войне в бытийственную сторону. Война как художественный образ получает некое дополнительное, третье, измерение,

представая со страниц этих произведений полем колоссального эксперимента, где высвобождается самое темное и уродливое, но также и самое позитивное, здоровое начало природы личности и в созвучии с болевыми проблемами наших дней должно послужить разгадке вопроса, какое же из двух начал окажется сильнее и возьмет верх. Книга казахского писателя, отказываясь от традиционного для жанра военной прозы мотива выбора, нравственного испытания героев, показывает войну как бедствие, чудовищное испытание, в котором жизнь отстаивает себя. Война — это конец света, переставший быть метафорой, это гибельная пропасть, которая может поглотить человечество. Ее страдания суровы для героев, солдат и для беспомощных малых детей, потому что идут вразрез с естественными стремлениями людей. В этом ракурсе даже подвиг лишен привычного ореола величия и славы. Он — вынужденная необходимость, крайность, которую приходится принимать, хотя все существо человека противится этому.

Но война же проявляет лучшие свойства народа: его гуманизм, жизнелюбие и упорство, как у травы, которую выпалывают и жгут, но она прорастает, восстанавливая себя из пепла. Не усталость или отчаяние приводит с собой героиня Ахтанова, вернувшаяся наконец в родные края, заглянувшая в лицо смерти. Нет, три крохотных, но веских аргумента в пользу жизни, ее непрерывности, ее вечного круговорота. И мудрость трагедии-предостережения, случившейся в давние годы в судьбе двух казахских родов Найман и Тобыкты, вторит неприятием насилия и жестокости как способ разрешения любых проблем человеческого общества.

Ш. НУРПЕЙСОВА

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СВЕТ ОЧАГА. Роман	5
ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ. <i>Послесловие</i> Ш. Нурпеисовой	363

Литературно-художественное издание
Библиотека «Дружбы народов» в 15 книгах
Приложение к журналу «Дружба народов»

АХТАНОВ Тахави

СВЕТ ОЧАГА

Роман

Оформление «Библиотеки» *Г. Метченко*

Редактор *Е. Абрамович*

Художественный редактор *И. Суслов*

Технический редактор *В. Калачева*

Корректор *Н. Гринева*

ИБ № 1709

Сдано в набор 22.10.90. Подписано в печать 19.04.91. Формат 84×108^{1/32}. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,86. Усл. кр.-отт. 20,16. Тираж 180 000 экз. Зак. 0—369. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Киевская книжная фабрика, 254054, Киев, ул. Воровского, 24.

ИНДЕКС 70251 (книга 6)

Ахтанов Тахави

А95 Свет очага. Роман. (Пер. с казах. Г. Саталкина.) — М.: Известия, 1991.— 384 с.: ил.
ISBN 5—206—00209—7

Книга известного казахского писателя Тахави Ахтанова «Свет очага» — дань памяти о Великой Отечественной войне. Главная героиня романа — простая казахская женщина Навира не участвует в боевых действиях. Ее подвиг — подвиг матери, борющейся за торжество жизни на земле.

А $\frac{4702250200-020}{074(02)-91}$ 89—91 подписное

ББК 84Каз7

**В 1991 году
издается 15 книг
библиотеки**

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Й. Авижюс. Потерянный кров. Роман. Книга 3. Книга 4. Перевод с литовского.

М. Алданов. Истоки. Избранные произведения в двух томах.

С. Алексеев. Рассказы из русской истории.

В. Астафьев. Зрячий посох. Роман. Повести.

Т. Ахтанов. Свет очага. Роман. Перевод с казахского.

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Собачье сердце. Роковые яйца. Роман. Повести.

А. Гогуа. Елана. Повести. Рассказы. Перевод с абхазского.

В. Некрасов. Маленькая печальная повесть. Повести. Рассказы.

Ю. Тынянов. Восковая персона. Кюхля. Повести.

М. Унт. Лунное затмение. Роман. Повести. Перевод с эстонского.

А. Хакимов. Плач домбры. Романы. Повесть. Перевод с башкирского.

М. Хвелевый. Синий ноябрь. Избранное. Перевод с украинского.

Р. Эзера. Невидимый огонь. Роман. Повесть. Перевод с латышского.

**В 1991 году
издается 5 книг
розничной серии
«БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»**

**С. Алексиевич. Цинковые мальчики. Пове-
сти.**

**С. Каледин. Шабашка Глеба Богдышева.
Повести.**

**М. Зощенко. Возвращенная молодость. Пе-
ред восходом солнца. Повести.**

Д. Маркиш. Полюшко-поле. Донар. Романы.

**В. Лихоносов. Время зажигать светильники.
Повести. Рассказы.**